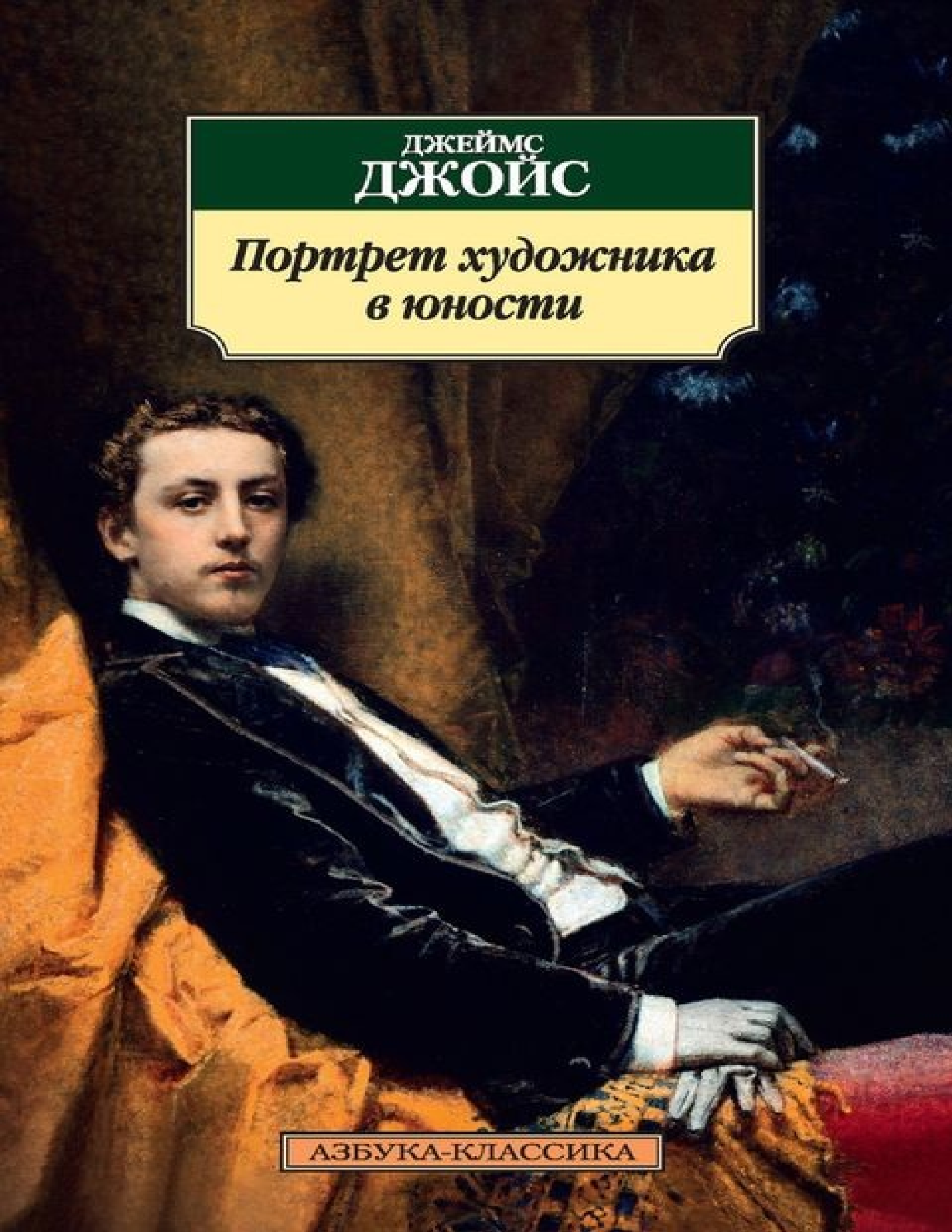


ДЖЕЙМС
ДЖОЙС

*Портрет художника
в юности*



АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

Джеймс Джойс - классик англо-ирландской литературы, оказавший колоссальное влияние на прозу XX века. В историю мировой литературы он вошел как автор романа «Улисс», ставшего «евангелием» модернизма и положившего начало литературе «потока сознания». Не менее знаменитый роман Джойса ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ, представленный в настоящем издании, с необычайной остротой и яркостью рисует внутренний мир молодого человека, одинокого поэта и философа Стивена Дедала, в котором угадывается сам автор.

- [Джеймс Джойс](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [С. Хоружий](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)

- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)

- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)

- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)

- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)

- [253](#)
 - [254](#)
 - [255](#)
 - [256](#)
 - [257](#)
 - [258](#)
 - [259](#)
 - [260](#)
 - [261](#)
 - [262](#)
 - [263](#)
 - [264](#)
 - [265](#)
 - [266](#)
 - [267](#)
 - [268](#)
 - [269](#)
 - [270](#)
 - [271](#)
 - [272](#)
 - [273](#)
-

Джеймс Джойс
Портрет художника в юности

Et ignotas animum dimittit in artes.

Ovid, Metamorphoses, VIII,18^{[\[1\]](#)}

Однажды, давным-давно, в старое доброе время, шла по дороге коровушка Му-му, шла и шла и встретила на дороге хорошенького-прехорошенького мальчика, а звали его Бу-бу...^[2]

Папа рассказывал ему эту сказку, папа смотрел на него через стеклышко. У него было волосатое лицо.

Он был мальчик Бу-бу. Му-му шла по дороге, где жила Бетти Берн^[3]: она продавала лимонные леденцы.

О, цветы дикой розы
На зеленом лугу.^[4]

Он пел эту песню. Это была его песня.

О, таритатам лозы...

Когда намочишь в постельку, сначала делается горячо, а потом холодно. Мама подкладывает клеенку. От нее такой чудной запах.

От мамы пахнет приятнее, чем от папы. Она играет ему на рояле матросский танец, чтобы он плясал. Он плясал:

Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ди.
Тра-ля-ля, ля-ля.
Тра-ля-ля, ля-ля.

Дядя Чарльз и Дэнти^[5] хлопали в ладоши. Они старше папы и мамы, но дядя Чарльз еще старше Дэнти.

У Дэнти в шкафу две щетки. Щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвитта, а щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла. Дэнти давала ему мятный леденец всякий раз, когда он приносил ей бумажную салфетку.

Вэнсы жили в доме семь. У них другие папы и мамы. Это папа и мама

Эйлин^[6]. Когда они вырастут большие, он женится на Эйлин. Он спрятался под стол. Мама сказала:

– Проси прощенья, Стивен.

Дэнти сказала:

– А не попросишь, прилетит орел и выключает тебе глаза.

И выключает тебе глаза,
Проси прощенья, егоза,
Проси прощенья, егоза,
И выключает тебе глаза.

Проси прощенья, егоза,
И выключает тебе глаза,
И выключает тебе глаза,
Проси прощенья, егоза.

*

На больших спортивных площадках толпились мальчишки. Все кричали, и воспитатели их громко подбадривали. Вечерний воздух был бледный и прохладный, и после каждой атаки и удара футболистов лоснящийся кожаный шар, как тяжелая птица, взлетал в сером свете. Он топтался в самом хвосте своей команды, подальше от воспитателя, подальше от грубых ног, и время от времени делал вид, что бежит. Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы играющих^[7], и глаза у него были слабые и слезились. Роди Кикем не такой: он будет капитаном третьей команды, говорили мальчишки.

Роди Кикем хороший мальчик, а Вонючка Роуч – противный. У Роди Кикема щитки для ног в шкафу в раздевалке и корзинка со сладостями в столовой. У Вонючки Роуча огромные руки. Он говорит, что постный пудинг – это месиво в жиже. А как-то раз он спросил:

– Как тебя зовут?

Стивен ответил:

– Стивен Дедал.

А Вонючка Роуч сказал:

– Что это за имя?

И когда Стивен не нашелся, что ответить, Вонючка Роуч спросил:

– Кто твой отец?

Стивен ответил:

– Джентльмен.

Тогда Вонючка Роуч спросил:

– А он не мировой судья?

Он топтался в самом хвосте своей команды, делая иногда короткие перебежки. Руки его посинели от холода. Он засунул их в боковые карманы своей серой подпоясанной куртки. Пояс – это такая штука над карманами. А вот в драке о тех, кто победил, говорят: за пояс заткнул.

Как-то один мальчик сказал Кэнтуэллу:

– Я бы тебя мигом за пояс заткнул.

А Кэнтуэлл ответил:

– Поди тягайся с кем-нибудь еще. Попробуй-ка Сесила Сандера^[8] за пояс заткнуть. Я посмотрю, как он тебе даст под зад.

Так некрасиво выразиться. Мама сказала, чтобы он не водился с грубыми мальчиками в колледже. Мама такая красивая. В первый день в приемной замка^[9] она, когда прощалась с ним, слегка подняла свою вуаль, чтобы поцеловать его, и нос и глаза у нее были красные. Но он притворился, будто не замечает, что она сейчас расплечется. Мама красивая, но когда она плачет, она уже не такая красивая. А папа дал ему два пятишиллинговика – пусть у него будут карманные деньги. И папа сказал, чтобы он написал домой, если ему что-нибудь понадобится, и чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Потом у двери ректор пожал руки папе и маме, и сутана его развевалась на ветру, а коляска с папой и мамой стала отъезжать. Они махали руками и кричали ему из коляски:

– Прощай, Стивен, прощай.

– Прощай, Стивен, прощай.

Вокруг него началась свалка из-за мяча, и, страшась этих горящих глаз и грязных башмаков, он нагнулся и стал смотреть мальчикам под ноги. Они дрались, пыхтели, и ноги их топали, толкались и брыкались. Потом желтые ботинки Джека Лотена наподдали мяч и все другие ботинки и ноги ринулись за ним. Он пробежал немножко и остановился. Не стоило бежать. Скоро все поедут домой. После ужина, в классе, он переправит число, приклеенное у него в парте, с семидесяти семи на семьдесят шесть.

Лучше бы сейчас быть в классе, чем здесь, на холоде. Небо бледное и холодное, а в главном здании, в замке, огни. Он думал, из какого окна Гамильтон Роуэн бросил свою шляпу на изгородь^[10] и были ли тогда

цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда он был в замке, тамошний служитель показал ему следы солдатских пуль на двери и дал ореховый сухарик, какие едят в общине. Как хорошо и тепло смотреть на огни в замке. Совсем как в книжке. Может быть, Лестерское аббатство было такое. А какие хорошие фразы были в учебнике д-ра Корнуэлла. Они похожи на стихи, но это только примеры, чтобы научиться писать правильно:

Уолси умер в Лестерском аббатстве,
Где погребли его аббаты,
Растения съедают черви,
Животных съедает рак.

Хорошо бы лежать сейчас на коврике у камина, подперев голову руками, и думать про себя об этих фразах. Он вздрогнул, будто по телу пробежала холодная липкая вода. Подло было со стороны Уэллса столкнуть его в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на игральную кость, которой Уэллс выиграл сорок раз в бабки. Какая холодная и липкая была вода!^[11] А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула в жижу. Мама с Дэнти сидели у камина и дожидались, когда Бриджет подаст чай. Мама поставила ноги на решетку, и ее вышитые бисером ночные туфли нагрелись, и от них так хорошо и тепло пахло. Дэнти знала массу всяких вещей. Она учила его, где находится Мозамбикский пролив, и какая самая длинная река в Америке, и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнолл^[12] знает больше, чем Дэнти, потому что он священник, но папа и дядя Чарльз оба говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина. А иногда Дэнти делала такой звук после обеда и подносила руку ко рту: это была отрыжка.

Голос с дальнего конца площадки крикнул:

– Все домой!

Потом голоса из младших и средних классов подхватили^[13]:

– Домой! Все домой!

Мальчики сходились со всех сторон раскрасневшиеся и грязные, и он шагал среди них, радуясь, что идут домой. Роди Кикем держал мяч за скользкую шнуровку. Один мальчик попросил поддать еще напоследок, но он шел себе и даже ничего не ответил. Саймон Мунен сказал, чтобы он этого не делал, так как на них смотрит надзиратель. Тогда тот мальчик повернулся к Саймону Мунену и сказал:

– Мы все знаем, почему ты так говоришь. Ты известный подлиза.

Какое странное слово «подлиза». Мальчик обозвал так Саймона Мунена потому, что Саймон Мунен связывал иногда фальшивые рукава на спине надзирателя Макглэйда, а тот делал вид, что сердится. Противный звук у этого слова. Однажды он мыл руки в уборной гостиницы на Уиклоу-стрит, а потом папа вынул пробку за цепочку и грязная вода стала стекать через отверстие в раковине. А когда она вся стекла потихоньку, отверстие в раковине сделало такой звук: *длизс*. Только громче.

Он вспоминал это и белые стены уборной, и ему делалось сначала холодно, а потом жарко. Там было два крана, которые надо было повернуть, и тогда шла вода холодная и горячая. Ему сделалось сначала холодно, а потом чуть-чуть жарко. И он видел слова, напечатанные на кранах. В этом что-то было чудное.

В коридоре был тоже холодный воздух. Он был сыроватый и чудной. Но скоро зажгут газ, и он будет тихонечко так петь, точно какую-то песенку. Все одну и ту же, и, когда мальчики не шумят в рекреационном зале, ее слышно.

Урок арифметики начался. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал:

– Ну, кто победит? Живей, Йорк! Живей, Ланкастер!

Стивен старался изо всех сил, но пример был очень трудный, и он сбился. Маленький шелковый значок с белой розой, приколотый к его куртке на груди, начал дрожать. Он был не очень силен в арифметике, но старался изо всех сил, чтобы Йорки не проиграли. Отец Арнолл сделал очень строгое лицо, но он вовсе не сердился, он смеялся. Вдруг Джек Лотен хрустнул пальцами, и отец Арнолл посмотрел в его тетрадку и сказал:

– Верно. Bravo, Ланкастер! Алая роза победила. Не отставай, Йорк! Ну-ка поднатужьтесь.

Джек Лотен поглядывал на них со своего места. Маленький шелковый значок с алой розой казался очень нарядным на его синей матроске. Стивен почувствовал, что его лицо тоже покраснело, когда он вспомнил, как мальчики держали пари, кто будет первым учеником: Джек Лотен или он. Были недели, когда Джек Лотен получал билет первого ученика, а были недели, когда он получал билет первого ученика. Его белый шелковый значок дрожал и дрожал все время, пока он решал следующий пример и слушал голос отца Арнолла. Потом все его рвение пропало и он почувствовал, как лицо у него сразу похолодело. Он подумал, что оно, должно быть, стало совсем белым, раз так похолодело. Он не мог решить пример, но это было не важно. Белые розы и алые розы: какие красивые цвета! И билеты первого, второго и третьего ученика тоже очень красивые:

розовые, бледно-желтые и сиреневые. Бледно-желтые, сиреневые и розовые розы тоже красивые. Может быть, дикие розы как раз такие; и ему вспомнилась песенка о цветах дикой розы на зеленом лугу. А вот зеленых роз не бывает. А может быть, где-нибудь на свете они и есть.

Раздался звонок, и все классы потянулись один за другим по коридорам в столовую. Он сидел и смотрел на два кусочка масла у своего прибора, но не мог есть липкий хлеб. И скатерть была влажная и липкая. Но он проглотил залпом горячий жидкий чай, который плеснул ему в кружку неуклюжий служитель в белом фартуке. Вонючка Роуч и Сорин пили какао, которое им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он как помой. У них отцы – мировые судьи, говорили мальчики.

Все мальчики казались ему очень странными. У них у всех были папы и мамы и у всех разные костюмы и голоса. Ему так хотелось очутиться дома и положить голову маме на колени. Но это было невозможно, и тогда ему захотелось, чтобы игры, уроки и молитвы уже кончились и он бы лежал в постели.

Он выпил еще кружку горячего чая, а Флеминг спросил:

– Что с тобой? У тебя что-нибудь болит?

– Я не знаю, – сказал Стивен.

– Наверное, живот болит, – сказал Флеминг, – от этого ты и бледный такой. Ничего, пройдет.

– Да, – согласился Стивен.

Но у него болел не живот. Он подумал, что у него болит сердце, если только это место может болеть. Флеминг очень добрый, что спросил его. Ему хотелось плакать. Он положил локти на стол и стал зажимать, а потом открывать уши. Тогда всякий раз, как он открывал уши, он слышал шум в столовой. Это был такой гул, как от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гул затихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь в Долки поезд гудел вот так, а потом, когда он вошел в туннель, гул затих. Он закрыл глаза, и поезд пошел – гул, потом тихо, снова гул – тихо. Приятно слышать, как он гудит, потом затихает, и вот опять выскочил из туннеля, гудит, затих.

Потом мальчики с первого ряда построились и пошли по дорожке посреди столовой, Падди Рэт, и Джимми Маги, и испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец, который ходил в шерстяном берете. Потом столы следующего ряда и потом третьего ряда. И у каждого мальчика была своя, особенная походка.

Он сидел в углу рекреационной, делая вид, что следит за игрой в домино, и раз или два ему удалось услышать песенку газа. Надзиратель

стоял у двери с мальчиками, и Саймон Мунен завязывал узлом его фальшивые рукава. Он рассказывал им что-то о Таллабеге^[14].

Потом он отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и спросил:

– Скажи-ка, Дедал, ты целуешь свою маму перед тем, как лечь спать?

– Да, – ответил Стивен.

Уэллс повернулся к другим мальчикам и сказал:

– Слышите, этот мальчик говорит, что он каждый день целует свою маму перед тем, как лечь спать.

Мальчики перестали играть и все повернулись и засмеялись. Стивен вспыхнул под их взглядами и сказал:

– Нет, я не целую.

Уэллс подхватил:

– Слышите, этот мальчик говорит, что он не целует свою маму перед тем, как лечь спать.

Все опять засмеялись. Стивен пытался засмеяться вместе с ними. Он почувствовал, что ему стало сразу жарко и неловко. Как же надо было ответить? Он ответил по-разному, а Уэллс все равно смеялся. Но Уэллс, верно, знает, как надо ответить, потому что он в третьем классе^[15]. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но боялся взглянуть Уэллсу в лицо. Ему не нравилось лицо Уэллса. Это Уэллс столкнул его накануне в очко уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на его игральную кость, которой он сорок раз выиграл в бабки. Это было подло с его стороны, все мальчики так говорили. А какая холодная и тинистая была вода! А один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула – плюх! – прямо в жижу.

Холодная тина проползла по его телу, и, когда прозвонил звонок на занятия и классы потянулись из рекреационной залы, он почувствовал, как холодный воздух в коридоре и на лестнице забирается ему под одежду. Он все еще думал, как нужно было ответить. Правильно это или неправильно – целовать маму?^[16] Что значит целовать? Поднимешь вот так лицо, чтобы сказать маме «спокойной ночи», а мама наклонит свое. Это и есть целовать. Мама прижимала губы к его щеке, губы у нее мягкие, и они чуть-чуть холодили его щеку и издавали такой коротенький тонкий звук: *пц*. Зачем это люди прикладываются так друг к другу лицами?

Усевшись на свое место, он открыл крышку парты и переправил число, приклеенное внутри, с семидесяти семи на семьдесят шесть. Рождественские каникулы были еще так далеко, но когда-нибудь они придут, потому что ведь Земля все время вертится.

На первой странице его учебника географии была нарисована Земля. Большой шар посреди облаков. У Флеминга была коробка цветных карандашей, и однажды вечером во время пустого урока Флеминг раскрасил Землю зеленым, а облака коричневым. Это вышло, как две щетки у Дэнти в шкафу; щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвитта. Но он не просил Флеминга раскрашивать в такие цвета. Флеминг сам так сделал.

Он открыл географию, чтобы учить урок, но не мог запомнить названий в Америке. Все разные места с разными названиями. Все они в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной.

Он опять открыл первую страницу и прочел то, что когда-то написал на этом листе: вот он сам, его фамилия и где он живет.

Стивен Дедал
Приготовительный класс
Клонгоуз Вуд Колледж
Сэллинз
Графство Килдер
Ирландия
Европа
Земля
Вселенная.

Это было написано его рукой, а Флеминг однажды вечером в шутку написал на противоположной странице:

Стивен Дедал я зовусь,
Мой народ – ирландский.
Я в Клонгоузе учусь,
А когда-нибудь буду в кущах райских.

Он прочел стихи наоборот, но тогда получились не стихи. Тогда он прочитал снизу вверх всю первую страницу и дошел до своего имени. Вот это он сам. И он опять прочел все сверху вниз. А что после Вселенной? Ничего. Но, может быть, есть что-нибудь вокруг Вселенной, что отмечает, где она кончается и с какого места начинается это ничего? Вряд ли оно отгорожено стеной; но, может быть, там идет вокруг такой тоненький

ободок. Все и везде – как это? – даже подумать нельзя. Такое под силу только Богу. Он попытался представить себе эту огромную мысль, но ему представлялся только Бог. Бог – так зовут Бога, так же как его зовут Стивен. Dieu – так будет Бог по-французски, и так тоже зовут Бога, и, когда кто-нибудь молится Богу и говорит Dieu, Бог сразу понимает, что это молится француз. Но хотя у Бога разные имена на разных языках и Бог понимает все, что говорят люди, которые молятся по-разному на своих языках, все-таки Бог всегда остается тем же Богом, и его настоящее имя Бог.

Он очень устал от этих мыслей. Ему казалось, что голова у него сделалась очень большой. Он перевернул страницу и сонно посмотрел на круглую зеленую Землю посреди коричневых облаков. Он начал раздумывать, что правильнее – стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды отпорол ножницами зеленый бархат со щетки, которая была в честь Парнелла, и сказала ему, что Парнелл – дурной человек. Он думал – спорят ли теперь об этом дома? Это называлось политикой. И было две стороны: Дэнти была на одной стороне, а его папа и мистер Кейси^[17] – на другой, но мама и дядя Чарльз не были ни на какой стороне. Каждый день про это что-нибудь писали в газетах.

Его огорчало, что он не совсем понимает, что такое политика, и не знает, где кончается Вселенная. Он почувствовал себя маленьким и слабым. Когда еще он будет таким, как мальчики в классе поэзии и риторики? У них голоса как у больших и большие башмаки, и они проходят тригонометрию. До этого еще очень далеко. Сначала будут каникулы, а потом следующий семестр, а потом опять каникулы, а потом опять еще один семестр, а потом опять каникулы. Это похоже на поезд, который входит и выходит из туннеля, и еще похоже на шум, если зажимать, а потом открывать уши в столовой. Семестр – каникулы; туннель – наружу; гул – тихо; как это еще далеко! Хорошо бы скорей в постель и спать. Вот только еще молитва в церкви – и в постель. Его зазнобило, и он зевнул. Приятно лежать в постели, когда простыни немножко согреются. Сначала, как залезешь под одеяло, они такие холодные. Он вздрогнул, представив себе, какие они холодные. Но потом они становятся теплыми, и тогда можно заснуть. Приятно чувствовать себя усталым. Он опять зевнул. Вечерние молитвы – и в постель; он потянулся, и опять ему захотелось зевнуть. Приятно будет через несколько минут. Он почувствовал, как тепло ползет по холодным шуршащим простыням, все жарче, жарче, пока его всего не бросило в жар и не стало совсем жарко, и все-таки его чуть-чуть знобило и все еще хотелось зевать.

Прозвонил звонок на вечерние молитвы, и они пошли парами всем

классом вниз по лестнице и по коридорам в церковь. Свет в коридорах тусклый, и в церкви свет тусклый. Скоро все погаснет и заснет. В церкви холодный, ночной воздух, а мраморные колонны такого цвета, как море ночью. Море холодное и днем и ночью, но ночью оно холодней. У мола, внизу, около их дома, холодно и темно. А дома уж кипит на огне котелок, чтобы варить пунш.

Священник читал молитвы у него над головой, и память его подхватывала стих за стихом:

Господи! Отверзи уста наши,
И уста наши возвестят хвалу Твою,
Поспеш, Боже, избавить нас
Поспеш, Господи, на помощь нам.

В церкви стоял холодный, ночной запах. Но это был святой запах. Он не похож на запах старых крестьян, которые стояли на коленях позади них во время воскресной службы. То был запах воздуха, и дождя, и торфа, и грубой ткани. Но крестьяне были очень благочестивые. Они дышали ему в затылок и вздыхали, когда молились. Они живут в Клейне^[18], сказал один мальчик. Там были маленькие домики, и он видел женщину, которая стояла у полуоткрытой двери с ребенком на руках, когда они ехали мимо из Сэллинза. Приятно было бы поспать одну ночь в этом домике около очага с дымящимся торфом в темноте, освещенной тлеющим жаром, в теплой полутьме вдыхая запах крестьян, запах дождя, торфа и грубой ткани. Но как темно на дороге среди деревьев! Страшно заблудиться в темноте! Ему стало страшно, когда он об этом подумал. Он услышал голос священника, произносившего последнюю молитву. Он тоже стал молиться, думая все время о темноте там, снаружи, среди деревьев.

«Посети, Господи, обитель сию и избави нас от всех козней лукавого, да охранят нас святые ангелы Твои и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с нами. Аминь».

Пальцы его дрожали, когда он раздевался в дортуаре. Он подгонял их. Ему нужно было раздеться, стать на колени, прочитать молитвы и лечь в постель, прежде чем потушат газ, иначе он попадет в ад, когда умрет. Он стянул чулки, быстро надел ночную рубашку, стал, дрожа, на колени около кровати и наспех прочел молитвы, боясь, что газ потушат. Плечи его тряслись, когда он шептал:

Господи, спаси папу и маму и сохрани их мне!

Господи, спаси моих маленьких братьев и сестер и сохрани их мне!
Господи, спаси Дэнти и дядю Чарльза и сохрани их мне!

Он перекрестился и быстро юркнул в постель, завернув ноги в подол рубашки, съездившись в комок под холодной белой простыней, дрожа всем телом. Он не попадет в ад после смерти, а дрожь скоро пройдет. Голос в дортуаре пожелал мальчикам спокойной ночи^[19]. Он выглянул на секунду из-под одеяла и увидел желтые занавески спереди и по бокам кровати, которые закрывали его со всех сторон. Газ тихонько потушили.

Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз по лестнице и по коридорам или к себе, в комнату в конце коридора? Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, будто она ходит здесь по ночам и у нее глаза огромные, как фонари на каретах? Говорят, что это призрак убийцы. Дрожь ужаса прошла по его телу. Он увидел темный вестибюль замка. Старые слуги в старинных ливреях собрались в гладильной над лестницей. Это было очень давно. Старые слуги сидели тихо. Огонь пылал в камине, но внизу было темно. Кто-то поднимался по лестнице, ведущей из вестибюля^[20]. На нем был белый маршалский плащ, лицо бледное и отрешенное. Он прижимал руки к сердцу. Он отрешенно смотрел на старых слуг. Они смотрели на него, и узнали лицо и одежду своего господина, и поняли, что он получил смертельную рану. Но там, куда они смотрели, была только тьма, только темный, безмолвный воздух. Господин их получил смертельную рану на поле сражения под Прагой, далеко-далеко за морем. Он стоял на поле битвы, рука его была прижата к сердцу. У него было бледное, странное лицо, и одет он был в белое маршалское одеяние.

О, как холодно и непривычно жутко думать об этом! Как холодно и непривычно жутко в темноте. Странные, бледные лица кругом, огромные глаза, похожие на фонари. Это призраки убийц, тени маршалов, смертельно раненых на поле сражения далеко-далеко за морем. Что хотят сказать они, почему у них такие странные лица!

«Посети, Господи, обитель сию и избави нас от всех...»

Домой на каникулы! Как это будет хорошо! Мальчики рассказывали ему. Ранним зимним утром у подъезда замка все усаживаются в кэбы. Колеса скрипят по щебню. Прощальные приветствия ректору.

Ура! Ура! Ура!

Кэбы поедут мимо часовни, все снимут шапки. Весело выезжают на проселочную дорогу. Возчики указывают кнутами на Боденстаун^[21]. Мальчики кричат «ура!». Проезжают мимо дома арендатора Джолли. Ура,

ура и еще раз ура! Проезжают через Клейн, с криками, весело раскланиваясь, с ними тоже раскланиваются. Крестьянки стоят у полуоткрытых дверей, кое-где стоят мужчины. Чудесный запах в зимнем воздухе – запах Клейна; зимний воздух, дождь, тлеющий торф и грубая ткань крестьянской одежды.

Поезд битком набит мальчиками: длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обшивкой. Кондукторы ходят взад и вперед, отпирая, закрывая, распахивая и захлопывая двери. Они в темно-синих с серебром мундирах; у них серебряные свистки и ключи весело позвякивают: клик-клик, клик-клик.

И поезд мчится по гладким равнинам мимо холмов Аллена. Телеграфные столбы мимо... мимо...

Поезд мчится дальше и дальше... Он знает дорогу. А дома у них в холле фонарики, гирлянды зеленых веток. Плющ и остролист вокруг трюмо, и плющ и остролист, зеленый и алый, переплетаются вокруг канделябров^[22]. Зеленый плющ и алый остролист вокруг старых портретов по стенам. Плющ и остролист ради него и ради Рождества.

Как хорошо!

Все домашнее. Здравствуй, Стивен! Радостные возгласы. Мама целует его. А нужно ли целовать? А папа его теперь маршал, это вам почище, чем мировой судья. Вот ты и дома. Здравствуй, Стивен.

Шум...

Это был шум отдергивающихся занавесок, плеск воды в раковинах. Шум пробуждения, одевания и мытья в дортуаре; надзиратель, хлопая в ладоши, прохаживался взад и вперед, покрикивая на мальчиков, чтобы они поторапливались... Бледный солнечный свет падал на желтые отдернутые занавески, на смятые постели. Его постель была очень горячая, и лицо и тело – тоже очень горячие.

Он поднялся и сел на край кровати. Он чувствовал слабость. Он попытался натянуть чулок. Чулок казался отвратительно шершавым на ощупь. Солнечный свет такой странный и холодный.

Флеминг спросил:

– Ты что, заболел?

Он сам не знал. Тогда Флеминг сказал:

– Полезай обратно в постель. Я скажу Макглэйду, что ты заболел.

– Он болен.

– Кто?

– Скажите Макглэйду.

– Ложись обратно.

– Он болен?

Какой-то мальчик держал его под руки, пока он стаскивал прилипший к ноге чулок и ложился обратно в горячую постель.

Он съежился под простыней, радуясь, что она еще теплая. Он слышал, как мальчики говорили о нем, одеваясь к обеду. Подло – столкнуть его в очко уборной, говорили они. Потом их голоса затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:

– Дедал, ты не наябедничаешь на нас, правда?

Перед ним было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.

– Я не нарочно. Правда, не скажешь?

Папа его говорил, чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Он помотал головой и сказал «нет» и почувствовал себя счастливым.

Уэллс сказал:

– Честное слово, я не нарочно. Я пошутил. Не сердись.

Лицо и голос исчезли. Просит прощения, потому что боится. Боится, что это какая-нибудь страшная болезнь... Растения съедают черви, животных съедает рак, или наоборот. Как это было давно, тогда на площадке, в сумерках, он топтался в хвосте своей команды, и тяжелая птица пролетела низко в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. Уолси умер там. Аббаты погребли его сами.

Теперь это было уже лицо не Уэллса, а надзирателя. Он не притворяется. Нет, нет, он в самом деле болен. Он не притворяется. И он почувствовал руку надзирателя на своем лбу и почувствовал, какой горячий и влажный у него лоб под рукой надзирателя. Как будто прикоснулась крыса – скользкая, влажная и холодная. У всякой крысы два глаза, чтобы смотреть. Гладкие, прилизанные, скользкие шкурки; маленькие ножки, поджатые, чтобы прыгать, черные скользкие глазки, чтобы смотреть. Они понимают, как надо прыгать. А вот тригонометрии они никогда не поймут. Дохлые, они лежат на боку, а шкурки у них высыхают. Тогда это просто падаль.

Надзиратель опять вернулся, это его голос говорит ему, что надо встать, что отец помощник ректора сказал, что надо встать, одеться и идти в лазарет. И в то время, как он одевался, торопясь изо всех сил, надзиратель сказал:

– Вот мы теперь пойдем к брату Майклу^[23] и скажем, что у нас пузик болит! Ух, как несладко, когда пузик болит! Уж такой бледный вид, когда пузик болит!

Надзиратель говорил так, потому что он добрый. Это все для того, чтобы рассмешить его. Но он не мог смеяться, потому что щеки и губы у него дрожали, и тогда надзиратель один засмеялся. А потом крикнул:

– Живо марш! Сено, солома!

Они пошли вместе вниз по лестнице, и по коридору, и мимо ванной. Проходя мимо двери ванной, он со смутным страхом вспомнил теплую, торфяного цвета болотистую воду, теплый влажный воздух, шум окунающихся тел, запах полотенец, похожий на запах лекарства.

Брат Майкл стоял в дверях лазарета, а из дверей темной комнаты, справа от него, шел запах, похожий на запах лекарства. Это от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, и брат Майкл отвечал и называл надзирателя «сэр». У него были рыжеватые с проседью волосы и какой-то странный вид. Как странно, что он навсегда останется только братом. И так странно, что его нельзя называть «сэр», потому что он брат и не похож на остальных. Разве он не такой же благочестивый? Чем он хуже других?

В комнате были две кровати, и на одной кровати лежал мальчик, и, когда они вошли, он крикнул:

– Привет, пригодишка Дедал! Что там, наверху?

– Наверху небо, – сказал брат Майкл.

Это был мальчик из третьего класса, и в то время как Стивен раздевался, он попросил брата Майкла дать ему ломоть поджаренного хлеба с маслом.

– Ну дайте, пожалуйста, – просил он.

– Ему еще с маслом! – сказал брат Майкл. – Выпишем тебя из лазарета, когда придет доктор.

– Выпишете? – переспросил мальчик. – Я еще не совсем выздоровел.

Брат Майкл повторил:

– Выпишем, будь уверен. Я тебе говорю.

Он нагнулся помешать огонь в камине. У него была длинная спина, как у лошади, которая возит конку. Он важно потряхивал кочергой и кивал головой мальчику из третьего класса.

Потом брат Майкл ушел, и немного погодя мальчик из третьего класса повернулся лицом к стене и уснул.

Вот он и в лазарете. Значит, он болен. Написали ли они домой, папе и маме? А еще лучше, если бы кто-нибудь из священников поехал и сказал им. Или он мог бы написать письмо, чтобы тот передал.

Дорогая мама!

Я болен. Я хочу домой! Пожалуйста, приезжай и возьми меня домой. Я в лазарете.

Твой любящий сын, Стивен.

Как они далеко! За окном сверкает холодный солнечный свет. А вдруг он умрет? Ведь умереть можно и в солнечный день. Может быть, он умрет раньше, чем приедет мама. Тогда в церкви отслужат заупокойную мессу, как было, когда умер Литтл, – ему рассказывали об этом. Все мальчики соберутся в церкви, одетые в черное, и все с грустными лицами. Уэллс тоже придет, но ни один мальчик не захочет смотреть больше на него. И священник будет в черном с золотом облачении, и на алтаре, и вокруг катафалка будут гореть большие желтые свечи. И потом гроб медленно вынесут из церкви и похоронят на маленьком кладбище общины за главной липовой аллеей. И Уэллс пожалеет о том, что сделал. И колокол будет медленно звонить.

Он даже слышал звон. Он повторил про себя песенку, которой его научила Бриджет:

Дин-дон, колокол, звени.
Прощай навеки, мама!
На старом кладбище меня схорони
Со старшим братцем рядом.
Гроб с черною каймою,
Шесть ангелов со мною:
Молятся двое, двое поют,
А двое душу понесут.

Как красиво и грустно! Какие красивые слова, где говорится «На старом кладбище меня схорони». Дрожь прошла по его телу. Как грустно и как красиво! Ему хотелось плакать, не о себе, а над этими словами, такими красивыми и грустными, как музыка. Колокол гудит. Прощай навеки! Прощай!

Холодный солнечный свет потускнел. Брат Майкл стоял у его кровати с чашкой бульона в руках. Он обрадовался, потому что во рту у него пересохло и горело. До него доносились крики играющих на площадке. Ведь день в колледже шел своим порядком, как если бы и он был там. Потом брат Майкл собрался уходить, и мальчик из третьего класса попросил его, чтобы он непременно пришел еще раз и рассказал ему все

новости из газет. Он сказал Стивену, что его фамилия Этти и что отец его держит целую уйму скаковых лошадей, все призовые рысаки, и что отец его может сказать брату Майклу, на какую лошадь ему поставить, потому что брат Майкл очень добрый и всегда рассказывает ему новости из газет, которые каждый день получают в общине. В газетах масса всяких новостей, происшествия, кораблекрушения, спорт и политика.

– Теперь в газетах все только и пишут о политике, – сказал он. – Твои родители, наверно, тоже разговаривают об этом?

– Да, – сказал Стивен.

– Мои тоже, – сказал он.

Потом он подумал минутку и сказал:

– У тебя странная фамилия – Дедал, и у меня тоже странная – Этти. Моя фамилия – это название города, а твоя похожа на латынь.

Потом он спросил:

– Ты хорошо отгадываешь загадки?

Стивен ответил:

– Не очень.

Тогда он сказал:

– А ну-ка отгадай, чем графство Килдер похоже на грамматику?

Стивен подумал, какой бы мог быть ответ, потом сказал:

– Сдаюсь.

– Потому что и там и тут «эти». Понятно? Этти – город в графстве Килдер, а в грамматике местоимение – эти.

– Понятно, – сказал Стивен.

– Это старая загадка, – сказал тот.

Помолчав несколько секунд, он сказал:

– Знаешь что?

– Что? – спросил Стивен.

– Ведь эту загадку можно загадать и по-другому.

– По-другому? – переспросил Стивен.

– Ту же самую загадку, – сказал он. – Знаешь, как загадать ее по-другому?

– Нет, – сказал Стивен.

– И не можешь догадаться?

Он смотрел на Стивена, приподнявшись на постели. Потом откинулся на подушки и сказал:

– Можно загадать по-другому, но как – не скажу.

Почему он не говорил? Его отец, у которого столько скаковых лошадей, должно быть, тоже мировой судья, как отец Сорина и Вонючки

Роуча. Он вспомнил о своем отце, как тот пел, когда мама играла на рояле, и всегда давал ему шиллинг, если он просил несколько пенсов, и ему стало обидно за него, что он не мировой судья, как отцы у других мальчиков. Тогда зачем же его отдали сюда, вместе с ними? Но папа говорил ему, что он здесь будет свой, потому что пятьдесят лет тому назад его дедушка подносил здесь адрес Освободителю^[24]. Людей того времени можно узнать по их старинным костюмам. В то время все было так торжественно – и он подумал, что, может быть, в то время воспитанники в Клонгоузе носили голубые куртки с медными пуговицами, и желтые жилеты, и шапки из кроличьих шкурок, и пили пиво, как взрослые, и держали собственных гончих для охоты на зайцев.

Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет стал еще слабее. Теперь над площадкой, наверное, серый, облачный свет. На площадке тихо. Мальчики, должно быть, в классе решают задачи, или отец Арнолл читает им вслух.

Странно, что ему не дают никакого лекарства. Может быть, брат Майкл принесет с собой, когда вернется. Говорили, что, когда попадешь в лазарет, дают пить какую-то вонючую жидкость. Он чувствовал себя лучше, чем прежде. Хорошо бы выздоравливать потихоньку. Тогда можно попросить книжку. В библиотеке есть книжка о Голландии. В ней чудесные иностранные названия и картинки необыкновенных городов и кораблей. Так интересно их рассматривать!

Какой бледный свет в окне! Но это приятно. На стене огонь вздымается и падает. Это похоже на волны. Кто-то подложил углей, и он слышал голоса. Они разговаривали. Это шумели волны. Или это волны разговаривали между собой, вздымаясь и падая?

Он увидел море волн – длинные темные валы вздымались и падали, темные, в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на маяке в бухте, куда входил корабль, и он увидел множество людей, собравшихся на берегу, чтобы посмотреть на корабль, входящий в гавань^[25]. Высокий человек стоял на борту, глядя на темный плоский берег, и при свете маяка он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла.

Он увидел, как брат Майкл протянул руку к толпе, и услышал громкий скорбный голос, пронесшийся над водой:

– Он умер. Мы видели его мертвым.

Скорбные причитания в толпе:

– Парнелл! Парнелл! Он умер!

В глубокой скорби они, стеная, упали на колени.

И он увидел Дэнти в коричневом бархатном платье и в зеленой бархатной мантии, спускавшейся с плеч, шествующую гордо и безмолвно мимо толпы, которая стояла на коленях у самой воды.

*

Высокая груда раскаленного докрасна угля пылала в камине, а под увитыми плющом рожками люстры был накрыт рождественский стол. Они немножко опоздали, а обед все еще не был готов; но он будет готов сию минуту, сказала мама. Они ждали, когда откроются двери и войдут служанки с большими блюдами, накрытыми тяжелыми металлическими крышками.

Все ждали: дядя Чарльз сидел в глубине комнаты у окна, Дэнти и мистер Кейси – в креслах по обе стороны камина, а Стивен – на стуле между ними, положив ноги на подставку-подушечку. Мистер Дедал посмотрел на себя в зеркало над камином, подкрутил кончики усов и, отвернув фалды фрака, стал спиной к огню, но время от времени он поднимал руку и снова покручивал то один, то другой кончик уса. Мистер Кейси, склонив голову набок и улыбаясь, пощелкивал себя по шее. И Стивен улыбался; теперь он знал, что это неправда, будто у мистера Кейси кошелек с серебром в горле. Ему было смешно подумать, как это мистер Кейси мог так его обманывать. А когда он попытался разжать его руку, чтобы посмотреть, не там ли этот кошелек с серебром, оказалось, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси сказал ему, что эти три пальца у него скрючились с тех пор, как он делал подарок для королевы Виктории ко дню ее рождения^[26]. Мистер Кейси постукивал себя по шее и улыбался Стивену сонными глазами, а мистер Дедал сказал:

– М-да. Ну, прекрасно. А хорошо мы прошлись! Не правда ли, Джон? М-да... Будет у нас сегодня обед, хотел бы я знать? М-да... Здорово мы озоном надьшались возле мыса. Неплохо, черт возьми.

Он обернулся к Дэнти и сказал:

– А вы сегодня совсем не выходили, миссис Риордан?

Дэнти нахмурилась и ответила коротко:

– Нет.

Мистер Дедал отпустил фалды фрака и подошел к буфету. Он достал с полки большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наливать в графин, нагибаясь то и дело, чтобы посмотреть, сколько он налил. Затем, поставив кувшин обратно в буфет, он налил немного виски в две рюмки,

прибавил немного воды и возвратился с рюмками к камину.

– Рюмочку перед обедом для аппетита, Джон, – сказал он.

Мистер Кейси взял рюмку, выпил и поставил ее около себя на камин.

Потом сказал:

– А я сейчас вспомнил нашего приятеля Кристофера, как он гонит...

Он захохотал, потом добавил:

– Гонит шампанское для своих ребят.

Мистер Дедал громко рассмеялся.

– Это Кристи-то? – сказал он. – Да в любой бородавке на его плешивой голове хитрости побольше, чем у полдюжины плутов!

Он нагнул голову, закрыл глаза и, смачно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:

– А ведь каким простачком прикидывается! Как сладко поет, мошенник! Этакая святая невинность!

Мистер Кейси все еще не мог оправиться от кашля и смеха. По физиономии, по голосу отца Стивен узнал, услышал хозяина гостиницы, и ему стало смешно.

Мистер Дедал вставил в глаза монокль и, посмотрев на сына, сказал спокойно и ласково:

– А ты, малыш, что смеешься, а?

Вошли служанки и поставили блюда на стол. За ними вошла миссис Дедал и пригласила всех к столу.

– Садитесь, прошу вас, – сказала она.

Мистер Дедал подошел к своему месту и сказал:

– Садитесь, миссис Риордан.

– Садитесь, Джон, голубчик.

Он посмотрел в ту сторону, где сидел дядя Чарльз, и прибавил:

– Пожалуйста, сэр, птичка ждет.

Когда все уселись, он положил руку на крышку блюда, но, тотчас же спохватившись, отдернул ее и сказал:

– Ну, Стивен.

Стивен встал, чтобы прочитать молитву перед едой:

Благослови нас, Господи, и благослови даяния сии, что милостью Твоею ниспосылаешь нам во имя Христа – Спасителя нашего. Аминь.

Все перекрестились, и мистер Дедал, вздохнув от удовольствия, поднял с блюда тяжелую крышку, унизанную по краям блестящими каплями.

Стивен смотрел на жирную индейку, которую еще утром он видел на кухонном столе, связанную и проткнутую спицей. Он знал, что папа

заплатил за нее гинею у Данна на Д'Ольер-стрит и продавец долго тыкал ее в грудь, чтобы показать, какая это хорошая птица, и он вспомнил голос продавца:

– Берите эту, сэр. Спасибо скажете. Знатная птица.

Почему это мистер Баррет в Клонгоузе называет индюшкой свою линейку, которой бьют по рукам? Но Клонгоуз далеко, а горячий, густой запах индейки, окорока и сельдерея поднимается от блюд и тарелок, и большое пламя в камине взлетает высоко и ярко, а зеленый плющ и алый остролист вызывают чувство такой радости! А потом, когда обед кончится, подадут громадный плам-пудинг, обсыпанный чищенным миндалем и украшенный остролистом, струйка синеватого огня бежит вокруг него, а маленький зеленый флажок развеивается на верхушке.

Это был его первый рождественский обед, и он думал о своих маленьких братьях и сестрах, которые ждали теперь в детской, когда появится пудинг, как и он дожидался столько раз. В форменной куртке с низким отложным воротником он чувствовал себя необычно и повзрослому, и, когда его одели сегодня утром, чтобы идти к мессе, и мама привела его в гостиную, папа заплакал. Это потому, что он вспомнил о своем папе. Так и дядя Чарльз сказал.

Мистер Дедал накрыл блюдо крышкой и с аппетитом принялся за еду.

– Бедняга Кристи, – промолвил он, – кажется, он совсем запутался в своих плутнях.

– Саймон, – сказала миссис Дедал, – ты не предложил соуса миссис Риордан.

Мистер Дедал схватил соусник.

– В самом деле, – воскликнул он. – Миссис Риордан, простите несчастного грешника.

Дэнти закрыла свою тарелку руками и сказала:

– Нет, благодарю вас.

Мистер Дедал повернулся к дяде Чарльзу:

– А у вас, сэр?

– Все в порядке, Саймон.

– Вам, Джон?

– Мне хватит. Про себя не забудьте.

– Тебе, Мэри? Давай тарелку, Стивен. Ешь, ешь, скорей усы вырастут.

Ну-ка!

Он щедро налил соуса в тарелку Стивена и поставил соусник на стол. Потом он спросил дядю Чарльза, нежное ли мясо. Дядя Чарльз не мог говорить, потому что у него был полон рот, но он кивнул головой.

– А ведь хорошо наш приятель ответил канонику? А? – сказал мистер Дедал.

– Я не думал, что он на это способен, – сказал мистер Кейси.

– *Я заплачу церковный сбор, отец мой, когда вы перестанете обращать дом Божий в трибуну для агитации.*^[27]

– Нечего сказать, недурной ответ, – сказала Дэнти, – своему духовному отцу. Особенно для человека, который называет себя католиком.

– Им остается винить только себя, – сказал мистер Дедал с нарочитой кротостью. – Будь они поумней, они занимались бы только религией, а не совались бы не в свои дела.

– Это и есть религия, – сказала Дэнти, – они исполняют свой долг, предостерегая народ.

– Мы приходим в дом господен, – сказал мистер Кейси, – смиренно молиться нашему Создателю, а не слушать предвыборные речи.

– Это и есть религия, – повторила Дэнти. – Они правильно поступают. Они должны наставлять свою паству.

– И агитировать с амвона? – спросил мистер Дедал.

– Разумеется, – сказала Дэнти. – Это касается общественной нравственности. Какой же это священник, если он не будет объяснять своей пастве, что хорошо и что дурно.

Миссис Дедал опустила нож с вилкой и сказала:

– Ради Бога, ради Бога, избавьте нас от этих политических споров хоть на сегодня, в такой день!

– Совершенно верно, мэм, – сказал дядя Чарльз. – Довольно, Саймон. И больше ни слова.

– Хорошо, хорошо, – скороговоркой ответил мистер Дедал.

Он решительным жестом снял крышку с блюда и спросил:

– А ну-ка? Кому еще индейки?

Никто не ответил. Дэнти повторила:

– Хорошие речи для католика, нечего сказать.

– Миссис Риордан, умоляю вас, – сказала миссис Дедал, – оставим этот разговор хоть сегодня.

Дэнти повернулась к ней и сказала:

– По-вашему, я должна сидеть и слушать, как издеваются над пастырями церкви?

– Никто против них слова не скажет, – подхватил мистер Дедал, – если они перестанут вмешиваться в политику.

– Епископы и священники Ирландии сказали свое слово, – возразила Дэнти, – им нужно повиноваться.

– Пусть они откажутся от политики, – вмешался мистер Кейси, – а не то народ откажется от церкви.

– Слышите? – сказала Дэнти, обращаясь к миссис Дедал.

– Мистер Кейси! Саймон! Довольно, прошу вас, – умоляла миссис Дедал.

– Нехорошо! Нехорошо! – сказал дядя Чарльз.

– Как! – воскликнул мистер Дедал. – И мы должны были отступить от него по указке англичан!

– Он был уже недостойн вести народ, – сказала Дэнти. – Он жил во грехе, у всех на виду.

– Все мы грешники, окаянные грешники, – невозмутимо ответил мистер Кейси.

– *Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят,* – сказала миссис Риордан. – *Лучше было бы ему, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и бросили его в море, нежели бы он соблазнил одного из малых сих.* ^[28] Вот слова Священного писания.

– И очень скверные слова, если хотите знать мое мнение, – холодно заметил мистер Дедал.

– Саймон! Саймон! – одернул его дядя Чарльз. – При мальчике!

– Да, да, – спохватился мистер Дедал. – Я же говорю... Я хотел сказать... Скверные слова говорил носильщик на станции. Вот так, хорошо. Ну-ка, Стивен, подставляй тарелку, дружище. Да смотри доедай все.

Он передал полную тарелку Стивену и положил дяде Чарльзу и мистеру Кейси по большому куску индейки, обильно политой соусом. Миссис Дедал ела очень мало, а Дэнти сидела, сложив руки на коленях. Лицо у нее было красное. Мистер Дедал поковырял вилкой остатки индейки и сказал:

– Тут есть еще лакомый кусочек, называется он архиерейский кусочек. Леди и джентльмены, кому угодно?..

Он поднял на вилке кусок индейки. Никто не ответил. Он положил его к себе на тарелку и сказал:

– Мое дело предложить. Но, пожалуй, я съем его сам. Я что-то за последнее время сдал.

Он подмигнул Стивену, накрыл блюдо и опять принялся за еду. Пока он ел, все молчали.

– А погода все-таки разгулялась! – сказал он. – И приезжих много в городе.

Никто не ответил. Он опять заговорил:

– По-моему, в этом году больше приезжих, чем в прошлое Рождество.

Он обвел взглядом лица присутствующих, склоненные над тарелками, и, не получив ответа, выждал секунду и сказал с досадой:

– Все-таки испортили мой рождественский обед!

– Не может быть ни счастья, ни благодати, – процедила Дэнти, – в доме, где нет уважения к пастырям церкви.

Мистер Дедал со звоном швырнул вилку и нож на тарелку.

– Уважение! – сказал он. – Это к Билли-то губошлепу или к этому толстопузому обжоре из Арма!^[29] Уважение?!

– Князя церкви! – язвительно вставил мистер Кейси.

– Конюх лорда Лейтрима^[30], – добавил мистер Дедал.

– Они помазанники Божий, – сказала Дэнти. – Гордость страны!

– Обжора толстопузый, – повторил мистер Дедал. – Он только и хорош, когда спит. А посмотрели бы вы, как он в морозный денек уписывает у себя свинину с капустой! Красавец!

Он скорчил тупую рожу и зачмокал губами.

– Право, Саймон, не надо так говорить при мальчике. Это нехорошо.

– О да, он все припомнит, когда вырастет, – подхватила Дэнти с жаром, – все эти речи против Бога, религии и священников, которых наслышался в родном доме.

– Пусть он припомнит, – закричал ей мистер Кейси через стол, – и речи, которыми священники и их прихвостни разбили сердце Парнеллу и свели его в могилу. Пусть он и это припомнит, когда вырастет.

– Сукины дети! – воскликнул мистер Дедал. – Когда ему пришлось плохо, тут-то они его и предали! Накинулись и загрызли, как крысы поганые! Подлые псы! Они и похожи на псов. Ей-богу, похожи!

– Они правильно сделали, – крикнула Дэнти. – Они повиновались своим епископам и священникам. Честь и хвала им!

– Но ведь это просто ужасно! – воскликнула миссис Дедал. – Ни одного дня в году нельзя провести без этих ужасных споров.

Дядя Чарльз, умиротворяюще подняв руки, сказал:

– Тише, тише, тише! Разве нельзя высказывать свое мнение без гнева и без ругательств! Право же, нехорошо.

Миссис Дедал стала шепотом успокаивать Дэнти, но Дэнти громко ответила:

– А я не буду молчать! Я буду защищать мою церковь и веру, когда их поносят и плевают вероотступники.

Мистер Кейси резко отодвинул тарелку на середину стола и, положив локти на стол, заговорил хриплым голосом, обращаясь к хозяину дома:

– Скажите, я рассказывал вам историю о знаменитом плевке?

– Нет, Джон, не рассказывали, – ответил мистер Дедал.

– Как же, – сказал мистер Кейси, – весьма поучительная история. Это случилось не так давно в графстве Уиклоу, где мы и сейчас с вами находимся^[31].

Он остановился и, повернувшись к Дэнти, произнес со сдержанным негодованием:

– Позвольте мне заметить вам, сударыня, что если вы имели в виду меня, так я не вероотступник. Я католик, каким был мой отец, и его отец, и отец его отца еще в то время, когда мы скорее готовы были расстаться с жизнью, чем предать свою веру.

– Тем постыдней для вас, – сказала Дэнти, – говорить то, что вы говорили сейчас.

– Рассказывайте, Джон, – сказал мистер Дедал улыбаясь. – Мы вас слушаем.

– Тоже мне католик! – повторила Дэнти иронически. – Самый отъявленный протестант не позволил бы себе таких выражений, какие я слышала сегодня.

Мистер Дедал начал мотать головой из стороны в сторону, напевая сквозь зубы наподобие деревенского певца.

– Я не протестант, повторяю вам еще раз, – сказал мистер Кейси, вспыхнув.

Мистер Дедал, все так же подвывая и мотая головой, вдруг запел хриплым, гнусавым голосом:

Придите, о вы, католики,
Которые к мессе не ходят!

Он взял нож и вилку и, снова принимаясь за еду, весело сказал мистеру Кейси:

– Рассказывайте, мы слушаем, Джон, это полезно для пищеварения.

Стивен с нежностью смотрел на лицо мистера Кейси, который, подперев голову руками, уставился прямо перед собой. Он любил сидеть рядом с ним у камина, глядя в его суровое, темное лицо. Но его темные глаза никогда не смотрели сурово, и было приятно слушать его неторопливый голос. Но почему же он против священников? Ведь тогда, выходит, Дэнти права. Он слышал, как папа говорил, будто в молодости Дэнти была монахиней, а потом, когда ее брат разбогател на браслетах и

побрякушках, которые он продавал дикарям, ушла из монастыря в Аллеганах. Может быть, поэтому она против Парнелла? И еще – она не любит, чтобы он играл с Эйлин, потому что Эйлин протестантка, а когда Дэнти была молодая, она знала детей, которые водились с протестантами, и протестанты издевались над литанией пресвятой девы. «*Башня из слоновой кости*, – говорили они. – *Золотой чертог!*» Как может быть женщина башней из слоновой кости или золотым чертогом? Кто же тогда прав? И ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоузе, темные волны, свет в бухте и горестные стоны людей, когда они слышали весть.

У Эйлин были длинные белые руки. Как-то вечером, когда они играли в жмурки, она прижала ему к глазам свои руки: длинные, белые, тонкие, холодные и нежные. Это и есть слоновая кость. Холодная и белая, вот что значит *башня из слоновой кости*.

– Рассказ короткий и занятный, – сказал мистер Кейси. – Это было как-то в Арклоу^[32] в холодный, пасмурный день, незадолго до того, как умер наш вождь. Помилуй, Господи, его душу!

Он устало закрыл глаза и остановился. Мистер Дедал взял кость с тарелки и, отдирая мясо зубами, сказал:

– До того, как его убили, вы хотите сказать?

Мистер Кейси открыл глаза, вздохнул и продолжал:

– Однажды он приехал в Арклоу. Мы были на митинге, и, когда митинг кончился, нам пришлось пробиваться сквозь толпу на станцию. Такого рева и воя мне еще никогда не приходилось слышать! Они поносили нас на все лады. А одна старуха, пьяная старая ведьма, почему-то привязалась именно ко мне. Она приплясывала в грязи рядом со мной, визжала и выкрикивала мне прямо в лицо: *Гонитель священников! Парижская биржа!*^[33] *Мистер Фокс! Китти О'Шей!*

– И что же вы сделали, Джон? – спросил мистер Дедал.

– Я не мешал ей визжать, – сказал мистер Кейси. – Было очень холодно, и, чтобы подбодрить себя, я (прошу извинить меня, мадам) заложил за щеку порцию талламорского табаку, ну и, само собой, слова я не мог сказать, потому что рот был полон табачного сока.

– Ну и что же, Джон?

– Ну так вот. Я не мешал ей – пусть орет сколько душе угодно про Китти О'Шей и все такое, – пока наконец она не обозвала эту леди таким словом, которое я не повторю, чтобы не осквернять ни наш рождественский обед, ни ваш слух, мадам, ни свой собственный язык.

Он замолчал. Мистер Дедал, подняв голову, спросил:

– Ну и что же вы сделали, Джон?

– Что я сделал? – сказал мистер Кейси. – Она приблизила ко мне свою отвратительную старую рожу, а у меня был полон рот табачного сока. Я наклонился к ней и сказал: *ТЬфу!* – вот так.

Он отвернулся в сторону и показал, как это было.

– *ТЬфу!* Прямо в глаз ей плюнул.

Он прижал руку к глазу и завопил, словно от боли:

– *Ой, Иисусе Христе, дева Мария, Иосиф!* – вопила она. – *Ой, я ослепла, ой, умираю!*

Он поперхнулся и, давась от смеха и кашля, повторял:

– *Ослепла, совсем ослепла!*

Мистер Дедал громко захохотал и откинулся на спинку стула, дядя Чарльз мотал головой из стороны в сторону. У Дэнти был очень сердитый вид, и, пока они смеялись, она не переставала повторять:

– Очень хорошо, нечего сказать, очень хорошо!

Нехорошо плевать женщине в глаза. Но каким же словом она обозвала Китти О'Шей, если мистер Кейси даже не захотел повторить его? Он представил себе мистера Кейси среди толпы: вот он стоит на тележке и произносит речь. За это он и сидел в тюрьме. И он вспомнил, как однажды к ним пришел сержант О'Нил, он стоял в передней и тихо разговаривал с папой, нервно покусывая ремешок своей каски. И в тот вечер мистер Кейси не поехал поездом в Дублин, а к дому подкатила телега, и он слышал, как папа говорил что-то о дороге через Кэбинтили.

Он был за Ирландию и за Парнелла так же, как и папа, но ведь и Дэнти – тоже, потому что однажды, когда на эспланаде играл оркестр, она ударила одного господина зонтиком по голове за то, что тот снял шляпу, когда под конец заиграли: *Боже, храни королеву!*^[34]

Мистер Дедал презрительно фыркнул.

– Э, Джон, – сказал он. – Так им и надо. Мы несчастный, задавленный попами народ. Так всегда было и так будет до скончания века.

Дядя Чарльз покачал головой и сказал:

– Да, плохи наши дела, плохи!

Мистер Дедал повторил:

– Задавленный попами и покинутый Богом народ!

Он показал на портрет своего деда направо от себя, на стене.

– Видите вы этого старика, Джон? – сказал он. – Честный ирландец – в его время люди жили не только ради денег. Он был одним из Белых Ребят^[35], приговоренных к смерти. В тысяча семьсот шестидесятом году он

был осужден на смерть как белый повстанец. О наших друзьях-церковниках он любил говорить, что никого из них с собой за стол не посадит.

Дэнти вспыхнула:

– Мы должны гордиться тем, что нами управляют священники! Они – зеница ока Божьего. *Не касайтесь их*, говорит Христос, *ибо они – зеница ока Моего*^[36].

– Выходит, нам нельзя любить свою родину? – спросил мистер Кейси. – Нельзя идти за человеком, который был рожден, чтобы вести нас?

– Изменник родины, – возразила Дэнти. – Изменник, прелюбодей! Пастыри нашей церкви правильно поступили, отвернувшись от него. Пастыри всегда были истинными друзьями Ирландии.

– И вы этому верите? – сказал мистер Кейси.

Он ударил кулаком по столу и, сердито сдвинув брови, начал отгибать один палец за другим.

– Разве ирландские епископы не предали нас во времена унии, когда епископ Лэниган поднес верноподданнический адрес маркизу Корнуоллису?^[37] Разве епископы и священники не продали в тысяча восемьсот двадцать девятом году чаяния своей страны за свободу католической религии? Не обличили фенианского движения с кафедры и в исповедальнях? Не обесчестили прах Теренса Белью МакМануса?^[38]

Лицо Кейси гневно пылало, и Стивен чувствовал, что и его щеки начинают пылать от волнения, которое поднималось в нем от этих слов.

Мистер Дедал захохотал злобно и презрительно.

– О Боже, – вскричал он. – Я и забыл старикашку Пола Коллена. Вот еще тоже зеница ока Божьего!

Дэнти перегнулась через стол и выкрикнула в лицо мистеру Кейси:

– Правильно, правильно! Они всегда поступали правильно! Бог, нравственность и религия прежде всего!

Миссис Дедал, видя, как она разгневана, сказала ей:

– Миссис Риордан, поберегите себя, не отвечайте им.

– Бог и религия превыше всего! – кричала Дэнти. – Бог и религия превыше всего земного!

Мистер Кейси поднял сжатый кулак и с силой ударил им по столу.

– Хорошо, – крикнул он хрипло, – если так – не надо Ирландии Бога!

– Джон, Джон! – вскричал мистер Дедал, хватая гостя за рукав.

Дэнти застыла, глядя на него в ужасе: щеки у нее дергались. Мистер Кейси с грохотом отодвинул стул и, перегнувшись к ней через весь стол,

стал водить рукой у себя под глазами, как бы отметая в сторону паутину.

– Не надо Ирландии Бога! – кричал он. – Слишком много его было в Ирландии. Хватит с нас! Долой Бога!

– Богохульник! Дьявол! – взвизгнула Дэнти, вскакивая с места, и только что не плюнула ему в лицо.

Дядя Чарльз и мистер Дедал усадили мистера Кейси обратно на стул, они пытались успокоить его. Он смотрел перед собой темными, пылающими глазами и повторял:

– Долой Бога, долой!

Дэнти с силой оттолкнула свой стул в сторону и вышла из-за стола, уронив кольцо от салфетки, которое медленно покатилося по ковру и остановилось у ножки кресла. Миссис Дедал быстро поднялась и направилась за ней к двери. В дверях Дэнти обернулась, щеки у нее дергались и пылали от ярости, она крикнула на всю комнату:

– Исчадие ада! Мы победили! Мы сокрушили его насмерть! Сатана!

Дверь с треском захлопнулась.

Оттолкнув державших его, мистер Кейси уронил голову на руки и зарыдал.

– Несчастный Парнелл! – громко простонал он. – Наш погибший король!

Он громко и горько рыдал.

Стивен, подняв побелевшее от ужаса лицо, увидел, что глаза отца полны слез.

*

Стоя небольшими группами, мальчики разговаривали. Один сказал:

– Их поймали у Лайонс-Хилл [\[39\]](#).

– Кто поймал?

– Мистер Глисон с помощником ректора. Они ехали в кэбе.

Тот же мальчик прибавил:

– Мне это рассказал один из старшего класса.

Флеминг спросил:

– А почему они бежали?

– Я знаю почему, – сказал Сесил Сандер. – Потому что стащили деньги из комнаты ректора.

– Кто стащил?

– Брат Кикема. А потом они поделились.

– Но это ведь воровство. Как же они могли?
– Много ты знаешь, Сандер! – сказал Уэллс. – Я точно знаю, почему они удрали.

– Почему?

– Меня просили не говорить, – сказал Уэллс.

– Ну расскажи, – закричали все. – Не бойся, мы тебя не выдадим.

Стивен вытянул голову вперед, чтобы лучше слышать. Уэллс огляделся по сторонам, не идет ли кто. Потом проговорил шепотом:

– Знаете церковное вино, которое хранится в ризнице в шкафу?

– Да.

– Так вот, они выпили его, а когда стали искать виновных, по запаху их и узнали. Вот почему они скрылись, если хотите знать.

Мальчик, который заговорил первым, сказал:

– Да, да, я тоже так слышал от одного старшеклассника.

Все молчали. Стивен стоял среди них, не решаясь проронить ни слова, и слушал. Его чуть-чуть мутило от страха, он чувствовал слабость во всем теле. Как они могли так поступить? Он представил себе тихую темную ризницу. Там были деревянные шкафы, где лежали аккуратно сложенные по сгибам стихари. Это не часовня, но все-таки разговаривать можно только шепотом. Тут святое место. И он вспомнил летний вечер, когда его привели туда в день процессии к маленькой часовне в лесу, чтобы надеть на него облачение прислужника. Странное и святое место. Мальчик, который держал кадило, медленно размахивал им взад и вперед в дверях, а серебряная крышка чуть-чуть оттягивалась средней цепочкой, чтобы не погасли угли^[40]. Уголь был древесный, и, когда мальчик медленно размахивал кадилом, уголь тихонько горел и от него шел кисловатый запах. А потом, когда все облачились, мальчик протянул кадило ректору и ректор насыпал в него полную ложку ладана, и ладан зашипел на раскаленных углях.

Мальчики разговаривали, собравшись группками там и сям на площадке. Ему казалось, что все они стали меньше ростом. Это оттого, что один из гонщиков, ученик второго класса, накануне сшиб его с ног. Велосипед столкнул его на посыпанную шлаком дорожку, и очки его разлетелись на три части, и немного золы попало в рот.

Вот поэтому мальчики и казались ему меньше и гораздо дальше от него, а штанги ворот стали такими тонкими и далекими, и мягкое серое небо поднялось так высоко вверх. Но на спортивной площадке никого не было, потому что все собрались играть в крикет; некоторые говорили, что капитаном будет Барнс, другие считали, что Флауэрс. И по всей площадке

бросали, наподдавали и запускали в воздух мячи. Удары крикетной биты разносились в мягком сером воздухе. Пик, пак, пок, пек – капельки воды в фонтане, медленно падающие в переполненный бассейн.

Этти, который до сих пор помалкивал, тихо сказал:

– И все вы не то говорите.

Все повернулись к нему.

– Почему?

– А ты знаешь?

– Кто тебе сказал?

– Расскажи, Этти!

Этти показал рукой через площадку туда, где Саймон Мунен прогуливался один, гоня ногой камешек.

– Спросите у него, – сказал он.

Мальчики посмотрели туда, потом сказали:

– А почему у него?

– Разве и он тоже?

Этти понизил голос и сказал:

– Знаете, почему эти ребята удрали? Я скажу вам, но только не признавайтесь, что знаете.

– Ну, рассказывай, Этти, ну пожалуйста. Мы не проговоримся.

Он помолчал минутку, потом прошептал таинственно:

– Их застали с Саймоном Муненом и Киком Бойлом вечером в уборной.

Мальчики посмотрели на него и спросили:

– Застали?

– А что они делали?

Этти сказал:

– Щупались.

Все молчали.

– Вот почему, – сказал Этти.

Стивен взглянул на лица товарищей, но они все смотрели на ту сторону площадки. Ему хотелось спросить кого-нибудь, что это значит – щупаться в уборной? Почему пять мальчиков из старшего класса убежали из-за этого? Это шутка, подумал он. Саймон Мунен всегда очень хорошо одет, а как-то раз вечером он показал ему шар со сливочными конфетами, который мальчики из футбольной команды подкатили ему по коврику посреди столовой, когда он стоял у двери. Это было в тот вечер, после состязания с бэктайвской командой, а шар был точь-в-точь как зеленое с красным яблоко, только он открывался, а внутри был набит сливочной

карамелью. А один раз Бойл сказал, что у слона два «кика», вместо того, чтобы сказать – клыка, поэтому его и прозвали Кик Бойл. Но некоторые мальчики называли его Леди Бойл, потому что он всегда следил за своими ногтями, заботливо подпиливая их.

У Эйлин тоже были длинные тонкие прохладные белые руки, потому что она – девочка. Они были как слоновая кость, только мягкие. Вот что означало *башня из слоновой кости*, но протестанты этого не понимали и потому смеялись. Однажды они стояли с ней и смотрели на двор гостиницы. Коридорный прилаживал к столбу длинную полосу флага, а по солнечному газону взад и вперед носился фокстерьер. Она засунула руку к нему в карман, где была его рука, и он почувствовал, какая прохладная, тонкая и мягкая у нее кисть. Она сказала, что очень забавно иметь карманы. А потом вдруг повернулась и побежала, смеясь, вниз по петляющей дорожке. Ее светлые волосы струились по спине, как золото на солнце. *Башня из слоновой кости. Золотой чертог.* Когда думаешь над чем-то, тогда начинаешь понимать.

Но почему в уборной? Ведь туда ходишь только по нужде. Там такие толстые каменные плиты, и вода капает весь день из маленьких дырочек, и стоит такой неприятный запах затхлой воды. А на двери одной кабины нарисован красным карандашом бородатый человек в римской тоге с кирпичом в каждой руке и внизу подпись к рисунку:

Балбес стену воздвигал.

Кто-то из мальчиков нарисовал это для смеха. Лицо вышло очень смешное, но все-таки похоже на человека с бородой. А на стене другой кабины было написано справа налево очень красивым почерком:

Юлий Цезарь написал Белую Галку.^[41]

Может быть, они просто забрались туда, потому что мальчики писали здесь ради шуток всякие такие вещи. Но все равно это неприятно, то, что сказал Этти и как он это сказал. Это уже не шутка, раз им пришлось убежать.

Он посмотрел вместе со всеми через площадку, и ему стало страшно.

А Флеминг сказал:

– Что же, теперь нам всем из-за них попадет?

– Не вернусь я сюда после каникул, вот увидишь, не вернусь, – сказал Сесил Сандер. – По три дня молчать в столовой, а чуть что – еще угодишь под штрафную линейку.

– Да, – сказал Уэллс. – А Баррет повадился свертывать штрафную тетрадку, так что, если развернуть, никак не сложишь по-старому – теперь не узнаешь, сколько тебе положено ударов.

– Я тоже не вернусь.

– Да, – сказал Сесил Сандер, – а классный инспектор был сегодня утром во втором классе.

– Давайте поднимем бунт, – сказал Флеминг. – А?

Все молчали. Воздух был очень тихий, удары крикетной биты раздавались медленнее, чем раньше: пик, пок.

Уэллс спросил:

– Что же им теперь будет?

– Саймона Мунена и Кика высекут, – сказал Этти, – а ученикам старшего класса предложили выбрать: порку или исключение.

– А что они выбрали? – спросил мальчик, который заговорил первым.

– Все выбрали исключение, кроме Корригана, – ответил Этти. – Его будет пороть мистер Глисон.

– Корриган, это тот верзила? – спросил Флеминг. – Что это он, его же на двух Глисонов хватит!

– Я знаю, почему Корриган так выбрал, – сказал Сесил Сандер, – и он прав, а другие мальчики нет, потому что ведь про порку все забудут, а если тебя исключат из колледжа, так это на всю жизнь. А потом, ведь Глисон будет не больно пороть.

– Да уж лучше пусть он этого не делает, – сказал Флеминг.

– Не хотел бы я быть на месте Саймона Мунена или Кика, – сказал Сесил Сандер. – Но вряд ли их будут пороть. Может, только закатят здоровую порцию по рукам.

– Нет, нет, – сказал Этти, – им обоим всыпят по мягкому месту.

Уэллс почесался и сказал плаксивым голосом:

– Пожалуйста, сэр, отпустите меня, сэр...

Этти ухмыльнулся, засучил рукава куртки и сказал:

Теперь уж поздно хныкать,
Терпи, коль виноват,
Живей спускай штанишки
Да подставляй свой зад.

Мальчики засмеялись, но он чувствовал, что они все-таки побаиваются. В тишине мягкого серого воздуха он слышал то тут, то там удары крикетной биты: пок, пок. Это был только звук удара, но когда тебя самого ударят, чувствуешь боль. Линейка, которой били по рукам, тоже издавала звук, но не такой. Мальчики говорили, что она сделана из

китового уса и кожи со свинцом внутри, и он старался представить себе, какая от этого боль. Звуки бывают разные. У длинной тонкой тросточки звук высокий, свистящий, и он постарался представить себе, какая от нее боль. Эти мысли заставляли его вздрагивать, и ему делалось холодно, и от того, что говорил Этти – тоже. Но что тут смешного? Его передергивало, но это потому, что, когда спускаешь штанишки, всегда делается немножко холодно и чуть-чуть дрожишь. Так бывает и в ванной, когда раздеваешься. Он думал: кто же будет им снимать штаны – сами мальчики или наставник? Как можно смеяться над этим?!

Он смотрел на засученные рукава и на запачканные чернилами худые руки Этти. Он засучил рукава, чтобы показать, как засучит рукава мистер Глисон. Но у мистера Глисона круглые, сверкающие белизной манжеты и чистые белые пухлые руки, а ногти длинные и острые. Может быть, он тоже подпиливает их, как Леди Бойл. Только это были ужасно длинные и острые ногти. Такие длинные и жестокие, хотя белые пухлые руки были совсем не жестокие, а ласковые. И хотя Стивен дрожал от холода и страха, представляя себе жестокие длинные ногти и высокий, свистящий звук плетки и озноб, проходящий по коже в том месте, где кончается рубашка, когда раздеваешься, все же он испытывал чувство странного и тихого удовольствия, представляя себе белые пухлые руки, чистые, сильные и ласковые. И он подумал о том, что сказал Сесил Сандер: мистер Глисон не будет больно сечь Корригана. А Флеминг сказал: не будет, потому что он сам знает, что ему лучше этого не делать. А вот почему – не понятно.

Голос далеко на площадке крикнул:

– Все домой!

За ним другие голоса подхватили:

– Домой, все домой!

На уроке чистописания он сидел сложив руки и слушал медленный скрип перьев. Мистер Харфорд прохаживался взад и вперед, делая маленькие поправки красным карандашом и подсаживаясь иногда к кому-нибудь из мальчиков, чтобы показать, как держать перо. Он старался прочесть по буквам первую строчку на доске, хотя и знал, что там было написано, – ведь это была последняя фраза из учебника: *«Усердие без разумения подобно кораблю без руля»*. Но черточки букв были как тонкие невидимые нити, и, только крепко-накрепко зажмутив правый глаз и пристально взглядываясь левым, он мог разобрать округлые очертания прописных букв.

Но мистер Харфорд был очень добрый и никогда не злился. Все другие учителя ужасно злились. Но почему им придется отвечать за то, что

сделали ученики старшего класса? Уэллс сказал, что они выпили церковное вино из шкафа в ризнице и что это узнали по запаху. Может быть, они украли дароносицу и думали убежать и продать ее где-нибудь? Но ведь это страшный грех – войти тихонько ночью, открыть темный шкаф и украсть это сверкающее золотое, в чем Господа возлагают на алтарь посреди свечей и цветов во время благословения, когда ладан облаками поднимается по обе стороны и прислужник размахивает кадилом, а Доминик Келли один ведет первый голос в хоре. Конечно, Бога там не было, когда они украли дароносицу. Но даже прикоснуться к ней – невообразимый великий грех. Он думал об этом с благоговейным ужасом: страшный, невообразимый грех; сердце его замирало, когда он думал об этом в тишине, под легкий скрип перьев. Но ведь открыть шкаф и выпить церковное вино, и чтобы потом узнали по запаху, кто это сделал, – тоже грех, хотя не такой страшный и невообразимый. Только чуть-чуть тошнит от запаха вина. В тот день, когда он первый раз причащался в церкви, он закрыл глаза и открыл рот и высунул немножко язык, и, когда ректор нагнулся, чтобы дать ему святое причастие, он почувствовал слабый винный запах от дыхания ректора. Красивое слово – «вино». Представляешь себе темный пурпур, потому что виноградные грозди темно-пурпурные – те, что растут в Греции, около домов, похожих на белые храмы. И все же слабый запах от дыхания ректора вызвал у него тошноту в день его первого причастия. День первого причастия – это самый счастливый день в жизни. Однажды несколько генералов спросили Наполеона, какой самый счастливый день в его жизни. Они думали, что он назовет день, когда он выиграл какое-нибудь большое сражение, или день, когда он сделался императором. Но он сказал:

– Господа, самый счастливый день в моей жизни – это день первого святого причастия.

Вошел отец Арнолл, и начался урок латыни, и он по-прежнему сидел, прислонившись к спинке парты со сложенными руками. Отец Арнолл раздал тетрадки с упражнениями и сказал: классная работа никуда не годится и чтобы все сейчас же переписали урок с поправками. Но самой плохой была тетрадка Флеминга, потому что страницы у нее слиплись от клякс. И отец Арнолл поднял ее за краешек и сказал, что подавать такую тетрадку – значит просто оскорблять учителя. Потом он вызвал Джека Лотена просклонять существительное mare^[42], но Джек Лотен остановился на творительном падеже единственного числа и не знал, как будет во множественном.

– Стыдись, – сказал отец Арнолл строго. – Ты же – первый ученик!

Потом он вызвал другого мальчика, а потом еще и еще. Никто не знал.

Отец Арнолл стал очень спокойным и делался все спокойнее и спокойнее по мере того, как вызванные ученики пытались и не могли ответить. Только лицо у него было хмурое, и глядел он пристально, а голос был спокойный. Наконец он вызвал Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. Отец Арнолл вдруг захлопнул книгу и закричал:

– Стань на колени сейчас же посреди класса. Такого лентяя я еще не видывал. А вы все переписываете упражнения!

Флеминг медленно поднялся со своего места, вышел на середину и стал на колени между двумя крайними партами. Остальные мальчики наклонились над своими тетрадками и начали писать. В классе воцарилась тишина, и Стивен, бросив робкий взгляд на хмурое лицо отца Арнолла, увидел, что оно покраснело от раздражения.

Грех ли, что отец Арнолл сердится, или ему можно сердиться, когда мальчики ленивы, – ведь от этого они лучше учатся? Или, может быть, он только делает вид, что сердится? И это ему можно, потому что он священник и сам знает, что считается грехом, и, конечно, не согрешит. Но если он согрешит как-нибудь нечаянно, где ему исповедоваться? Может быть, он пойдет исповедоваться к помощнику ректора? А если помощник ректора согрешит, то пойдет к ректору, а ректор к провинциалу, а провинциал к генералу иезуитов^[43]. Это иезуитский орден, а он слышал, как папа говорил, что все иезуиты очень умные люди. Они могли бы сделаться очень важными людьми, если бы не стали иезуитами. И он старался представить себе, кем бы мог сделаться отец Арнолл, и Падди Баррет, и мистер Макглэйд, и мистер Глисон, если бы они не стали иезуитами. Представить это себе было трудно, потому что приходилось воображать их по-разному, в разного цвета сюртуках и брюках, с усами и с бородой и в разных шляпах.

Дверь бесшумно отворилась и закрылась. Быстрый шепот пронесся по классу: классный инспектор. Секунду стояла мертвая тишина, затем раздался громкий стук линейкой по последней парте. Сердце у Стивена екнуло.

– Не нуждается ли здесь кто-нибудь в порке, отец Арнолл? – крикнул классный инспектор. – Нет ли здесь ленивых бездельников, которым требуется порка?

Он дошел до середины класса и увидел Флеминга на коленях.

– Ага! – воскликнул он. – Кто это такой? Почему он на коленях? Как твоя фамилия?

– Флеминг, сэр.

– Ага, Флеминг! И конечно, лентяй, я уж вижу по глазам. Почему он на

колених, отец Арнолл?

– Он плохо написал латинское упражнение, – сказал отец Арнолл, – и не ответил ни на один вопрос по грамматике.

– Ну конечно, – закричал инспектор, – конечно. Отъявленный лентяй. По глазам видно.

Он стукнул по парте и крикнул:

– Встань, Флеминг! Живо!

Флеминг медленно поднялся с колен.

– Руку! – крикнул инспектор.

Флеминг протянул руку. Линейка опустилась с громким щелкающим звуком: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

– Другую!

Линейка снова отсчитала шесть громких быстрых ударов.

– На колени! – крикнул инспектор.

Флеминг опустился на колени, засунув руки под мышки, и лицо у него исказилось от боли, хотя Стивен знал, что руки Флеминга жесткие, потому что Флеминг натирал их смолой. Но, может быть, ему было очень больно – ведь удары были ужасно громкие. Сердце у Стивена падало и замирало.

– Все за работу! – крикнул инспектор. – Нам здесь не нужны лентяи, бездельники и плуты, отлынивающие от работы! Все за работу! Отец Долан будет навещать вас каждый день^[44]. Отец Долан придет завтра. – Он толкнул одного из учеников линейкой в бок и сказал: – Ну-ка, ты! Когда придет отец Долан?

– Завтра, сэр, – раздался голос Тома Ферлонга.

– Завтра, и завтра, и еще завтра^[45], – сказал инспектор. – Запомните это хорошенько. Отец Долан будет приходить каждый день. А теперь пишите. А ты кто такой?

Сердце у Стивена упало.

– Дедал, сэр.

– Почему ты не пишешь, как все?

– Я... свои...

От страха он не мог говорить.

– Почему он не пишет, отец Арнолл?

– Он разбил очки, – сказал отец Арнолл, – и я освободил его от занятий.

– Разбил? Это еще что такое? Как тебя зовут? – спросил инспектор.

– Дедал, сэр.

– Поди сюда, Дедал. Вот еще ленивый плутишка! Я по лицу вижу, что

ты плут. Где ты разбил свои очки?

Стивен, торопясь, ничего не видя от страха и спотыкаясь, вышел на середину класса.

– Где ты разбил свои очки? – переспросил инспектор.

– На беговой дорожке, сэр.

– Ага, на беговой дорожке! – закричал инспектор. – Знаю я эти фокусы!

Стивен в изумлении поднял глаза и на мгновение увидел белесовато-серое, немолодое лицо отца Делана, его лысую белесовато-серую голову с пухом по бокам, стальную оправу очков и никакого цвета глаза, глядящие сквозь стекла. Почему он сказал, что знает эти фокусы?

– Ленивый маленький бездельник! – кричал инспектор. – Разбил очки! Обычные ваши фокусы! Протяни руку сейчас же!

Стивен закрыл глаза и вытянул вперед свою дрожащую руку ладонью кверху. Он почувствовал, что инспектор на мгновение коснулся его пальцев, чтобы выпрямить их, услышал шелест взметнувшегося вверх рукава сутаны и свист линейки, взвившейся для удара. Являющийся, обжигающий, жесткий, хлесткий удар, будто переломили палку, заставил его дрожащую руку скорчиться, подобно листу на огне, и от звука удара и боли жгучие слезы выступили у него на глазах. Все тело дрожало от страха, и рука дрожала, и скорчившаяся пылающая багровая кисть вздрагивала, как лист, повисший в воздухе. Рывание готово было сорваться с губ, вопль, чтобы его отпустили. Но хотя слезы жгли ему глаза и руки тряслись от боли и страха, он подавил жгучие слезы и вопль, застрявшие у него в горле.

– Другую руку! – крикнул инспектор.

Стивен опустил свою изуродованную, дрожащую руку и протянул левую. Опять шелест рукава сутаны, и свист линейки, взвившейся для удара, и громкий обрушившийся треск, и острая, невыносимая обжигающая боль заставила его ладонь и пальцы сжаться в одну багровую вздрагивающую массу. Жгучие слезы брызнули у него из глаз, и, пылая от стыда, боли и страха, он в ужасе отдернул свою дрожащую руку и застонал. Все тело парализовал страх, и, корчась от стыда и отчаяния, он почувствовал, как сдавленный стон рвется у него из груди и жгучие слезы брызжут из глаз и текут по горящим щекам.

– На колени! – крикнул классный инспектор.

Стивен быстро опустился на колени, прижимая к бокам избитые руки. Он испытывал такую жалость к этим избитым и мгновенно распухшим от боли рукам, будто это были не его собственные, а чьи-то чужие руки, которые он жалел. И на коленях, подавляя последние утихавшие в горле

рыдания и прижимая к бокам обжигающую жестокою боль, он представил себе свои руки, протянутые ладонями вверх, и твердое прикосновение рук инспектора, когда тот выпрямлял его дрожащие пальцы, и избитую, распухшую, покрасневшую мякоть ладони, и беспомощно вздрагивающие в воздухе пальцы.

– Все за работу! – крикнул инспектор, обернувшись в дверях. – Отец Долан будет проверять каждый день, нет ли здесь ленивых шалопаев и бездельников, нуждающихся в порке. Каждый день! Каждый день!

Дверь за ним затворилась.

Присмиривший класс продолжал переписывать упражнения. Отец Арнолл поднялся со своего стула и начал прохаживаться среди парт, ласковыми словами подбадривая мальчиков и объясняя им их ошибки. Голос у него сделался очень ласковый и мягкий. Затем он вернулся к своему столу и сказал Флемингу и Стивену:

– Можете идти на место, оба.

Флеминг и Стивен поднялись, пошли к своим партам и сели. Стивен, весь красный от стыда, поспешно открыл книгу одной рукой и нагнулся над ней, уткнувшись лицом в страницы.

Это было нечестно и жестоко, потому что доктор запретил ему читать без очков, и он написал домой папе сегодня утром, чтобы прислали другие. И отец Арнолл сказал ему, что он может не заниматься, пока не пришлют очки. А потом его обозвали плутом перед всем классом и побили, а он всегда шел первым или вторым учеником и считался вождем Йорков. Почему классный инспектор решил, что это плутни? Он почувствовал прикосновение пальцев инспектора, когда они выпрямляли его руку, и сначала ему показалось, что инспектор хочет поздороваться с ним, потому что пальцы были мягкие и крепкие; но тут же послышалось шуршание взмывшего вверх рукава сутаны и удар. Жестоко и нечестно заставлять его потом стоять на коленях посреди класса. И отец Арнолл сказал им, что они могут вернуться оба на место, не сделав между ними никакой разницы. Он слышал тихий и мягкий голос отца Арнолла, поправлявшего упражнения. Может быть, он раскаивается теперь и старается быть добрым. Но это нечестно и жестоко. Классный инспектор – священник, но это нечестно и жестоко. И его белесовато-серое лицо и никакого цвета глаза за очками в стальной оправе смотрели жестоко, потому что он сперва выпрямил его руку своими крепкими мягкими пальцами, но только для того, чтобы ударить посильнее и погромче.

– Я считаю, что это гнусная подлость, вот и все, – сказал Флеминг в коридоре, когда классы вереницей тянулись в столовую. – Бить человека,

когда он ни в чем не виноват.

– А ты правда нечаянно разбил свои очки? – спросил Вонючка Роуч.

Стивен почувствовал, как сердце его сжалось от слов Флеминга, и ничего не ответил.

– Конечно, нечаянно, – сказал Флеминг. – Я бы не стал терпеть. Я бы пошел и пожаловался ректору.

– Да, – живо подхватил Сесил Сандер, – и я видел, как он занес линейку за плечо. А он не имеет права так делать.

– А здорово больно было? – спросил Вонючка Роуч.

– Да, очень, – сказал Стивен.

– Я бы этого не потерпел от Плешивки, и ни от какого другого плешивки, – повторил Флеминг. – Просто гнусная и низкая подлость. Я бы пошел сразу после обеда к ректору и пожаловался ему.

– Конечно, пойдешь, конечно, – сказал Сесил Сандер.

– Да, да, иди, иди к ректору, Дедал, и пожалуйся на него, – подхватил Вонючка Роуч, – ведь он сказал, что придет завтра и опять побьет тебя.

– Да, да, пожалуйся ректору, – закричали все.

Несколько мальчиков из второго класса слышали это, и один из них сказал:

– Сенат и римский народ постановили, что Дедал был наказан незаслуженно.

Это было незаслуженно, это было нечестно и жестоко. Сидя в столовой, он снова и снова восстанавливал в памяти все пережитое, пока ему не пришло в голову: а вдруг по лицу его можно заподозрить в плутовстве? И он пожалел, что у него нет маленького зеркальца, чтобы проверить, так ли это. Но нет, быть того не может, и это несправедливо, и жестоко, и нечестно.

Он не мог есть темно-серые рыбные котлеты, которые им давали во время великого поста по средам; на одной из картофелин был след заступа. Да, да, он сделает так, как говорили мальчики. Он пойдет и скажет ректору, что его наказали незаслуженно. Вот так же поступил когда-то один великий человек, чей портрет есть в учебнике истории. И ректор объявит, что он наказан незаслуженно, – ведь сенат и римский народ всегда оправдывали таких людей и объявляли, что они были наказаны незаслуженно. Это были те самые великие люди, чьи имена стояли в вопроснике Ричмэл Мэгнолл. И в истории, и в рассказах Питера Парли^[46] про Грецию и Рим было про этих людей и про их дела. Сам Питер Парли изображен на картинке на первой странице. Там нарисована дорога через равнину, поросшая по обеим сторонам травой и кустарником, а Питер Парли в широкополой шляпе, как

у протестантского пастора, с толстой палкой в руках быстро шагает по дороге в Грецию и в Рим.

Ведь это совсем не трудно – сделать то, что надо. Просто, когда он выйдет вместе со всеми после обеда, пойти не по коридору, а по лестнице, которая ведет в замок, только и всего; повернуть направо и быстро взбежать по лестнице, и через несколько секунд он очутится в низком, темном, узком коридоре, который ведет в комнату ректора. И все мальчики считают, что это нечестно, и даже мальчик из второго класса, который сказал про сенат и римский народ.

Что-то будет? Он услышал, как ученики с первого ряда поднялись из-за стола; он слышал их шаги по ковровой дорожке посреди столовой. Падди Рэт и Джимми Маги, и испанец, и португалец, а пятым шел большой Корриган, которого будет сечь мистер Глисон. А его классный инспектор обозвал плутом и побил ни за что; и, напрягая свои близорукие заплаканные глаза, он смотрел на широкие плечи Корригана, который, опустив свою черную голову, шел мимо него позади всех. Но ведь он что-то такое сделал, и, кроме того, мистер Глисон не будет его сечь больно. Он вспомнил, каким большим казался Корриган в бане. У него кожа такого же торфяного цвета, как болотистая вода в мелком конце бассейна, и, когда он идет по проходу, ноги его громко шлепают по мокрым плитам и ляжки слегка трясутся при каждом шаге, потому что он толстый.

Столовая уже наполовину опустела, и мальчики вереницей шли к выходу. Он пойдет по лестнице прямо наверх, потому что за дверями столовой никогда не бывает ни классного надзирателя, ни инспектора. Нет, он не пойдет. Ректор станет на сторону классного инспектора и скажет, что это все фокусы, и тогда все равно инспектор будет приходить каждый день, но это еще хуже, потому что он страшно обозлится на мальчика, который пожаловался на него ректору. Мальчики уговаривают его пойти, а ведь сами-то не пошли бы. Они уже забыли обо всем. Нет, лучше и ему забыть, и, может, классный инспектор только так сказал, что будет приходить каждый день. Нет, лучше просто не попадаться ему на глаза, потому что, если ты маленький и неприметный, тебя не тронут.

Мальчики за его столом поднялись. Он встал и пошел в паре вслед за другими к выходу. Нужно решать. Вот уже совсем близко дверь. Если он пойдет со всеми дальше, то уже не попадет к ректору, потому что ему никак нельзя будет уйти с площадки. А если пойдет и его все равно накажут, все будут дразнить его и рассказывать про маленького Дедала, который ходил к ректору жаловаться на классного инспектора.

Он шел по дорожке, пока не оказался перед дверью. Нет. Нельзя. Он не

может. Он вспомнил лысую голову инспектора, его жестокие никакого цвета глаза и услышал голос, переспросивший дважды, как его фамилия. Почему он не мог запомнить с первого раза? Оттого что не слушал первый раз или оттого, что насмеялся над его фамилией? У великих людей в истории фамилии похожи на его, и никто над ними не насмеялся. Пусть он насмеяется над своей собственной фамилией: если ему уж так хочется. Долан – похоже на фамилию женщины, которая приходила к ним стирать.

Он шагнул за дверь, быстро повернув направо, пошел по лестнице и, прежде чем успел подумать, не вернуться ли назад, очутился в низком, темном, узком коридоре, ведущем в замок. Едва перешагнув порог в коридор, он, не поворачивая головы, увидел, что все мальчики, гуськом выходявшие из столовой, смотрят ему вслед.

Он шел узким, темным коридором мимо низеньких дверок в кельи общины. Он вглядывался в полумрак прямо перед собой направо и налево и думал: вот здесь должны быть портреты на стенах. Кругом было темно и тихо, а глаза у него были больные и опухшие от слез, так что он не мог ничего рассмотреть. Но ему казалось, что портреты святых и великих людей ордена молча смотрели на него со стен, когда он проходил мимо: св. Игнатий Лойола с раскрытой книгой в руке, указывающий перстом на слова *Ad Majorem Dei Gloriam*^[47], св. Франциск Ксаверий, указывающий на свою грудь, Лоренцо Риччи в берете, точно классный наставник, и три патрона благочестивых отроков – св. Станислав Костка, св. Алоизий Гонзага и блаженный Иоанн Берхманс – все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми, и отец Питер Кенни в кресле, закутанный в большой плащ^[48].

Он вышел на площадку над главным входом и осмотрелся. Вот здесь проходил Гамильтон Роуэн, и здесь были следы солдатских пуль. И здесь старые слуги видели призрак в белом одеянии маршала.

Старик прислужник подметал в конце площадки. Он спросил старика, где комната ректора, тот показал на дверь в противоположном конце и провожал его взглядом, пока он не подошел и не постучался.

Никто не ответил. Он постучал громче, и сердце у него упало, когда приглушенный голос произнес:

– Войдите.

Он повернул ручку, открыл дверь и ощупью старался найти ручку второй, внутренней, двери, обитой зеленым войлоком. Он нашел ее, нажал и вошел в комнату.

Ректор сидел за письменным столом и писал. На столе стоял череп, а в

комнате был странный запах, как от кожаной обивки на старом кресле.

Сердце его сильно билось от того, что он находился в таком торжественном месте, и от того, что в комнате была тишина; он смотрел на череп и на ласковое лицо ректора.

– Ну, в чем дело, мальчуган? – спросил ректор. – Что случилось?

Стивен судорожно проглотил подступивший у него к горлу комок и сказал:

– Я разбил свои очки, сэр.

Ректор открыл рот и произнес:

– О!

Потом улыбнулся и сказал:

– Ну что ж, если мы разбили очки, придется написать домой, чтобы нам прислали новые.

– Я написал домой, сэр, – сказал Стивен, – и отец Арнолл сказал, чтобы я не занимался до тех пор, пока их не пришлют.

– Ну что же, отлично, – сказал ректор.

Стивен опять судорожно глотнул, стараясь остановить дрожь в ногах и в голосе.

– Но...

– Но что же?

– Отец Долан пришел сегодня и побил меня за то, что я не писал упражнений.

Ректор смотрел на него молча, и Стивен чувствовал, как кровь приливает у него к щекам и слезы вот-вот брызнут из глаз.

Ректор сказал:

– Твоя фамилия Дедал, не так ли?

– Да, сэр.

– А где ты разбил свои очки?

– На беговой дорожке, сэр. Какой-то мальчик задел меня велосипедом, и я упал, а они разбились. Я не знаю фамилии того мальчика.

Ректор опять молча посмотрел на него. Потом он улыбнулся и сказал:

– Ну, я уверен, что это просто недоразумение, отец Долан не знал, конечно.

– Но я сказал ему, что разбил их, сэр, а он наказал меня.

– Ты говорил ему, что написал домой, чтобы тебе прислали новые?

– Нет, сэр.

– Ну, тогда, конечно, отец Долан не понял. Можешь сказать, что я освободил тебя от занятий на несколько дней.

Стивен, дрожа от страха и боясь, что у него вот-вот прервется голос,

добавил поспешно:

– Да, сэр, но отец Долан сказал, что он придет завтра и опять побьет меня за это.

– Хорошо, – проговорил ректор, – это недоразумение, я сам поговорю с отцом Доланом. Ну, все?

Стивен почувствовал, что слезы застилают ему глаза, и прошептал:

– О да, спасибо, сэр.

Ректор протянул ему руку через стол с той стороны, где стоял череп, и Стивен на секунду почувствовал его холодную, влажную ладонь.

– Ну, до свидания, – сказал ректор, отнимая руку и кивая.

– До свидания, сэр, – сказал Стивен.

Он поклонился и тихо вышел из комнаты, медленно и осторожно закрыв за собой обе двери.

Но миновав старика прислужника на площадке и снова очутившись в низком, узком, темном коридоре, он зашагал быстрее. Все быстрее шагал он, торопясь в полутьме, задыхаясь от волнения. Локтем толкнул дверь в конце коридора, сбежал вниз по лестнице, еще двумя коридорами и – на волю.

Он уже слышал крики играющих на площадке. Он бросился бегом, быстрее, быстрее, пересек беговую дорожку и, запыхавшись, остановился на площадке около своего класса.

Мальчики видели, как он бежал. Они обступили его со всех сторон тесным кругом, отталкивая друг друга, чтобы лучше слышать.

– Ну, расскажи, расскажи!

– Что он сказал?

– Ты вошел к нему?

– Что он сказал?

– Расскажи, расскажи!

Он рассказал им, что говорил он и что говорил ректор, и, когда он кончил, все как один подбросили фуражки в воздух и закричали:

– Ура!..

Поймав фуражки, они снова запустили их вверх и снова закричали:

– Ура! Ура!

Потом сплели руки, усадили его и таскали до тех пор, пока он не начал вырываться. А когда он вырвался и убежал, они рассыпались в разные стороны и снова стали подбрасывать фуражки в воздух и свистели, когда они взвивались вверх, выкрикивая:

– Ура!

А потом они испустили три грозных крика на страх Плешивке Долану

и троекратное «ура» в честь Конми и объявили его лучшим ректором со времен основания Клонгоуза.

Крики замерли вдали в мягком сером воздухе. Он был один. Ему было легко и радостно. Но все равно он не будет задаваться перед отцом Доланом, он будет очень тихим и послушным. И ему захотелось сделать отцу Долану что-нибудь хорошее, чтобы показать ему, что он не задается.

Воздух был мягкий, серый и спокойный; приближались сумерки. Запах сумерек стоял в воздухе, так пахнут поля в деревне, где они выкапывали репу во время прогулки к усадьбе майора Бартона и тут же ее очищали и ели на ходу; так пахнет маленький лес за беседкой, где растут чернильные орешки.

Мальчики упражнялись в короткой и дальней подаче мяча. В мягкой серой тишине слышался глухой стук, и в этом покое со всех сторон раздавались удары крикетной биты: пик, пок, пак – точно капельки воды в фонтане, мягко падающие в переполненный бассейн.

Дядя Чарльз курил такое ядовитое зелье, что в конце концов племянник предложил ему наслаждаться утренней трубкой в маленьком сарайчике в глубине сада.

– Отлично, Саймон. Превосходно! – спокойно сказал старик. – Где угодно. В сарае так в сарае, оно даже здоровее.

– Черт возьми, – с жаром сказал мистер Дедал, – я просто не представляю себе, как это вы только можете курить такую дрянь! Ведь это же чистый порох, честное слово!

– Прекрасный табак, Саймон, – отвечал старик, – очень смягчит и освежает!

С тех пор каждое утро дядя Чарльз, тщательно причесав и пригладив волосы на затылке и водрузив на голову вычищенный цилиндр, отправлялся в свой сарай. Когда он курил, из-за косяка двери виднелся только край его цилиндра и головка трубки. Его убежище, как называл он вонючий сарай, который с ним делили кошка и садовый инструмент, служило ему также студией для вокальных упражнений, и каждое утро он с увлечением мурлыкал себе под нос какую-нибудь из своих любимых песен: «В сень ветвей удались», или «Голубые очи, золотые кудри», или «Рощи Бларни», а серые и голубые кольца дыма медленно поднимались из трубки и исчезали в ясном воздухе.

В первую половину лета в Блэкроке^[49] дядя Чарльз был неизменным спутником Стивена. Дядя Чарльз был крепкий старик с резкими чертами лица, здоровым загаром и седыми бакенбардами. В будние дни ему поручалось заказывать провизию, и он отправлялся из дома на Кэрисфорт-авеню, на главную улицу города, в лавки, где обычно семья делала покупки. Стивен любил ходить с ним по магазинам, потому что дядя Чарльз от души угощал всем, что было выставлено в открытых ящиках и бочках. Бывало, он схватит кисть винограда прямо вместе с опилками или штуки три яблок и щедро оделит ими мальчика, а хозяин криво улыбается; если же Стивен делает вид, что не хочет брать, он хмурится и говорит:

– Берите, сэр, слышите, что я говорю! Это полезно для кишечника!

Когда заказ был принят, они отправлялись в парк, где старинный приятель отца Стивена, Майк Флинн, поджидал их на скамейке. Тут начинался для Стивена бег вокруг парка. Майк Флинн стоял на дорожке у выхода к вокзалу с часами в руках, а Стивен пробегал круг по правилам

Майка Флинна – высоко подняв голову, выбрасывая колени и плотно прижав руки к бокам. Когда утренний бег заканчивался, тренер делал ему замечания и иногда показывал, как надо бежать, и сам пробежал несколько шагов, забавно шаркая ногами в старых синих брезентовых туфлях. Кучка изумленных детей и нянек собиралась вокруг и глазела на него, не расходясь даже тогда, когда он снова усаживался с дядей Чарльзом и заводил разговор о спорте и политике. Хотя папа говорил, что лучшие бегуны нашего времени прошли через руки Майка Флинна, Стивен часто с жалостью поглядывал на дряблое, обросшее щетиной лицо своего тренера, склонившееся над длинными желтыми от табака пальцами, которые скручивали самокрутку, смотрел на его кроткие выцветшие голубые глаза, которые вдруг рассеянно устремлялись в голубую даль, когда длинные распухшие пальцы переставали крутить, а табачные волокна и крошки сыпались обратно в кисет.

По дороге домой дядя Чарльз часто заходил в церковь, и, так как Стивен не мог дотянуться до кропильницы со святой водой, старик погружал в нее руку и быстро опрыскивал водой одежду Стивена и пол паперти. Молясь, он опускался на колени, предварительно подстелив красный носовой платок, и читал громким шепотом по захватанному, потемневшему молитвеннику, в котором внизу на каждой странице были напечатаны начальные слова молитв. Стивен не разделял его набожности, но из уважения к ней становился рядом на колени. Он часто гадал: о чем так усердно молится дядя Чарльз? Может быть, о душах в чистилище или просит ниспослать ему счастливую смерть, а может быть, о том, чтобы Бог вернул ему хоть часть того большого состояния, которое он промотал в Корке^[50].

По воскресеньям Стивен с отцом и дядюшкой ходили на прогулку. Несмотря на свои мозоли, старик был отличный ходок, и нередко они проходили десять, а то и двенадцать миль. В маленькой деревушке Стиллорген дорога разветвлялась. Они или отправлялись налево к Дублинским горам, или шли на Гоутстаун и оттуда в Дандрам и возвращались домой через Сэндифорд. Во время ходьбы или на привале в какой-нибудь грязной придорожной харчевне старшие неизменно вели разговоры на излюбленные темы – о политических делах в Ирландии, о Манстере или о каких-нибудь давних событиях в семье, а Стивен с жадностью слушал. Непонятные слова он повторял про себя снова и снова, пока не заучивал их наизусть, и через них постепенно учился постигать окружающий его мир. Час, когда ему тоже надо будет принять участие в жизни этого мира, казался ему близким, и втайне он начинал готовиться к

великому делу, которое, как он чувствовал, было предназначено ему, но сущность которого он только смутно предугадывал.

После обеда он был предоставлен самому себе; он зачитывался растрепанной книжкой – переводом «Графа Монте-Кристо». Образ этого мрачного мстителя связывался в его воображении со всем непонятным и страшным, о чем он только догадывался в детстве. По вечерам на столе в гостиной он мастерил из переводных картинок, бумажных цветов, тонкой разноцветной бумаги и золотых и серебряных бумажных полосок, в которые заворачивают шоколад, дивную пещеру на острове. Когда он разорял это сооружение, утомившись его мишурным блеском, перед ним вставало яркое видение Марселя, залитая солнцем садовая ограда и Мерседес.

За Блэкроком, на ведущей в горы дороге, в саду, где росли розы, стоял маленький белый домик, и в этом домике, говорил он себе, жила другая Мерседес. Идя на прогулку или возвращаясь домой, он всегда отсчитывал расстояние до этого места и в мечтах переживал длинный ряд чудесных, как в книге, приключений, и в конце появлялся сам: постаревший и печальный, он стоял в залитом лунным светом саду с Мерседес, которая много лет тому назад предала его любовь, и печально и гордо произносил:

«Мадам, я не ем мускатного винограда».

Он подружился с мальчиком по имени Обри Миллз и вместе с ним основал в парке союз искателей приключений. В петлице куртки у Обри висел свисток, на поясе – велосипедный фонарь, а у других мальчиков за поясом были заткнуты короткие палки наподобие кинжалов. Стивен, вычитавший где-то, что Наполеон любил одеваться просто, отказался от всяких знаков отличия, и это доставляло ему особое удовольствие, когда он держал совет со своими подчиненными. Участники союза совершали набеги на сады старых дев или собирались в крепости замка^[51], где устраивали сражения на заросших косматым мхом скалах; потом устало брели домой, и в носу у них сохранялся застоявшийся запах пляжа, а руки и волосы были насквозь пропитаны едким маслянистым соком морских водорослей.

Обри и Стивену привозил молоко один и тот же молочник, и они часто ездили с ним на тележке в Каррикмайнз, где паслись коровы. Пока он доил, мальчики по очереди катались по полю верхом на смирной кобыле. Но когда наступила осень, коров загнали с пастбища домой, и, едва Стивен увидел вонючий скотный двор в Стрэдбруке – отвратительные зеленые лужи, кучи жидкого навоза и клубы пара от кормушек с отрубями, – его чуть не стошнило. Коровы, казавшиеся на воле в солнечные дни такими

красивыми, теперь вызывали в нем гадливое чувство, и он даже смотреть не мог на молоко.

Приближение сентября в этом году не огорчало его, потому что больше не надо было возвращаться в Клонгоуз. Майк Флинн слег в больницу, и тренировки в парке прекратились. Обри начал ходить в школу, и его отпускали гулять не больше чем на час после обеда. Союз распался, и не было уже больше ни вечерних набегов, ни сражений на скалах. Стивен иногда ездил с молочником развозить вечерний удой, и эти поездки по холодку прогоняли из его памяти вонь скотного двора, а клочки сена и коровьей шерсти на одежде молочника больше не вызывали в нем отвращения. Когда тележка останавливалась у какого-нибудь дома, он ждал: вот покажется на секунду до блеска начищенная кухня или мягко освещенная передняя, и он увидит, как служанка подставит кувшин, а потом закроет дверь. Ему казалось, что неплохо так жить, развозя каждый вечер молоко, – были бы теплые перчатки и полный карман имбирных пряников на дорогу. Но то же предчувствие, от которого сжималось сердце и вдруг подкашивались ноги во время тренировок в парке, то же предвидение, которое заставляло его смотреть с недоверием на дряблое, обросшее щетиной лицо тренера, уныло склонявшееся над длинными, в пятнах, пальцами, отгоняло все его представления о будущем. Смутно он понимал, что у отца неприятности: поэтому-то его больше не посылали в Клонгоуз. С некоторых пор он стал замечать в доме небольшие перемены, и эти перемены, нарушавшие то, что он всегда считал неизменным, всякий раз наносили маленький удар по его детскому представлению о мире. Честолюбие, которое временами он чувствовал, шевелилось только на дне его души и не искало выхода. Когда он прислушивался к стуку лошадиных копыт, цокающих по рельсам конки на Рок-роуд, и слышал грохот огромного бидона, который подпрыгивал позади него, сумрак, такой же как и на земле, заволакивал его сознание.

Он мысленно возвращался к Мерседес, и, когда перед ним вставал ее образ, в крови зарождалось странное беспокойство. Временами лихорадочный жар охватывал его и гнал бродить в сумерках по тихим улицам. Мирная тишина садов, приветливые огни окон проливали отрадный покой в его смятенное сердце. Крики играющих детей раздражали его, а их глупые голоса острее, чем даже в Клонгоузе, заставляли чувствовать, что он не похож на других. Ему не хотелось играть. Ему хотелось встретить в действительном мире тот неуловимый образ, который непрестанно мерещился его душе. Он не знал ни где, ни как искать его. Но предчувствие говорило ему, что без всяких усилий с его стороны

образ этот когда-нибудь предстанет перед ним. Они встретятся спокойно, как если бы уже знали друг друга и условились встретиться где-нибудь под аркой или в каком-нибудь другом более укромном месте. Они будут одни – кругом темнота и молчание, и в это мгновение беспредельной нежности он преобразится. Он исчезнет у нее на глазах, обратится в нечто бесплотное, а потом мгновенно преобразится. Слабость, робость, неопытность спадут с него в этот волшебный миг.

*

Однажды утром у ворот остановились два больших желтых фургона и люди, тяжело топая, вошли в дом, чтобы увезти обстановку^[52]. Мебель потащили к фургонам через палисадник, где повсюду валялась солома и обрывки веревок. Когда все благополучно погрузили, фургоны с грохотом покатались по улице, и из окна конки Стивен, сидевший рядом с заплаканной матерью, увидел, как они тряслись по Мэрион-роуд.

Камин в гостиной не разгорался в тот вечер, и мистер Дедал прислонил кочергу к прутьям решетки и ждал, когда займется пламя. Дядя Чарльз дремал в углу полупустой, не застеленной ковром комнаты. Лампа на столе бросала слабый свет на дощатый пол, затоптанный грузчиками. Стивен сидел на низенькой скамеечке около отца, слушая его длинный бессвязный монолог. Вначале он понимал очень немного или вовсе ничего не понимал, но постепенно стал улавливать, что у папы были враги и что предстоит какая-то борьба. Он чувствовал, что и его вовлекают в эту борьбу, что на него возлагаются какие-то обязательства. Неожиданный отъезд, так внезапно нарушивший его мечты и спокойную жизнь в Блэкроке, переезд через унылый туманный город, мысль о неуютном голом помещении, в котором они теперь будут жить, заставляли сжиматься его сердце. И снова какое-то прозрение, предчувствие будущего охватывало его. Он понимал теперь, почему служанки часто шептались между собой в передней и почему папа, стоя на коврике у камина, спиной к огню, часто во весь голос говорил что-то дяде Чарльзу, а тот убеждал его сесть и пообедать.

– Я еще не сдался, Стивен, сынок, – говорил мистер Дедал, яростно тыкая кочергой в вялый огонь в камине, – мы еще повоюем, черт подери (Господи, прости меня), да и как еще повоюем!

Дублин был новым и сложным впечатлением. Дядя Чарльз сделался таким бестолковым, что его нельзя было посылать с поручениями, а из-за

беспорядка, царившего в доме после переезда, Стивен был свободнее, чем в Блэкроке. Вначале он только отваживался бродить по соседней площади или спускался до середины одного переулка – но потом, мысленно составив себе план города, смело отправился по одной из центральных улиц и дошел до таможни. Он бесцельно бродил по набережным мимо доков, с удивлением глядя на множество поплавок, покачивавшихся на поверхности воды в густой желтой пене, на толпы портовых грузчиков, на грохочущие подводы, на неряшливо одетых, бородатых полисменов. Огромность и необычность жизни, о которой говорили ему тюки товаров, сваленные вдоль стен или свисавшие из недр пароходов, снова будили в нем то беспокойство, которое заставляло его блуждать по вечерам из сада в сад в поисках Мерседес. И среди этой новой кипучей жизни он мог бы вообразить себя в Марселе, но только здесь не было ни яркого неба, ни залитых солнцем решетчатых окон винных лавок. Смутная неудовлетворенность росла в нем, когда он смотрел на набережные, и на реку, и на низко нависшее небо, и все же он продолжал блуждать по городу день за днем, точно и в самом деле искал кого-то, кто ускользал от него.

Раза два он ходил с матерью в гости к родственникам, и, хотя они шли мимо веселого ряда сверкающих огнями магазинов, украшенных к Рождеству, он оставался молчалив, угрюмая замкнутость не покидала его. Причин для угрюмости было много – и прямых и косвенных. Ему досаждало, что он еще так юн, что поддается каким-то глупым неумным порывам, досаждала перемена в их жизни, превратившая мир, в котором он жил, во что-то убогое и фальшивое. Однако досада не привнесла ничего нового в его восприятие окружающего мира. Он терпеливо, отстраненно отмечал все то, что видел, и втайне впитывал этот губительный дух.

Он сидел на табуретке в кухне у своей тети^[53]. Лампа с рефлектором висела на покрытой лаком стене над камином, и при этом свете тетя читала лежавшую у нее на коленях вечернюю газету. Она долго смотрела на снимок улыбающейся женщины, потом сказала задумчиво:

– Красавица Мейбл Хантер.

Кудрявая девочка^[54] поднялась на цыпочки и, поглядев на снимок, тихо спросила:

– В какой это пьесе, мама?

– В пантомиме, детка.

Девочка прижала кудрявую головку к руке матери и, глядя на портрет, прошептала, словно замороженная:

– Красавица Мейбл Хантер.

Словно замороженная, она, не отрываясь, смотрела на эти лукаво усмехающиеся глаза и восхищенно шептала:

– Ах, какая прелесть.

Мальчик, который вошел с улицы, тяжело ступая и согнувшись под мешком угля, слышал ее слова. Он проворно сбросил на пол свою ношу и подбежал посмотреть. Он тянул к себе газету покрасневшими и черными от угля руками, отталкивая девочку и жалуясь, что ему не видно.

Он сидит в узкой тесной столовой в верхнем этаже старого с темными окнами дома. Пламя очага пляшет на стене, а за окном над рекой сгущается призрачная мгла. Старуха возится у очага, готовит чай и, не отрываясь от своего занятия, тихо рассказывает, что сказали священник и доктор. И еще она говорит, какие перемены наблюдаются в последнее время у больной, какие странности в поступках и речах. Он слушает эти речи, а мысли его поглощены приключениями, которые разворачиваются перед ним в тлеющих углях – под арками и сводами, в извилистых галереях и тесных пещерах.

Внезапно он чувствует какое-то движение в дверях. Там, в сумраке, в темном проеме приоткрытой двери, повис череп. Жалкое существо, похожее на обезьяну, стоит там, привлеченное звуками голосов у очага. Ноющий голос спрашивает:

– Это Жозефина?

Суемящаяся старуха, не отходя от очага, живо откликается:

– Нет, Элин, это Стивен!

– А... Добрый вечер, Стивен.

Он отвечает на приветствие и видит на лице в дверях бессмысленную улыбку.

– Тебе что-нибудь нужно, Элин? – спрашивает старуха.

Но та, не отвечая на вопрос, говорит:

– Я думала, это Жозефина. Я тебя приняла за Жозефину, Стивен. – Она повторяет это несколько раз и тихонько смеется^[55].

Он сидит на детском вечере в Хэролдс-кроссе. Молчаливая настороженность все сильнее завладевает им, и он почти не принимает участия в играх. Дети, надев колпаки, которые достались им в хлопушках, прыгают и пляшут, но он, хоть и пытается разделить их веселье, все равно чувствует себя таким унылым среди всех этих задорных треуголок и чепцов.

Но когда, выступив со своей песенкой, он уютно устраивается в тихом уголке, одиночество становится ему приятно. Веселье, которое в начале вечера казалось ненастоящим, бессмысленным, действует теперь как

успокаивающий ветерок, приятно пробегающий по чувствам, прячущий от чужих взглядов лихорадочное волнение крови, когда через хоровод танцующих, сквозь этот шум музыки и смеха, взгляд ее устремляется к его уголку, ласкающий, дразнящий, ищущий, волнующий сердце.

В передней одеваются последние дети^[56]. Вечер кончился. Она набрасывает шаль, и, когда они вместе идут к конке, пар от свежего теплого дыхания весело клубится над ее закутанной головой и башмачки ее беспечно постукивают по замерзшей дороге.

То был последний рейс. Гнедые облезлые лошади чувствовали это и потряхивали бубенчиками в остратку ясной ночи. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головой в зеленом свете фонаря. На пустых сиденьях валялось несколько цветных билетиков. С улицы не было слышно шагов ни в ту, ни в другую сторону. Ни один звук не нарушал тишины ночи, только гнедые облезлые лошади терлись друг о друга мордами и потряхивали бубенцами.

Они, казалось, прислушивались: он на верхней ступеньке, она на нижней. Она несколько раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, когда разговор замолкал, а раза два стояла минуту совсем близко от него, забыв сойти вниз, но потом сошла. Сердце его плясало, послушное ее движениям, как поплавков на волне. Он слышал, что говорили ему ее глаза из-под шали, и знал, что в каком-то туманном прошлом, в жизни или в мечтах, он уже слышал такие речи. Он видел, как она охорашивается перед ним, дразня его своим нарядным платьем, сумочкой и длинными черными чулками, и знал, что уже тысячи раз поддавался этому. Но какой-то голос, прорывавшийся изнутри сквозь стук его мятущегося сердца, спрашивал: примет ли он ее дар, за которым нужно только протянуть руку. И ему вспомнился день, когда он стоял с Эйлин, глядя на двор гостиницы, где коридорный прилаживал к столбу длинную полоску флага, а фокстерьер носился взад и вперед по солнечному газону, и она вдруг засмеялась и побежала вниз по отлогой дорожке. Вот и теперь, как тогда, он стоял безучастный, не двигаясь с места, – словно спокойный зритель, наблюдающий разыгрывающуюся перед ним сцену.

«Ей тоже хочется, чтобы я прикоснулся к ней, – думал он. – Поэтому она и пошла со мной. Я мог бы легко прикоснуться, когда она становится на мою ступеньку: никто на нас не смотрит. Я мог бы обнять и поцеловать ее».

Но ничего этого он не сделал; и потом, сидя в пустой конке и мрачно глядя на рифленую подножку, он изорвал в мелкие клочки свой билет.

На следующий день он просидел несколько часов у себя за столом в пустой комнате наверху. Перед ним было новое перо, новая изумрудно-зеленого цвета тетрадь и новая чернильница. По привычке он написал наверху на первой странице заглавные буквы девиза иезуитского ордена: A.M.D.G. На первой строчке вывел заглавие стихов, которые собирался писать: К Э– К—^[57]. Он знал, что так полагается, потому что видел подобные заглавия в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заглавие и проведя под ним волнистую линию, он задумался и стал машинально чертить что-то на обложке. Ему вспомнилось, как он сидел у себя за столом в Брэе на следующий день после рождественского обеда и пытался написать стихи о Парнелле на обороте отцовских налоговых извещений^[58]. Но тема никак не давалась ему, и, отказавшись от попытки, он исписал весь лист фамилиями и адресами своих одноклассников:

Родерик Кикем
Джек Лотен
Энтони Максуйни
Саймон Мунен

Казалось, у него ничего не получится и теперь, но, размышляя о том вечере, он почувствовал себя увереннее. Все, что представлялось незначительным, обыденным, исчезло, в воспоминаниях не было ни конки, ни кондуктора с кучером, ни лошадей, даже он и она отступили куда-то вдаль. Стихи говорили только о ночи, о нежном дыхании ветерка и девственном сиянии луны; какая-то неизъяснимая грусть таилась в сердцах героев, молча стоявших под обнаженными деревьями, а лишь только наступила минута прощанья, поцелуй, от которого один из них удержался тогда, соединил обоих. Закончив стихотворение, он поставил внизу страницы буквы L.D.S.^[59], и, спрятав тетрадку, пошел в спальню матери и долго рассматривал свое лицо в зеркале на ее туалетном столике.

Но долгая пора досуга и свободы подходила к концу. Однажды отец пришел домой с ворохом новостей и выкладывал их без умолку в течение всего обеда. Стивен дожидался прихода отца, потому что в этот день на обед было баранье рагу и он знал, что отец предложит ему макать хлеб в подливку. Но на этот раз подливка не доставила ему никакого удовольствия, потому что при упоминании о Клонгоузе у него что-то

подступило к горлу.

– Я чуть было не налетел на него, – рассказывал в четвертый раз мистер Дедал, – как раз на углу площади^[60].

– Так он сможет это устроить? – спросила миссис Дедал. – Я говорю насчет Бельведера.

– Ну еще бы, конечно, – сказал мистер Дедал. – Я же говорил тебе, ведь он теперь провинциал ордена.

– Мне и самой очень не хотелось отдавать его в школу христианских братьев, – сказала миссис Дедал.

– К черту христианских братьев! – вскричал мистер Дедал. – Якшаться со всякими замарашками Падди да Майки! Нет, пусть уж держится иезуитов, раз он у них начал. Они ему и потом пригодятся. У них есть возможности обеспечить положение в жизни.

– И ведь это очень богатый орден, не правда ли, Саймон?

– Еще бы! А как живут? Ты видела, какой у них стол в Клонгоузе? Слава Богу, кормятся как бойцовые петухи!

Мистер Дедал пододвинул свою тарелку Стивену, чтобы тот доел остатки.

– Ну, а тебе, Стивен, теперь придется приналечь, – сказал он. – Довольно ты погулял.

– Я уверена, что он теперь будет стараться изо всех сил, – сказала миссис Дедал, – тем более что и Морис будет с ним.

– Ах, Господи, я и забыл про Мориса, – сказал мистер Дедал. – Поди сюда, Морис, негодник. Поди ко мне, дурачок. Ты знаешь, что я тебя пошлю в школу, где тебя будут учить складывать К-О-Т – кот. И я тебе куплю за пенни хорошенький носовой платочек, чтобы ты им вытирал нос. Вот здорово будет, а?

Морис, просияв, уставился сначала на отца, а потом на Стивена. Мистер Дедал вставил монокль в глаз и пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен жевал хлеб и не глядел на отца.

– Да, кстати, – сказал наконец мистер Дедал, – ректор, то есть, вернее, провинциал, рассказал мне, что произошло у тебя с отцом Доланом. А ты, оказывается, бесстыжий плут.

– Неужели он так и сказал, Саймон?

– Да нет! – засмеялся мистер Дедал. – Но он рассказал мне этот случай со всеми подробностями. Мы ведь долго болтали с ним о том о сем... Ах да, кстати! Ты знаешь, что он мне, между прочим, рассказал? Кому, ты думаешь, отдадут это место в муниципалитете?^[61] Впрочем, про это потом.

Ну так вот, мы с ним болтали по-приятельски, и он спросил меня, ходит ли наш приятель по-прежнему в очках, и рассказал всю историю.

– Он был недоволен, Саймон?

– Недоволен! Как бы не так! *Мужественный малыш*, – сказал он.

Мистер Дедал передразнил жеманную, гнусавую манеру провинциала:

– Ну и посмеялись же мы вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом. *Берегитесь, отец Долан*, – сказал я, – *как бы юный Дедал не выдал вам двойную порцию по рукам!* Ну и посмеялись же мы все. Ха, ха, ха.

Мистер Дедал повернулся к жене и воскликнул своим обычным голосом:

– Видишь, в каком духе их там воспитывают! О, иезуит – это дипломат во всем, до мозга костей.

Он повторил опять, подражая голосу провинциала:

– *Ну и посмеялись же мы все вместе с отцом Доланом, когда я рассказал им об этом за обедом. Ха, ха, ха!*

*

Вечером перед школьным спектаклем^[62] под Духов день Стивен стоял у гардеробной и смотрел на маленькую лужайку, над которой были протянуты гирлянды китайских фонариков. Он видел, как гости, спускаясь по лестнице из главного здания, проходили в театр. Распорядители во фраках, старожилы Бельведера, дежурили у входа в театр и церемонно провожали гостей на места. При внезапно вспыхнувшем свете фонарика он увидел улыбающееся лицо священника.

Святые дары были убраны из ковчега, а первые скамейки отодвинуты назад, чтобы возвышение перед алтарем и пространство перед ним оставались свободными. У стены были поставлены гантели, булавы, в углу свалены гири, а среди бесчисленных груд гимнастических туфель, фуфаяк и рубашек, засунутых кое-как в коричневые мешки, стоял большой деревянный, обшитый кожей конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену и вокруг, в конце показательных состязаний, выстроится команда-победительница.

Стивен, хоть он и был выбран старостой на занятиях по гимнастике за свою славу лучшего писателя сочинений, в первом отделении программы не участвовал, но в спектакле, который шел во втором отделении, у него была главная комическая роль учителя. Его выбрали на эту роль из-за его

фигуры и степенных манер. Он был уже второй год в Бельведере и учился в предпоследнем классе.

Вереница маленьких мальчиков в белых гольфах и фуфайках, топая, пробежала через ризницу в церковь. В ризнице и в церкви толпились взволнованные наставники и ученики. Пухлый лысый унтер-офицер^[63] пробовал ногой трамплин возле коня. Худощавый молодой человек в длинном пальто, который должен был жонглировать булавами, стоял рядом и с интересом наблюдал: блестящие посеребренные булавы торчали из его глубоких боковых карманов. Откуда-то доносился глухой треск деревянных шаров, команда готовилась к выходу; минуто спустя взволнованный наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей, суетливо хлопая крыльями сутаны и покрикивая на отстающих. Группа одетых неаполитанскими крестьянами мальчиков репетировала танец в глубине церкви – одни разводили руками над головой, другие, приседая, размахивали корзинками с искусственными фиалками. В темном углу придела за аналоем тучная старая дама стояла на коленях, утопая в ворохе своих пышных черных юбок. Когда она поднялась, стало видно фигурку в розовом платье, в парике с золотыми локонами, в старомодной соломенной шляпке, с подведенными бровями и искусно подрумяненными и напудренными щечками. Тихий изумленный шепот пробежал по церкви при виде этой девической фигурки. Один из наставников, улыбаясь и кивая, подошел к темному углу и, поклонившись тучной старой даме, сказал любезно:

– Что это – хорошенькая молодая леди или кукла, миссис Таллон?

И, нагнувшись, чтобы заглянуть под поля шляпки в улыбающееся накрашенное личико, он воскликнул:

– Не может быть! Да ведь это маленький Берти Таллон!

Стивен со своего наблюдательного поста у окна услышал, как старая леди и священник засмеялись, потом услышал восхищенный шепот школьников позади, подошедших посмотреть на маленького мальчика, который должен был исполнить соло – танец соломенной шляпки. Нетерпеливый жест вырвался у Стивена. Он опустил край занавески и, сойдя со скамейки, на которой стоял, вышел из церкви.

Он прошел через здание колледжа и остановился под навесом у самого сада. Из театра напротив доносился глухой шум голосов и всплески меди военного оркестра. Свет уходил вверх сквозь стеклянную крышу, а театр казался праздничным ковчегом, бросившим якорь среди тесноты домов и закрепившимся у причала на хрупких цепях фонарей. Боковая дверь театра внезапно открылась – и полоса света протянулась через лужайку. От

ковчега грянул внезапно гром музыки – первые такты вальса, дверь снова закрылась, и теперь до слушателя долетали только слабые звуки мелодии. Выразительность вступительных тактов, их томность и плавное движение вызвали в нем то же неизъяснимое чувство, которое заставляло его беспокойно метаться весь день и минуту тому назад прорвалось в его нетерпеливом жесте. Беспокойство выплескивалось из него, словно волна звуков, и на гребне накатывающей музыки плыл ковчег, волоча за собой цепи фонарей. Потом шум – будто выстрелила игрушечная артиллерия – нарушил движение. Это аудитория аплодисментами приветствовала появление на сцене гимнастов.

В конце навеса, прилегавшего к улице, в темноте мелькнула красная светящаяся точка. Шагнув туда, он почувствовал легкий приятный запах. Двое мальчиков стояли и курили в дверном проеме; и еще издали он узнал по голосу Курона^[64].

– Вот идет благородный Дедал! – крикнул высокий гортанный голос. – Привет истинному другу!

Вслед за приветствием раздался тихий деланный смех, и Курон, отвесив поклон, стал постукивать тросточкой по земле.

– Да, это я, – сказал Стивен, останавливаясь и переводя взгляд с Курона на его товарища.

Спутника Курона он видел впервые, но в темноте, при вспыхивающем свете сигареты, он разглядел бледное, несколько фатоватое лицо, по которому медленно блуждала улыбка, высокую фигуру в пальто и котелке. Курон не потрудился представить их друг другу и вместо этого сказал:

– Я только что говорил моему другу Уоллису: вот была бы потеха, если бы ты сегодня вечером изобразил ректора в роли учителя^[65]. Превосходная вышла бы штука!

Курон не очень успешно попытался передразнить педантичный бас ректора, и, сам рассмеявшись над своей неудачей, обратился к Стивену:

– Покажи-ка, Дедал, ты так здорово его передразниваешь: *А если-и и це-еркви не послу-ушает, то будет он тебе-е, как язы-ычник и мы-ытарь.*

Но тут его прервал тихий нетерпеливый возглас Уоллиса, у которого сигарету заело в мундштуке.

– Черт побери этот проклятый мундштук, – ворчал Уоллис, вынув его изо рта и презрительно улыбаясь. – Всегда в нем вот так застревает. А вы с мундштуком курите?

– Я не курю, – ответил Стивен.

– Да, – сказал Курон, – Дедал примерный юноша. Он не курит, не

ходит по благотворительным базарам, не ухаживает за девочками – и того не делает, и сего не делает!

Стивен покачал головой, глядя с улыбкой на покрасневшее и оживленное лицо своего соперника, с горбатым, как птичий клюв, носом. Его часто удивляло, что у Винсента Курона при птичьей фамилии и лицо совсем как у птицы. Прядь бесцветных волос торчала на лбу, как взъерошенный хохолок. Лоб был низкий, выпуклый, и тонкий горбатый нос выступал между близко посаженными, навывкате, глазами, светлыми и невыразительными. Соперники были друзьями по школе. Они сидели рядом в классе, рядом молились в церкви, болтали друг с другом после молитвы за утренним чаем. Ученики в первом классе были безликие тупицы, и потому Курон и Стивен были в школе главными заправилами. Они вместе ходили к ректору, когда нужно было выпросить свободный денек или избавиться от наказания провинившегося.

– Да, кстати, – сказал Курон. – Я видел, как прошел твой родитель.

Улыбка сбежала с лица Стивена. Всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал с ним об отце, будь то товарищ или учитель, он сразу настораживался. Молча, с опаской, он ждал, что скажет Курон дальше. Но Курон многозначительно подтолкнул его локтем и сказал:

– А ты, оказывается, хитрюга.

– Почему же? – спросил Стивен.

– С виду он и воды не замутит, – сказал Курон, – а на самом деле хитрюга.

– Позвольте узнать, что вы имеете в виду? – спросил Стивен вежливо.

– Действительно, позвольте! – сказал Курон. – Мы ведь видели ее, Уоллис? А? Красотка, черт побери. А до чего любопытна! А *какая роль у Стивена, мистер Дедал? А будет ли Стивен петь, мистер Дедал?* Твой папаша так и вперил в нее свой монокль: я думаю, он тебя тоже раскусил. Ну и что, меня бы это не смутило! Прелесть девочка, правда, Уоллис?

– Да, недурна, – спокойно отвечал Уоллис, снова вставляя мундштук в угол рта.

Острый гнев на секунду охватил Стивена от этих бестактных намеков в присутствии постороннего. Он не видел ничего забавного в том, что девочка интересовалась им и спрашивала про него. Весь день он не мог думать ни о чем другом, как только об их прощании на ступеньках конки в Хэролдс-Кроссе, о волнующих переживаниях того вечера и о стихах, которые он тогда написал. Весь день он представлял себе, как снова встретится с ней, потому что он знал, что она придет на спектакль. То же беспокойное томление теснило ему грудь, как и тогда на вечере, но теперь

оно не находило выхода в стихах. Два года легли между «теперь» и «тогда», два года, за которые он вырос и узнал многое, отрезали для него этот выход, и весь день сегодня томительная нежность поднималась в нем темной волной, и, захлебнувшись сама в себе, падала, отступала и снова набегала и росла, пока он наконец не дошел до полного изнеможения, но тут шуточный разговор наставника с загримированным мальчиком вырвал у него нетерпеливый жест.

– Так что лучше кайся, – продолжал Курон, – ведь мы тебя уличили на этот раз. И нечего тебе больше прикидываться святошей, все ясно как Божий день!

Тихий деланный смех сорвался с его губ, и он, нагнувшись, легонько ударил Стивена тростью по ноге, как бы в знак порицания.

Гнев Стивена уже прошел. Он не чувствовал себя ни польщенным, ни задетым, ему просто хотелось отделаться шуткой. Он уже почти не обижался на то, что ему казалось глупой бестактностью, он знал, что никакие слова не коснутся того, что происходит в его душе, и лицо его точно повторило фальшивую улыбку соперника.

– Кайся, – повторил Курон снова, ударяя его тростью по ноге.

Удар, хоть и шуточный, был сильнее первого. Стивен почувствовал легкое, почти безболезненное жжение и, покорно склонив голову, как бы изъявляя готовность продолжать шутку товарища, стал читать «Confiteor»^[66]. Эпизод закончился благополучно. Курон и Уоллис снисходительно засмеялись такому кощунству.

Стивен машинально произносил слова молитвы, они как будто сами срывались с его губ, а ему в эту минуту вспоминалась другая сцена, она словно по волшебству всплыла в его памяти, когда он вдруг заметил у Курона жестокие складки в уголках улыбающегося рта, почувствовал знакомый удар трости по ноге и услышал знакомое слово предостережения:

– Кайся!

Это произошло в конце первой трети, в первый год его пребывания в колледже. Его чувствительная натура все еще страдала от немилосердных ударов убогой необожженной жизни. А душа все еще пребывала в смятении, угнетенная безрадостным зрелищем Дублина. Два года он жил, зачарованный мечтами, а теперь очнулся в совершенно незнакомом мире, где каждое событие, каждое новое лицо кровно задевало его, приводя в уныние или пленяя, и, пленяя или приводя в уныние, всегда вызывало в нем тревогу и мрачные раздумья. Весь свой досуг он проводил за чтением писателей-бунтарей^[67], их язвительность и неистовые речи западали ему в

душу и бередили его мысли, пока не изливались в его незрелых писаниях.

Сочинение было для него важнее всего в учебной неделе, и каждый вторник по дороге из дома в школу он загадывал судьбу по разным случайностям пути, выбирал какого-нибудь прохожего впереди, которого надо было обогнать, прежде чем он дойдет до определенного места, или старался ступать так, чтобы каждый шаг приходился на плитку тротуара, и так решал, будет он первым по сочинению или нет.

И вот пришел вторник, когда счастливая полоса успехов внезапно кончилась. Мистер Тейт, учитель английского, показал на него пальцем и отрывисто сказал:

– У этого ученика в сочинении ересь.

Наступила тишина. Не нарушая ее, мистер Тейт скреб рукой между колен, и в классе слышалось только легкое похрустывание его туго накрахмаленных манжет и воротничка. Стивен не поднимал глаз. Было серое весеннее утро, и глаза у него все еще были слабые и болели. Он чувствовал, что пропал, что его изобличили, что разум его убог, и дома у него убого, и ощущал жестокий край шершавого вывернутого наизнанку воротника, впившегося ему в шею.

Громкий, короткий смешок мистера Тейта ослабил напряженное молчание в классе.

– Вы, может быть, не знали этого? – сказал он.

– Чего именно? – спросил Стивен.

Мистер Тейт вытащил руки, ходившие между колен, и развернул письменную работу.

– Вот здесь. Относительно Создателя и души. Мм... мм... мм... Ага! Вот... *Без возможности когда-либо приблизиться. Это ересь.*

– Я хотел сказать: *Без возможности когда-либо достигнуть,* – пробормотал Стивен.

Это была уступка, и мистер Тейт, успокоившись, сложил сочинение и, передавая ему, сказал:

– О! Да! *Когда-либо достигнуть.* Это другое дело.

Но класс не успокоился так скоро. Хотя никто не заговаривал с ним об этом после урока, он чувствовал вокруг себя всеобщее смутное злорадство.

Спустя несколько дней после публичного выговора он шел по Драмкондра-роуд, собираясь опустить письмо, и вдруг услышал, как кто-то крикнул:

– Стой!

Он обернулся и увидел трех мальчиков из своего класса, приближавшихся к нему в сумерках. Окликнувший его был Курон, который

быстро шагал между двумя товарищами, рассекая перед собой воздух тонкой тросточкой в такт шагам. Боланд, его приятель, шагал рядом, улыбаясь во весь рот, а Нэш, запыхавшись от ходьбы и мотая своей большой рыжей головой, плелся позади.

Как только мальчики повернули на Клонлифф-роуд, зашел разговор о книгах и писателях, о том, кто какие книги читал и сколько книг в шкафах дома у родителей. Стивен слушал их с некоторым удивлением, потому что Боланд считался в классе первым тупицей, а Нэш – первым лентяем. И в самом деле, когда речь зашла о любимых писателях, Нэш заявил, что самый великий писатель – это капитан Мэрриэт^[68].

– Чепуха! – сказал Курон. – Спроси-ка Дедала. Кто, по-твоему, самый великий писатель, Дедал? А?

Стивен, почувствовав насмешку, спросил:

– Из прозаиков?

– Да.

– Я думаю, Ньюмен.

– Кардинал Ньюмен? – спросил Боланд.

– Да, – ответил Стивен.

Веснушчатое лицо Нэша так и расплылось от смеха, когда он, повернувшись к Стивену, спросил:

– И тебе нравится кардинал Ньюмен?

– Многие находят, что в прозе у Ньюмена превосходный стиль, – пояснил Курон двум своим приятелям, – но, конечно, он не поэт^[69].

– А кто, по-твоему, величайший поэт? – спросил Боланд.

– Конечно, лорд Теннисон, – ответил Курон.

– Да, конечно, лорд Теннисон, – сказал Нэш. – У нас дома есть полное собрание его стихов в одном томе.

Тут Стивен, забыв обеты молчания, которые он давал про себя, не выдержал:

– Теннисон – поэт? Да он просто рифмоплет!

– Ты что! – сказал Курон. – Все знают, что Теннисон – величайший поэт.

– А кто, по-твоему, величайший поэт? – спросил Боланд, подталкивая соседа.

– Конечно, Байрон, – ответил Стивен.

Сначала Курон, а за ним и другие разразились презрительным хохотом.

– Что вы смеетесь? – спросил Стивен.

– Над тобой смеемся, – сказал Курон. – Байрон – величайший поэт?

Только невежды считают его поэтом.

– Вот так прекрасный поэт! – сказал Боланд.

– А ты лучше помалкивай, – сказал Стивен, смело повернувшись к нему. – Ты знаешь о поэзии только то, что сам же написал во дворе на заборе. За это тебе и хотели всыпать.

Про Боланда действительно говорили, будто он написал во дворе на заборе стишок про одного мальчика, который часто возвращался из колледжа домой верхом на пони:

Тайсон въезжал в Иерусалим,
Упал и зашиб свой задосолим.^[70]

Этот выпад заставил обоих приспешников замолчать, но Курон не унимался:

– Во всяком случае, Байрон был еретик и распутник к тому же.

– А мне нет дела, какой он был, – огрызнулся Стивен.

– Тебе нет дела, еретик он или нет? – вмешался Нэш.

– А ты что знаешь об этом? – вскричал Стивен. – Ты, кроме примеров в учебниках, никогда лишней строчки не прочитал, и ты, Боланд, – тоже.

– Я знаю, что Байрон был дурной человек, – сказал Боланд.

– А ну-ка, держите этого еретика, – крикнул Курон.

В ту же секунду Стивен оказался пленником.

– Недаром Тейт заставил тебя поджечь хвост в прошлый раз из-за ереси в сочинении, – сказал Курон.

– Вот я ему скажу завтра, – пригрозил Боланд.

– Это ты-то? – сказал Стивен. – Ты рот побоишься открыть!

– Побоюсь?

– Да, побоишься!

– Не зазнавайся! – крикнул Курон, ударяя Стивена тростью по ноге.

Это было сигналом к нападению. Нэш держал его сзади за обе руки, а Боланд схватил длинную сухую капустную кочерыжку, торчавшую в канаве. Как ни вырывался и ни отбрыкивался Стивен, стараясь избежать ударов трости и одеревеневшей кочерыжки, его мигмом притиснули к изгороди из колючей проволоки.

– Признайся, что твой Байрон никуда не годится.

– Нет.

– Признайся.

– Нет.

– Признайся.

– Нет. Нет.

Наконец после отчаянной борьбы ему каким-то чудом удалось вырваться. Хохоча и издеваясь, его мучители направились к Джонсис-роуд, а он, почти ничего не видя от слез, брел, спотыкаясь, в бешенстве сжимая кулаки и всхлипывая.

И сейчас, когда он под одобрительные смешки своих слушателей произносил слова покаянной молитвы, а в памяти отчетливо и живо всплыл этот жестокий эпизод, он с удивлением спрашивал себя, почему теперь не чувствует вражды к своим мучителям. Он ничего не забыл, ни их трусости, ни их жестокости, но воспоминание не вызывало в нем гнева. Вот почему всякие описания исступленной любви и ненависти, которые он встречал в книгах, казались ему неестественными. Даже и в тот вечер, когда он, спотыкаясь, брел домой по Джонсис-роуд, он чувствовал, словно какая-то сила снимает с него этот внезапно обуявший его гнев с такой же легкостью, как снимают мягкую спелую кожуру^[71].

Он продолжал стоять с двумя приятелями под навесом, рассеянно слушая их болтовню и взрывы аплодисментов в театре. Она сидела там среди других и, может быть, ждала, когда он появится на сцене. Он попытался представить себе ее, но не мог. Он помнил только, что голова у нее была покрыта шалью, похожей на капор, а ее темные глаза манили и обезоруживали его. Он спрашивал себя, думала ли она о нем, как он о ней. Потом, в темноте, незаметно для тех обоих, он прикоснулся кончиками пальцев одной руки к ладони другой, чуть-чуть, едва-едва скользнув по ней. Но ее пальцы касались легче и настойчивее, и внезапное воспоминание об их прикосновении полоснуло его сознание и его тело как невидимая волна.

Вдоль ограды к ним под навес бежал мальчик. Он запыхался и едва переводил дух от волнения.

– Эй, Дедал, – крикнул он. – Доил просто из себя выходит. Иди скорее одеваться к выходу! Скорей!

– Он пойдет, – сказал Курон, надменно растягивая слова, – когда сочтет нужным.

Мальчик повернулся к Курону и повторил:

– Но ведь Доил сердится.

– Передай от меня Дойлу наилучшие пожелания и что я плевать на него хотел, – ответил Курон.

– Ну, а мне придется идти, – сказал Стивен, для которого не существовало таких вопросов чести.

– Я бы не пошел, – сказал Курон, – черта с два, ни за что не пошел бы! Разве так обращаются к старшим ученикам? Подумаешь, из себя выходит! Достаточно с него, что ты выступаешь в его дурацкой пьесе.

Этот дух задиристой спайки, который Стивен с недавнего времени стал замечать в своем сопернике, нимало не влиял на его привычку к спокойному повиновению. Он не доверял такому бунтарству и сомневался в искренности такой дружбы, видя в ней грустные предзнаменования зрелости. Вопрос чести, затронутый сейчас, как и все подобные вопросы, казался ему неважным. Когда в погоне за какой-то неуловимой мечтой мысль его вдруг нерешительно останавливалась, отказываясь от этой погони, он слышал над собой неотвязные голоса своего отца и учителей, которые призывали его быть прежде всего джентльменом и правоверным католиком. Теперь эти голоса казались ему бессмысленными. Когда в колледже открылся класс спортивной гимнастики, он услышал другой голос, призывавший его быть сильным, мужественным, здоровым, а когда в колледж проникли веяния борьбы за национальное возрождение, еще один голос стал увещевать его быть верным родине и помочь воскресить ее язык, ее традиции^[72]. Он уже предвидел, что в обычной, мирской суете житейский голос будет побуждать его восстановить своим трудом утраченное отцовское состояние, как сейчас голос сверстников призывал быть хорошим товарищем, выгораживать их или спасти от наказания и стараться всеми способами выпросить свободный день для класса. И смешанный гул всех этих бессмысленных голосов заставлял его останавливаться в нерешительности и прерывать погоню за призраками. Время от времени он ненадолго прислушивался к ним, однако счастливым он чувствовал себя только вдали от них, когда они не могли настичь его, когда он оставался один или среди своих призрачных друзей.

В ризнице пухлый румяный иезуит и какой-то пожилой человек, оба в поношенных синих халатах, копались в ящике с гримом. Мальчики, которых уже загримировали, прохаживались тут же или растерянно топтались на одном месте, осторожно ощупывая свои раскрашенные лица кончиками пальцев. Молодой иезуит, гостивший в колледже, стоял посреди ризницы, засунув руки в глубокие боковые карманы, и плавно раскачивался на одном месте, то приподнимаясь на носки, то опускаясь на каблуки. Его маленькая голова с шелковистыми завитками рыжих волос и гладко выбритое лицо как нельзя лучше гармонировали с идеально чистой сутаной и с начищенными до блеска ботинками.

Наблюдая за этой раскачивающейся фигурой и стараясь разгадать значение насмешливой улыбки священника, Стивен вспомнил, как отец

перед отправкой его в Клонгоуз говорил, что иезуита всегда можно узнать по умению одеваться. И тут же подумал, что в характере отца есть что-то общее с этим улыбающимся, хорошо одетым священником, и вдруг ощутил осквернение священнического сана и самой ризницы, в тишину которой сейчас врывались громкая болтовня и шутки, а воздух был отравлен запахом грима и газовых рожков.

Пока пожилой человек в синем халате наводил ему морщины на лбу и накладывал синие и черные тени вокруг рта, он рассеянно слушал голос пухлого молодого иезуита, убеждавшего его говорить громко и отчетливо. Он услышал, как оркестр заиграл «Лилию Килларни», и подумал, что вот сейчас, через несколько секунд, поднимется занавес. Он не испытывал страха перед сценой, но роль, в которой он должен был выступать, казалась ему унижительной. Кровь прилила к его покрашенным щекам, когда он вспомнил некоторые свои реплики. Он представил себе, как она смотрит на него из зала серьезными, манящими глазами, и вмиг все его сомнения исчезли, уступив место спокойной уверенности. Его как будто наделили другой природой – он вдруг поддался заразительному детскому веселью, и оно растопило, вытеснило его угрюмую недоверчивость. На один редкостный миг он словно весь преобразился, охваченный истинно мальчишеской радостью; стоя за кулисами вместе с другими участниками спектакля, он вместе с ними смеялся от души, когда два здоровых священника рывками потащили вверх дергающийся и перекосившийся занавес.

Спустя несколько секунд он очутился на сцене среди ярких огней и тусклых декораций перед бесчисленными лицами, смотревшими на него из пустоты пространства. Он с удивлением обнаружил, что пьеса, которая на репетициях казалась ему бессвязной и безжизненной, внезапно обрела какую-то собственную жизнь. Она словно разворачивалась сама, а он и его партнеры только помогали ей своими репликами. Когда представление окончилось и занавес опустился, он услышал, как пустота загрохотала аплодисментами, и сквозь щель сбоку увидел, как сплошная, состоящая из бесчисленных лиц масса, перед которой он только что выступал, сейчас разорвалась и распалась на маленькие оживленные группы.

Он быстро сбежал со сцены, переоделся и вышел через придел церкви в сад. Теперь, когда представление окончилось, каждая жилка в нем жадно ждала нового приключения. Он бросился бегом, словно в погоню за ним. Все двери театра были распахнуты настежь, и зал уже опустел. На проволоках, которые представлялись ему якорными цепями ковчега, несколько фонарей, уныло мигая, покачивались на ночном ветру. Он

поспешно взбежал на крыльцо, выходящее в сад, словно боясь упустить какую-то добычу, и протиснулся сквозь толпу в вестибюле, мимо двух иезуитов, которые наблюдали за разездом, раскланиваясь и обмениваясь рукопожатиями с гостями. Волнуясь, он проталкивался вперед, делая вид, что страшно торопится, едва замечая улыбки, усмешки и удивленные взгляды, которыми люди встречали и провожали его напудренную голову.

У входа он увидел свою семью, ожидавшую его у фонаря. С одного взгляда он обнаружил, что все в этой группе свои, и с досадой сбежал вниз по лестнице.

– Мне нужно зайти по делу на Джорджис-стрит, – быстро сказал он отцу. – Я приду домой попозже.

Не дожидаясь расспросов отца, он перебежал дорогу и сломя голову помчался с горы. Он не отдавал себе отчета, куда бежит. Гордость, надежда и желание, словно растоптанные травы, источали свой ядовитый дурман в его сердце и затемняли рассудок. Он мчался вниз по склону в чаду этого внезапно хлынувшего на него дурмана уязвленной гордости, растоптанной надежды и обманутого желания. Этот дурман поднимался ввысь перед его горящим взором густыми ядовитыми клубами и постепенно исчезал в вышине, пока воздух наконец не сделался снова ясным и холодным.

Туман все еще застилал ему глаза, но они уже больше не горели. Какая-то сила, сродни той, которая часто приказывала ему позабыть гнев и недовольство, заставила его остановиться. Не двигаясь, он стоял и смотрел на темное крыльцо морга и на темный, мощный булыжником переулок. Он прочел его название – «Лотте» – на стене дома и медленно вдохнул тяжелый терпкий запах.

«Конская моча и гнилая солома, – подумал он. – Этим полезно дышать. Успокоит мое сердце. Вот теперь оно совсем спокойно. Пойду обратно».

*

Стивен опять сидел с отцом в поезде на вокзале Кингс-бридж. Они ехали вечерним поездом в Корк. Когда паровоз запыхтел, разводя пары, и поезд отошел от платформы, Стивен вспомнил свое детское изумление во время поездки в Клонгоуз несколько лет тому назад и все подробности первого дня в школе. Но теперь он уже не изумлялся. Он смотрел на проплывавшие мимо поля, на безмолвные телеграфные столбы, мелькавшие за окном через каждые четыре секунды, на маленькие, скудно освещенные станции с недвижными дежурными на платформе, вырванные

на секунду из тьмы и тут же отброшенные назад, как искры из-под копыт ретивого скакуна.

Он безучастно слушал рассказы отца о Корке, о днях его молодости, – отец неизменно вздыхал или прикладывался к фляжке всякий раз, как речь заходила о ком-нибудь из умерших друзей или когда вдруг вспоминал о том, что заставило его предпринять эту поездку. Стивен слушал, но не испытывал жалости. Покойники, о которых вспоминал отец, были все ему незнакомы, кроме дяди Чарльза, да и его образ тоже начал стираться в памяти. Он знал, что имущество отца будут продавать с аукциона, и воспринимал свою обездоленность^[73] как грубое посягательство мира на его мечты.

В Мэриборо он заснул. А когда проснулся, уже проехали Мэллоу; отец спал, растянувшись на соседней скамье. Холодный предутренний свет чуть брезжил над бесплодными полями, над деревьями, над спящими домами. Страх перед этим спящим миром завладевал его воображением, когда он смотрел на тихие деревни и слышал, как глубоко дышит и ворочается во сне отец. Соседство невидимых спящих людей наполняло его смутным ужасом, как будто они могли причинить ему зло, и он стал молиться, чтобы поскорее наступил день. Молитва его, не обращенная ни к Богу, ни к святым, началась с дрожи, когда прохладный утренний ветер задул из щелей двери ему в ноги, и окончилась лихорадочным бормотанием каких-то нелепых слов, которые он невольно подгонял под мерный ритм поезда; безмолвно, каждые четыре секунды, телеграфные столбы, как тактовые черты, четко отмечали ритм. Эта бешеная мелодия притупила его страх, и, прислонившись к оконному переплету, он опять закрыл глаза.

Было еще очень рано, когда поезд с грохотом подкатил к Корку и в номере гостиницы «Виктория» Стивен снова лег спать. Яркий теплый солнечный свет струился в окно, и Стивен слышал, как шумит улица. Отец стоял перед умывальником и тщательно разглядывал в зеркало свои волосы, лицо и усы, вытягивал шею над кувшином с водой, поворачивал голову, чтобы получше себя увидеть. А сам в это время тихонько напевал, забавно растягивая слова:

По юности и глупости
Жениться можно вмиг,
Поэтому, красавица,
Бегу, бегу.

Ведь от жены не лечат,

А жены нас калечат,
Нет, лучше я сбегу
В А-ме-ри-ку!

Мила моя красотка,
Жива и весела,
Как старое доброе виски
Свежа, крепка.

Но время убегает,
И красота линяет,
И свежесть выдыхается,
Как горная роса.^[74]

Ощущение теплого солнечного города за окном и мягкие модуляции отцовского голоса, которыми он украшал странную, печально-шутливую песенку, разогнали тени ночной тоски Стивена. Он вскочил и начал одеваться и, когда песенка кончилась, сказал отцу:

- Куда лучше, чем эти ваши «Придите все»^[75].
- Ты находишь? – сказал мистер Дедал.
- Мне нравится эта песенка, – сказал Стивен.

– Хорошая старинная песенка, – сказал мистер Дедал, закручивая кончики усов. – Но если бы ты только слышал, как пел ее Мик Лейси! Бедняга Мик Лейси! Как он умел оттенить каждую нотку, какие чудеса вытворял с этой песенкой, у меня так не получается. Вот кто, бывало, умел спеть «Придите все» – слушаешь, душа радуется.

Мистер Дедал заказал на завтрак паштет и за едой расспрашивал официанта о местных новостях, и всякий раз у них получалась ужасная путаница, потому что официант имел в виду теперешнего хозяина, а мистер Дедал – его отца или даже деда.

– Надеюсь, хоть Королевский колледж стоит на месте, – заметил мистер Дедал. – Хочу показать его своему сынишке.

На улице Мардайк деревья были в цвету. Они вошли в ворота колледжа, и словоохотливый сторож повел их через дворик в здание. Но через каждые десять – пятнадцать шагов они останавливались на усыпанной щебнем дорожке и между отцом и сторожем происходил следующий диалог:

- Да не может быть! Неужели бедняга Толстопуз умер?

– Да, сэр, умер.

Во время этих остановок Стивен растерянно топтался на месте позади собеседников, беспокойно ожидая, когда можно будет не спеша двинуться вперед. Но к тому моменту, когда они пересекли дворик, его беспокойство почти перешло в бешенство. Он удивлялся, как это отец, которого он считал человеком проницательным и недоверчивым, мог обмануться льстивой угодливостью сторожа, а забавный южный говор, развлекавший его целое утро, теперь раздражал.

Они вошли в анатомический театр, где мистер Дедал с помощью сторожа начал разыскивать парту со своими инициалами. Стивен брел позади, удрученный более чем когда-либо мраком, тишиной и царившей здесь атмосферой сухой науки. На одной из парт он прочел слово Foetus^[76], вырезанное в нескольких местах на закапанном чернилами дереве. Его бросило в жар от этой неожиданной надписи: он словно почувствовал рядом с собой этих студентов, и ему захотелось скрыться от них. Картина той жизни, которую никогда не могли вызвать в его воображении рассказы отца, внезапно выросла перед ним из этого вырезанного на парте слова. Плечистый, усатый студент старательно вырезал перочинным ножом букву за буквой. Другие студенты стояли или сидели рядом, гогоча над тем, что выходило у него из-под ножа. Один из них толкнул его под локоть. Плечистый обернулся, нахмурившись, на нем была широкая серая блуза и темно-коричневые ботинки.

Стивена окликнули. Он быстро сбежал вниз по ступенькам аудитории, словно спасаясь от этого видения, и стал разглядывать инициалы отца, чтобы спрятать свое пылающее лицо.

Но слово и картина, вызванная им, продолжали мелькать у него перед глазами, когда он шел обратно по дворику к воротам колледжа. Он был потрясен тем, что наткнулся в жизни на какие-то следы того, что до сих пор казалось ему гнусной болезнью его психики. Чудовищные видения, преследовавшие его, всплывали в памяти, с внезапным неистовством они вырастали перед ним из одних только слов. Он быстро поддался им и позволил захватить и разлечь свое воображение, хотя и не переставал удивляться, откуда они берутся – из какого гнездилища чудовищных призраков. А когда эти видения одолевали его, каким же жалким и униженным чувствовал он себя с окружающими, как метался и как был противен самому себе.

– А вот и бакалея!^[77] Та самая! – вскричал мистер Дедал. – Ты много раз слышал от меня о ней, ведь правда, Стивен? Да, мы частенько

захаживали сюда целой компанией, и наши имена были хорошо тут известны. Гарри Пирд, малыш Джек Маунтен и Боб Дайес, и еще француз Морис Мориарти, и Том О'Грейди, и Мик Лейси, о котором я тебе говорил нынче утром, и Джоун Корбет, и добрая душа бедняжка Джонни Киверс из Тэнтайлсов.

Листья деревьев на улице Мардаик шелестели и перешептывались в солнечном свете. Мимо прошла команда игроков в крикет, стройные молодые люди в спортивных брюках и куртках, и один из них нес длинный зеленый мешок с крикетными воротами. В тихом переулке уличные музыканты-немцы – пять человек в выцветших солдатских мундирах – играли на помятых инструментах обступившим их уличным мальчишкам и досужим рассыльным. Горничная в белом чепце и фартуке поливала цветы в ящичке на подоконнике, который сверкал на солнце, как пласт известняка. Из другого, открытого настежь окна доносились звуки рояля, поднимавшиеся все выше и выше, гамма за гаммой до дискантов.

Стивен шел рядом с отцом, слушая рассказы, которые он уже слышал и раньше, все те же имена исчезнувших и умерших собутыльников, друзей отцовской юности. От легкой тошноты у него щемило сердце. Он думал о своем двусмысленном положении в Бельведере – ученик-стипендиат, первый ученик в классе, боящийся собственного авторитета, гордый, обидчивый, подозрительный, отбивающийся от убожества жизни и от своего собственного разнузданного воображения. Буквы, вырезанные на запачканной деревянной парте, пялились на него, издеваясь над слабостью его плоти, над его бесплодными порывами, заставляя его презирать себя за грязное дикое буйство. Слюна у него во рту сделалась горькой и застряла в горле, и от легкой тошноты мутилось в голове, так что на минуту он даже закрыл глаза и шел вслепую.

А голос отца рядом с ним продолжал:

– Когда ты выбьешься в люди, Стивен, а я очень на это надеюсь, помни одно: что бы ты ни делал, держись порядочных людей. Когда я был молод, я, можно сказать, жил полной жизнью, и друзья у меня были прекрасные, порядочные люди. И каждый из нас был чем-нибудь да славен. У одного голос был хороший, у другого – актерский талант, кто мог недурно спеть какой-нибудь веселенький куплетик, кто был первоклассным гребцом или первым на теннисном корте, а кто превосходным рассказчиком. Мы всем интересовались, брали от жизни все, что могли, и, можно сказать, прожили в свое удовольствие, и никому от этого не было никакого вреда. Но все мы были порядочными людьми, Стивен, по крайней мере я так думаю, и честными ирландцами. Вот и мне бы хотелось, чтобы и ты с такими

людьми водился – с честными, добропорядочными. Я с тобой говорю как друг, Стивен, я вовсе не считаю, что сын должен бояться отца. Нет, я с тобой держусь запросто, так же, как, бывало, твой дед держался со мной, когда я был в твоём возрасте. Мы с ним были скорее как братья, а не как отец с сыном. Никогда не забуду, как он в первый раз поймал меня с трубкой. Помню, стою я в конце Саут-террас с щелкоперами вроде меня, и мы, конечно, корчим из себя взрослых и воображаем о себе невесть что, и у каждого торчит трубка в зубах. И вдруг мимо идет отец. Он ничего не сказал, даже не остановился. А на следующий день, в воскресенье, мы пошли с ним гулять, и вот, когда возвращались домой, он вдруг вынимает портсигар и говорит: «Да, кстати, Саймон, я и не знал, что ты куришь». Я, конечно, в ответ что-то мямлю, а он протягивает мне портсигар и говорит: «Хочешь отведать хорошего табачку, попробуй-ка эти сигары. Мне их один американский капитан подарил вчера вечером в Куинстауне».

Стивен услышал смешок отца, который почему-то был больше похож на всхлипывание.

– Он в то время был самый красивый мужчина в Корке^[78]. Правду тебе говорю. Женщины на улицах останавливались и глядели ему вслед.

Тут голос отца прервался громким рыданием, и Стивен невольно широко открыл глаза. В потоке света, внезапно хлынувшем ему в зрачки, он увидел волшебный мир – темную клубящуюся массу неба и облаков, на которую озерами пролился темно-розовый свет. Самый мозг его был болен и отказывался ему служить. Он едва мог разобрать буквы на вывесках магазинов. Своим чудовищным образом жизни он словно отторг себя от действительности. Ничто из этой действительности не трогало и не привлекало его, если он не слышал в этом отголоска того, что вопило в нем самом. Немой, бесчувственный к зову лета, радости, дружбы, он был неспособен откликнуться ни на какой земной или человеческий призыв, и голос отца раздражал и угнетал его. Он едва понимал собственные мысли и медленно повторял про себя:

– Я – Стивен Дедал. Я иду рядом с моим отцом, которого зовут Саймон Дедал. Мы в Корке, в Ирландии. Корк – это город. Мы остановились в гостинице «Виктория». Виктория. Стивен. Саймон. Саймон. Стивен. Виктория. Имена.

Воспоминания детства вдруг сразу потускнели. Он старался воскресить в памяти самые яркие минуты и не мог. В памяти всплывали только имена: Дэнти, Парнелл, Клейн, Клонгоуз. Маленького мальчика учила географии старая женщина, у которой были две щетки в шкафу. Потом его отправили в колледж. Он в первый раз причащался, ел

шоколадки, которые прятал в своей крикетной шапочке, и смотрел, как плясал и прыгал огонь на стене в маленькой комнате в лазарете, и представлял себе, как он умрет, как ректор в черном с золотом облачении будет служить над ним мессу и как его похоронят на маленьком кладбище за главной липовой аллеей. Но он не умер тогда. Парнелл умер. Не было ни мессы в церкви, ни похоронной процессии. Парнелл не умер, а растаял, как туман на солнце. Он исчез или ушел из жизни, потому что его больше не существует. Как странно представить себе, что он вот так ушел из жизни, не умер, а растаял на солнце или блуждает, затерявшись где-то во вселенной! И странно было видеть, как на секунду снова появился маленький мальчик: вот он – в серой с поясом куртке. Руки засунуты в боковые карманы, а штанишки прихвачены ниже колен круглыми подвязками.

Вечером того дня, когда имущество было продано, Стивен покорно ходил за отцом по городу из бара в бар. Рыночным торговцам, служанкам в барах, официантам, нищим, которые просили милостыню, мистер Дедал неизменно рассказывал одно и то же: что он старый уроженец Корка, что за тридцать лет жизни в Дублине он не избавился от южного акцента и что этот юнец рядом с ним – его старший сын, самый настоящий дублинский бездельник.

Рано утром они вышли из кафе «Ньюком», где чашка в руке мистера Дедала громко позвякивала о блюдечко, а Стивен, двигая стулом и покашливая, старался заглушить это позвякивание – позорный след вчерашней попойки. Одно унижение следовало за другим: фальшивые ухмылки рыночных торговцев, заигрывания и смешки буфетчиц, с которыми любезничал мистер Дедал, поощрения и комплименты отцовских друзей. Они говорили ему, что он очень похож на своего деда, мистер Дедал соглашался, что сходство есть, только Стивен не так красив. Они находили, что по его речи можно узнать, что он из Корка, и заставили его признать, что река Ли красивее Лиффи. Один из них, желая проверить его латынь, заставил перевести несколько фраз из «Дилектуса»^[79] и спросил, как правильно говорить: «Tempora mutantur nos et mutamur in illis» или «Tempora mutantur et nos mutamur in illis»^[80]. Другой юркий старикашка, которого мистер Дедал называл Джонни Казначей, привел его в полное замешательство, спросив, где девушки красивее – в Дублине или в Корке.

– Он не из того теста, – сказал мистер Дедал. – Не приставай к нему. Он серьезный, рассудительный мальчик, ему никогда и в голову не приходит думать о таких пустяках.

– Тогда, значит, он не сын своего отца, – сказал старикашка.

– Вот это я уж, право, не знаю, – сказал мистер Дедал, самодовольно улыбаясь.

– Твой отец, – сказал старикашка Стивену, – был в свое время первый юбочник в Корке. Ты этого не знал?

Стивен, опустив глаза, разглядывал вымощенный кафелем пол бара, куда они зашли по пути.

– Да будет тебе, еще собьешь его с толку, – сказал мистер Дедал. – Бог с ним.

– Зачем мне сбивать его с толку? Я ему в дедушки гожусь. Ведь я и в самом деле дедушка, – сказал Стивену старикашка. – А ты не знал?

– Нет, – сказал Стивен.

– Как же, – отвечал старикашка. – У меня двое карапузов-внучат в Сандиз Уэллс. А что? По-твоему, сколько мне лет? Ведь я твоего дедушку помню, когда еще он в красном камзоле ездил на псовую охоту. Тебя тогда и на свете не было.

– И никто и не думал, что будет, – сказал мистер Дедал.

– Как же! – повторил старикашка. – Да больше того, я даже твоего прадеда помню, старого Джона Стивена Дедала. Вот был отчаянный дуэлянт! А? Что, какова память?

– Выходит, три, нет, четыре поколения, – сказал один из собеседников. – Так тебе уже, Джонни Казначей, глядишь, скоро сто стукнет.

– Я вам скажу, сколько мне лет, – отвечал старикашка. – Мне ровно двадцать семь.

– Верно, Джонни, – сказал мистер Дедал. – Тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь. А ну-ка, прикончим что здесь еще осталось да начнем другую. Эй! Тим, Том, или как там тебя зовут, дай-ка нам еще бутылочку такого же. Честное слово, мне самому кажется, что мне восемнадцать, а вот сын мой вдвое моложе меня, а куда он против меня годится!

– Полегче, Дедал, придется тебе, пожалуй, ему уступить, – сказал тот, который говорил до этого.

– Ну нет, черт возьми! – вскричал мистер Дедал. – Я партию тенора спою получше его и барьер возьму получше, и на охоте ему за мной не угнаться, попробуй он со мной лис травить, как мы, бывало, лет тридцать тому назад травили с ребятами из Керри^[81]! А уж они в этом толк понимали.

– Но он побьет тебя вот в чем, – сказал старикашка, постучав себя по

лбу, и осушил стакан.

– Будем надеяться, что он будет таким же порядочным человеком, как его отец, вот все, что я могу сказать, – ответил мистер Дедал.

– Лучшего и желать не надо, – сказал старикашка.

– И поблагодарим Бога, Джонни, – сказал мистер Дедал, – за то, что мы жили долго, а зла сделали мало.

– А добра много делали, Саймон, – торжественно присовокупил старикашка. – Слава тебе, Господи, и пожили долго, и добра делали много.

Стивен смотрел, как поднялись три стакана и отец и два его старых друга выпили за свою молодость. Судьба или характер, словно какая-то бездна, отделяли его от них. Казалось, ум его был старше: он холодно светил над их спорами, радостями и огорчениями, словно луна над более юной землей. Он не ощущал в себе биения жизни, молодости, которое когда-то так полно ощущали они. Ему не были знакомы ни радость дружеского общения, ни сила крепкого мужского здоровья, ни сыновнее чувство. Ничто не шевелилось в его душе, кроме холодной, жесткой, безлюбой похоти. Детство его умерло или исчезло, а вместе с ним и его душа, способная на простые радости, и он скитался по жизни, как тусклый диск луны.

Ты не устала ли? Твой бледен лик, луна.

Взбираясь ввысь, на землю ты глядишь

И странствуешь одна...[\[82\]](#)

Он повторял про себя строки из Шелли. Противопоставление жалкого человеческого бессилия высшей упорядоченной энергии, недоступной человеку, отрезвило его, и он забыл свою собственную, бессильную жалкую печаль.

*

Мать Стивена, его брат и один из двоюродных братьев остались дожидаться на углу пустынной Фостер-плейс, а Стивен с отцом поднялись по ступеням и пошли вдоль колоннады, где прохаживался взад и вперед часовой-шотландец. Когда они вошли в большой холл и стали у окошка кассы, Стивен вынул свои щеки на имя директора Ирландского банка – один на тридцать и другой на три фунта. И эту сумму, его наградную стипендию,

и премию за письменную работу кассир быстро отсчитал банкнотами и звонкой монетой. С деланным спокойствием Стивен рассовал их по карманам и покорно протянул руку через широкий барьер добродушному кассиру, который, разговорившись с отцом, захотел поздравить Стивена и пожелать ему блестящего будущего. Его раздражали их голоса, и ему не стоялось на месте. Но кассир, задерживая других посетителей, распространялся о том, что времена пошли не те и что по нынешним понятиям самое важное – это дать сыну хорошее образование, конечно, если позволяют деньги. Мистер Дедал медлил уходить, поглядывая то по сторонам, то вверх на потолок, и пояснял торопившему его Стивену, что они находятся в здании старого Ирландского парламента, в палате общин [\[83\]](#).

– Господи! – благоговейно говорил мистер Дедал, – подумать только, какие люди были в те времена – Хили-Хатчинсон [\[84\]](#), Флуд, Генри Граттан, Чарльз Кендал Буш! А дворянчики, которые ворочают делами теперь! Тоже мне вожди ирландского народа! Да их, Стивен, рядом с теми даже и на кладбище представить себе нельзя! Да, Стивен, дружище, это все равно как, знаешь, в песенке поется, майский день в июльский полдень.

Пронзительный октябрьский вечер гулял вокруг банка. У троих, дожидавшихся на краю грязного тротуара, посинели щеки и слезились глаза. Стивен заметил, как легко одета его мать, и вспомнил, что несколько дней тому назад видел в витрине магазина Бернардо накидку за двадцать гиней.

– Ну вот, получили, – сказал мистер Дедал.

– Неплохо бы пойти пообедать, – сказал Стивен. – Только куда?

– Пообедать? – сказал мистер Дедал. – Ну что ж – это, пожалуй, недурно.

– Только куда-нибудь, где не очень дорого, – сказала миссис Дедал.

– К Недожаренному [\[85\]](#)?

– Да, куда-нибудь, где потише.

– Идемте, – сказал Стивен нетерпеливо. – Пускай дорого, неважно.

Он шел впереди них мелкими неровными шагами и улыбался. Они старались не отставать от него и тоже улыбались его стремительности.

– Да не волнуйся ты, – сказал отец. – Держи себя как подобает взрослому юноше. Что мы сломя голову летим, нам ведь не приз брать!

В трате денег на развлечения и удовольствия незаметно проходил день, и премия в руках Стивена быстро таяла. Из города доставляли на дом большие пакеты сладостей, конфет, сушеных фруктов. Каждый день

Стивен составлял меню для всего семейства, а вечером втроем или вчетвером отправлялись в театр смотреть «Ингомара» или «Даму из Лиона»^[86]. В кармане куртки у него всегда были припасены плитки венского шоколада на всю компанию, а в карманах брюк позвякивали пригоршни серебряных и медных монет. Он всем покупал подарки, взялся отделять заново свою комнату, сочинял какие-то проекты, непрестанно переставлял книги на полках, изучал всевозможные прейскуранты, завел в доме строгий порядок на республиканских началах, по которому на каждого члена семьи ложились определенные обязанности. Открыл ссудную кассу для своих домашних и раздавал ссуды охотникам брать займы только ради удовольствия выписывать квитанции и подсчитывать проценты на выданные суммы. Когда эти возможности иссякли, он стал кататься по городу на конке. Потом наступил конец развлечениям. Розовая эмалевая краска в жестянке высохла, деревянная обшивка в его комнате осталась недокрашенной, а плохо приставшая штукатурка осыпалась со стен.

Семья вернулась к обычному образу жизни. У матери уже больше не было повода упрекать его за мотовство. Он тоже вернулся к своей прежней школьной жизни, а все его нововведения пошли прахом. Республика развалилась. Ссудная касса закрылась с большим дефицитом. Правила жизни, которые он установил для себя, нарушились сами собой.

Какая это была нелепая затея! Он пытался воздвигнуть плотину порядка и изящества против грязного течения внешней жизни и подавить правилами поведения, деятельными интересами и новыми семейными отношениями мощный водоворот внутри себя. Тщетно. И снаружи и внутри поток перехлестнул через его преграды: оба течения опять неистово столкнулись над обрушившимся молом.

Он ясно понимал и свою собственную бесплодную отчужденность. Он не приблизился ни на шаг к тем, к кому старался подойти, и не преодолел беспокойного чувства стыда и затаенной горечи, которые отделяли его от матери, брата и сестры. Он почти не ощущал кровной связи с ними, скорее какую-то таинственную связь молочного родства, словно он был приемыш, их молочный брат.

Он снова пытался утолить свое жадное неистовое томление, перед которым все другое казалось пустым и чуждым. Его не тревожило, что он впал в смертный грех, что жизнь стала сплетением лжи и уверток. Перед мучительным желанием перенести в действительность чудовищные видения терзавшей его похоти исчезло все, не оставалось ничего святого. Цинично и терпеливо позволял он своему разнузданному воображению в

тайном сладострастии осквернять постыдными подробностями любой образ, случайно остановивший его внимание. Встречная незнакомка, которая днем казалась ему целомудренной, недоступной, являлась ночью из темных лабиринтов сна, лицо ее дышало лукавым сладострастием, глаза горели животной похотью. И только утро тревожило его смутными воспоминаниями темных оргий, острым унижительным чувством греха.

Его снова потянуло бродить. Туманные осенние вечера влекли его из переулка в переулок, как когда-то много лет тому назад они водили его по тихим улицам Блэкрока. Но ни подстриженные палисадники, ни приветливые огни окон теперь уже не наполняли его чувством отрадного покоя. И только по временам, когда наступало затишье, и желания и похоть, изнуравшие его, сменялись томной слабостью, образ Мерседес вставал из глубин его памяти. Он снова видел маленький белый домик по дороге в горы и сад с цветущими розами и вспоминал печальный гордый жест отказа и слова, которые он должен был произнести там, стоя рядом с ней в залитом лунным светом саду после стольких лет разлуки и скитаний. В эти минуты тихие речи Клода Мельнота^[87] звучали в памяти и утоляли его тревогу. Нежное предчувствие свидания, которого он когда-то ждал, снова наполнило его душу, несмотря на ужасную действительность, лежавшую между былыми надеждами и настоящим, предчувствие благословенной встречи, когда бессилие, робость и неопытность мгновенно спадают с него.

Эти минуты проходили, и изнуравшее пламя похоти вспыхивало снова. Стихи замирали у него на губах, и нечленораздельные крики и непристойные слова рвались из сознания, требуя выхода. Кровь бунтовала. Он бродил взад и вперед по грязным улицам, вглядываясь в черноту переулков и ворот, жадно прислушиваясь к каждому звуку. Он выл, как зверь, потерявший след добычи. Он жаждал согрешить с существом себе подобным, заставить это существо согрешить и насладиться с ним грехом. Он чувствовал, как что-то темное неудержимо движется на него из темноты, неумолимое и шепчущее, словно поток, который, набегая, заполняет его собой. Этот шепот, словно нарастая во сне, бился ему в уши, неуловимые струи пронизывали все его существо. Его пальцы судорожно сжимались, зубы стискивались от нестерпимой муки этого проникновения. На улице он протягивал руки, чтобы удержать нечто хрупкое, зыбкое, ускользающее и манящее, и крик, который он уже давно сдерживал в горле, слетел с его губ. Он вырывался, как вырывается стон отчаяния несчастных грешников в преисподней, и замирал хрипом яростной мольбы, воплем неутоленной похоти, воплем, который был не чем иным, как эхом непристойной надписи, увиденной им на мокрой стене писсуара.

Как-то он забрел в лабиринт узких грязных улиц^[88]. Из вонючих переулков до него доносились шум, пьяные возгласы, брань, хриплый рев пьяных голосов. Все это мало его трогало, и он гадал, куда это его занесло, не в еврейский ли квартал. Женщины и молодые девушки в длинных кричащих платьях, надушенные, прохаживались по улице от дома к дому. Его охватила дрожь, и в глазах потемнело. Перед затуманенным взором, на фоне облачного неба, желтые рожки фонарей запылали, как свечи перед алтарем. У дверей и в освещенных передних кучками собирались женщины, как бы готовясь к какому-то обряду. Он попал в другой мир: он проснулся от тысячелетнего сна.

Он стоял посреди улицы, и сердце его неистово колотилось в груди. Молодая женщина в красном платье положила руку ему на плечо и заглянула в глаза.

– Добрый вечер, милашка Вилли! – весело сказала она.

В комнате у нее было тепло и светло. Большая кукла сидела, раздвинув ноги, в широком кресле около кровати. Он смотрел, как она расстегивает платье, видел гордые, уверенные движения ее надушенной головы и старался заставить себя вымолвить хоть слово, чтобы казаться непринужденным.

И когда он стоял так молча посреди комнаты, она подошла к нему и обняла его – обняла весело и спокойно. Ее круглые руки крепко обхватили его, и, видя ее серьезное и спокойное запрокинутое лицо, ощущая теплое, спокойное, мерное дыхание ее груди, он едва не разразился истерическим плачем. Слезы радости и облегчения сияли в его восхищенных глазах, и губы его разомкнулись, хотя и не произнесли ни слова.

Она провела своей звенящей рукой по его волосам и назвала его плутишкой.

– Поцелуй меня, – сказала она.

Губы его не шевельнулись, не поцеловали ее. Ему хотелось, чтобы она держала его в своих объятиях крепко, ласкала тихо-тихо. В ее объятиях он вдруг почувствовал себя сильным, бесстрашным и уверенным. Но губы его не шевельнулись, не поцеловали ее.

Внезапным движением она пригнула его голову и прижала свои губы к его губам, и он прочел смысл ее движений в откровенном устремленном на него взгляде. Это было выше его сил. Он закрыл глаза, отдаваясь ей душой и телом, забыв обо всем на свете, кроме теплого прикосновения ее мягко раздвинутых губ. Целуя, они касались не только губ, но и его сознания, как будто хотели что-то передать ему, и вдруг, на миг, он ощутил неведомое доселе и робкое прикосновение, которое было темнее, чем греховное

забыть, мягче, чем запах или звук.

После унылого дня стремительные декабрьские сумерки, кувыркаясь, подобно клоуну, падали на землю, и, глядя из классной комнаты в унылый квадрат окна, он чувствовал, как желудок его требует пищи. Он надеялся, что на обед будет жаркое – репа, морковь и картофельное пюре с жирными кусками баранины, плавающими в сильно наперченном мучнистом соусе. Пихай все это в себя, подзуживало его брюхо.

Ночь будет темная, глухая ночь. Чуть стемнеет, желтые фонари вспыхнут там и сям в грязном квартале публичных домов. Он пойдет бродить по переулкам, подходя туда все ближе и ближе, будет дрожать от волнения и страха, пока ноги его сами не завернут за темный угол. Проститутки как раз начнут выходить на улицу, готовясь к ночи, лениво зевая после дневного сна и поправляя шпильки в волосах. Он спокойно пройдет мимо, дожидаясь внезапной вспышки желания или внезапного призыва мягкого надушенного тела, который пронзит его возлюбившую грех душу. И в настороженном ожидании этого призыва чувства его, притупляемые только желанием, будут напряженно отмечать все, что унижает и задевает их: глаза – кольцо пивной пены на непокрытом столе, фотографию двух стоящих навтыжку солдат, кричащую афишу; уши – протяжные оклики приветствий.

– Хэлло, Берти, чем порадуешь, дружок?

– Это ты, цыпочка?

– Десятый номер, тебя там Нелли-Свеженькая поджидает.

– Пришел скоротать вечерок, милашка?

Уравнение на странице его тетради развернулось пышным хвостом в глазках и звездах, как у павлина; и когда глазки и звезды показателей взаимно уничтожились, хвост начал медленно складываться. Показатели появлялись и исчезали, словно открывающиеся и закрывающиеся глазки, глазки открывались и закрывались, словно вспыхивающие и угасающие звезды. Огромный круговорот звездной жизни уносил его усталое сознание прочь за пределы и вновь возвращал обратно к центру, и это движение сопровождала отдаленная музыка. Что это была за музыка? Музыка стала ближе, и он вспомнил строки Шелли о луне, странствующей одиноко, бледной от усталости. Звезды начали крошиться, и облако тонкой звездной пыли понеслось в пространство.

Серый свет стал тускнеть на странице, где другое уравнение

разворачивалось, медленно распуская хвост. Это его собственная душа вступала на жизненный путь, разворачиваясь, грех за грехом, рассыпая тревожные огни пылающих звезд и снова свертываясь, медленно исчезая, гася свои огни и пожары. Они погасли все, и холодная тьма заполнила хаос.

Холодное трезвое безразличие царило в его душе. В исступлении первого греха он почувствовал, как волна жизненной силы хлынула из него, и боялся, что тело или душа его будут искалечены этим извержением. Но жизненная волна вынесла его на гребне вон из него самого и, схлынув, вернула обратно. А его тело и душа остались невредимыми, и темное согласие установилось между ними. Хаос, в котором угас его пыл, обратился в холодное, равнодушное познание самого себя. Он совершил смертный грех, и не однажды, а множество раз, и знал, что уже первый грех грозит ему вечным проклятием, а каждый новый умножает его вину и кару. Дни, занятия и раздумья не принесут ему искупления – источники благодати освящающей перестали орошать его душу. Подавая нищим, он убегал, не выслушав их благодарности, и устало надеялся, что хоть так заслужит какие-то крохи благодати действующей^[89]. Благодетель покинуло его. Какая польза в молитвах, когда он знал, что душа его жаждет гибели? Гордость, благоговейный страх не позволяли ему произнести ни единой молитвы на ночь, хотя он знал, что в Божьей власти было лишить его жизни во время сна и ввергнуть его душу в ад, прежде чем он успеет попросить о милосердии. Гордое сознание собственного греха, безлюбый страх Божий, внушали ему, что собственное преступление слишком велико, чтобы его можно было искупить полностью или частично лицемерным поклонением Всевидящему и Всезнающему.

– Знаете, можно подумать, Эннис, будто у вас не голова, а чурбан. Вы что же – не понимаете, что такое иррациональная величина?

Бестолковый ответ разбудил дремавшее в нем презрение к его школьным товарищам. По отношению к другим он больше не испытывал ни стыда, ни страха. Утром в воскресные дни, проходя мимо церкви, он холодно смотрел на молящихся; по четыре человека в ряд, обнажив голову, стояли они на паперти, мысленно присутствуя на богослужении, которого не могли ни видеть, ни слышать. Унылая набожность и тошнотворный запах дешевого бриллиантина от их волос отталкивали его от святыни, которой они поклонялись. Он лицемерил вместе с другими, но скептически не доверял их простодушию, которое можно было с такой легкостью обмануть.

На стене в его спальне висела украшенная заставкой грамота об

избрании его старостой братства Пресвятой Девы Марии в колледже^[90]. По субботам, когда братство сходилось в церковь к службе, он занимал почетное место справа от алтаря, преклонив колена на маленькой обитой материей скамеечке, и вел свое крыло хора во время богослужения. Это фальшивое положение не мучило его. Если минутами его и охватывало желание подняться со своего почетного места, покаяться перед всеми в своем лицемерии и покинуть церковь, одного взгляда на окружающие лица бывало достаточно, чтобы подавить этот порыв. Образы пророчесствующих псалмов^[91] укрощали его бесплодную гордость. Славословия Марии пленяли его душу: нард, мирра и ладан – символы драгоценных даров Божиих ее душе, пышные одеяния – символы ее царственного рода, поздно цветущее дерево и поздний цветок – символы веками возрастающего культа ее среди людей. И когда в конце службы наступала его очередь читать Священное писание, он читал его приглушенным голосом, убаюкивая свою совесть музыкой слов:

Quasi cedrus exaltata sum in Libanon et quasi cupressus in monte Sion. Quasi palma exaltata sum in Gades et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi uliva speciosa in campis et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis. Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi et quasi myrrha electa dedi suavitatem odoris^[92].

Грех, отвернувший от него лик Господен, невольно приблизил его к заступнице всех грешников. Ее очи, казалось, взирали на него с кроткой жалостью, ее святость, непостижимое сияние, окутывающее ее хрупкую плоть, не унижали прибегающего к ней грешника. Если когда-нибудь внутренний голос и убеждал его отказаться от греха и покаяться, то это был голос, звавший посвятить себя служению ей. Если когда-нибудь душа его, стыдливо возвращаясь в свою обитель после того, как затихало безумие похоти, владевшей его телом, и устремлялась к той, чей символ – утренняя звезда, *ясная, мелодичная, возвещающая о небесах и дарующая мир*^[93], это было в те мгновения, когда имя ее тихо произносилось устами, на которых еще дрожали гнусные, срамные слова и похотливая сладость развратного поцелуя.

Это было странно. Он пытался объяснить себе, как это могло быть. Но сумрак, сгущавшийся в классе, окутал его мысли. Прозвенел звонок. Учитель задал примеры и вышел. Курон рядом со Стивеном фальшиво

затянул:

Мой друг, прекрасный Бомбадос^[94].

Эннис, который выходил из класса, вернулся и объявил:

– За ректором пришел прислужник.

Высокий ученик позади Стивена сказал, потирая руки:

– Вот это повезло! Может проваландаться целый час. Раньше половины третьего он не вернется. А там ты можешь надолго завести его вопросами по катехизису, Дедал.

Стивен, откинувшись на спинку парты и рассеянно водя карандашом по тетрадке, прислушивался к болтовне, которую время от времени Курон прерывал окриками:

– Да тише вы! Нельзя же подымать такой гвалт!

Странно было и то, что ему доставляло какую-то горькую радость проникать в самый корень суровых догматов церкви, проникать в ее темные умолчания только для того, чтобы услышать и глубже почувствовать, что он осужден. Изречение святого Иакова о том, что тот, кто согрешит против одной заповеди, грешит против всех^[95], казалось ему напыщенной фразой, пока он не заглянул во тьму собственной души. Из дурного семени разврата возшли другие смертные грехи: самоуверенная гордость и презрение к другим, алчность к деньгам, за которые можно было купить преступные наслаждения, зависть к тем, кто превосходил его в пороках, и клеветнический ропот против благочестивых, жадная прожорливость, тупая распалюющая злоба, с которой он предавался своим похотливым мечтаниям, трясина духовной и телесной спячки, в которой погрязло все его существо.

Часто, сидя за партой, он спокойно смотрел в суровое пронизательное лицо ректора и развлекался, придумывая каверзные вопросы. Если человек украл в юности фунт стерлингов и приобрел с помощью этого фунта большое состояние, сколько он должен вернуть – только ли украденный фунт с процентами, которые на него росли, или же все состояние? Если крещение совершается мирянином и он окропит водою младенца, прежде чем произнесет соответствующие слова, можно ли считать младенца крещеным? Можно ли считать действительным крещение минеральной водой? Первая заповедь блаженства обещает нищим духом царствие небесное, почему же вторая гласит, что кроткие наследуют землю?^[96] Почему таинство причастия представлено и хлебом и вином, если Иисус

Христос телом и кровью, душою и божеством, присутствует уже в одном хлебе и в одном вине? В маленькой частице, в крошке освященного хлеба полностью присутствуют тело и кровь Христовы или только часть крови и часть тела? Если вино обратится в уксус, а хлеб причастия заплесневеет и рассыплется после освящения, будет ли в них все равно присутствовать Христос как Бог и как человек?

– Идет, идет!

Один из учеников, стороживший у окна, увидел, как ректор вышел из главного здания. Все катехизисы открылись, и все молча уткнулись в книги. Ректор вошел и занял свое место на кафедре. Высокий ученик тихонько подтолкнул Стивена сзади, чтобы он задал ректору какой-нибудь трудный вопрос.

Но ректор не попросил дать ему катехизис и не начал спрашивать урок. Он сложил руки на столе и сказал:

– В среду мы начнем духовные упражнения в честь святого Франциска Ксаверия, память которого мы празднуем в субботу. Духовные упражнения будут продолжаться со среды до пятницы. В пятницу, после дневной молитвы, исповедь будет продолжаться до вечера. Тем из учащих, у кого есть свой духовник, я советую не менять его. В субботу в девять часов утра будет обедня и общее причастие для всего колледжа. В субботу занятий нет. Суббота и воскресенье – праздники, но из этого вовсе не следует, что понедельник – тоже праздник. Прошу вас, не впадайте в это заблуждение. Мне кажется, Лоулесс^[97], вы склонны впасть в подобное заблуждение.

– Я, сэр? Почему, сэр?

Легкая волна сдержанного смеха пробежала по классу от суровой улыбки ректора. Сердце Стивена начало медленно съеживаться и замирать, как поникший цветок.

Ректор продолжал таким же серьезным тоном:

– Всем вам, я полагаю, известна история жизни святого Франциска Ксаверия, патрона нашего колледжа. Святой Франциск происходил из старинного испанского рода и, как вы, конечно, помните, был одним из первых последователей святого Игнатия. Они встретились в Париже, где Франциск Ксаверий преподавал философию в университете. Этот блестящий молодой дворянин, ученый, писатель, прочувствовал всем сердцем учение великого основателя нашего ордена и, как должно быть вам известно, согласно своему желанию был послан святым Игнатием проповедовать слово Божие индусам. Его ведь называют апостолом Индии. Он изъездил весь Восток: из Африки в Индию, из Индии в Японию, обращая язычников в христианство. За один месяц окрестил десять тысяч

идолопоклонников. Потерял способность владеть правой рукой, оттого что ему беспрестанно приходилось поднимать ее над головой тех, кого он крестил. Потом он намеревался отправиться в Китай, чтобы завоевать еще новые души для Господа, но умер от лихорадки на острове Саньцзян. Великий святой Франциск Ксаверий! Великий воин Господен!

Ректор помолчал, потом, покачивая перед собой сцепленными руками, продолжал:

– В нем была вера, которая движет горами! Завоевать десять тысяч душ для Господа за единый месяц! Вот истинный победитель, верный девизу нашего ордена: *ad maiorem Dei gloria*! Великая власть у этого святого на небесах, помните это! Власть просить Господа помочь нам в наших несчастьях, власть испросить для нас все, о чем мы молимся, если это пойдет нам на благо, и, превыше всего, власть обрести для нас благодать раскаяния, если мы согрешили. Великий святой, святой Франциск Ксаверий! Великий ловец душ!

Он перестал покачивать руками и, прижав их ко лбу, испытующе обвел своих слушателей взглядом темных суровых глаз.

В тишине и сумраке их темное пламя вспыхивало красноватым блеском. Сердце Стивена сжалось, как цветок пустыни, чувствующий издали приближение самума.

*

– *Во всех делах твоих помни о конце твоём и вовек не согрешишь* – слова, дорогие мои братья во Христе, взятые из книги Экклесиаста, глава седьмая, стих сороковой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь^[98].

Стивен сидел в церкви на первой скамейке. Отец Арнолл сидел за столиком слева от алтаря. Тяжелый плащ спускался у него с плеч, лицо осунулось, и голос был хриплым от насморка. Лицо старого учителя, так неожиданно появившееся перед ним, напомнило Стивену жизнь в Клонгоузе: большие спортивные площадки, толпы мальчиков, очко уборной, маленькое кладбище за главной липовой аллеей, где он мечтал быть похороненным; пламя камина, пляшущее на стене в лазарете, где он лежал больной, грустное лицо брата Майкла. И по мере того, как эти воспоминания всплывали перед ним, душа его снова становилась душой ребенка.

– Мы сегодня собрались, дорогие мои младшие братья во Христе, на один недолгий миг, вдалеке от мирской суеты, чтобы почтить память

одного из величайших святых, апостола Индии и патрона нашего колледжа святого Франциска Ксаверия. Из года в год, дорогие мои, и с таких давних пор, что ни вы, ни я не можем этого помнить, воспитанники колледжа собирались в этой самой церкви для ежегодных говений перед праздником в честь своего патрона. Много времени утекло с тех пор, и многое переменилось. Даже за последние несколько лет уже на ваших глазах произошли перемены. Некоторые из тех, что совсем недавно сидели на этих скамейках, теперь далеко от нас – где-нибудь в знойных тропиках: кто на служебном посту, кто посвятил себя науке, кто путешествует по неизведанным местам отдаленных стран, а кто, может быть, уже призван Господом к иной жизни и держит перед ним ответ. И вот идут годы, неся с собой и дурное и хорошее, а память великого святого по-прежнему чтится воспитанниками колледжа, и говения в течение нескольких дней предшествуют празднику, установленному нашей святой церковью для увековечивания имени и славы одного из достойнейших сынов католической Испании.

– Теперь спросим себя, что же означает *говение* и почему оно считается наиболее душеспасительным для всех тех, кто стремится перед Богом и людьми вести истинно христианскую жизнь? Говение, дорогие мои, – это отрешение на некоторое время от суеты жизни, от повседневной суеты мирской с тем, чтобы проверить состояние нашей совести, поразмыслить о тайнах святой религии и уяснить себе, зачем вы существуете в этом мире. В течение этих немногих дней я постараюсь изложить вам несколько мыслей, касающихся четырех последних вещей. А это, как вы знаете из катехизиса: смерть, Страшный суд, ад и рай. Мы постараемся уразуметь их как можно лучше в течение этих дней, дабы через уразумение обрести вечное благо для душ наших. Запомните, дорогие мои, что мы посланы в этот мир только для одной-единственной цели: исполнить святую волю Божию и спасти нашу бессмертную душу. Все остальное – тлен. Насущно одно – спасение души. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир и потеряет свою бессмертную душу?^[99] Увы, дорогие мои, ничто в этом брэнном мире не может вознаградить нас за такую потерю.

– Поэтому я прошу вас, друзья мои, отложить на эти несколько дней все мысли о мирском, об уроках, развлечениях и честолюбивых надеждах и не думать ни о чем ином, кроме как о состоянии душ ваших. Вряд ли мне следует напоминать вам, что в эти дни говения поведение ваше должно отличаться спокойствием и благочестием и вам следует избегать неподобающих шумных развлечений. Старшие должны следить, чтобы эти

правила не нарушались. И я особенно надеюсь, что префекты и члены братства нашей Пресвятой девы и братства святых ангелов будут подавать достойный пример своим товарищам.

– Постараемся же совершить этот обряд в честь святого Франциска всем сердцем и всем помышлением нашим. И да пребудет благословение Божие с вами в ваших занятиях. Но что прежде всего и важнее всего – пусть эти говения будут для вас тем, на что через несколько лет, когда вы окажетесь очень далеко от этого колледжа и совсем в другой обстановке, вы сможете оглянуться с радостью и благодарностью и возблагодарить Бога за то, что он ниспослал вам возможность заложить первый камень благочестивой, достойной, ревностной христианской жизни. И если среди присутствующих здесь в эту минуту есть бедная душа, которую постигло безмерное несчастье, которая лишилась святой благодати Божьей и впала в тяжкий грех, я горячо уповаю и молюсь, чтобы это говение стало переломом в жизни бедной души. Молю Господа предстательством усердного слуги его, Франциска Ксаверия, привести душу сию к чистосердечному раскаянию, и да удостоится она ныне через причастие святых даров в день святого Франциска вступить в вечный союз с Богом. Для праведного и неправедного, для святого и грешного да будет это говение памятным на всю жизнь.

– Помогите мне, мои дорогие младшие братья во Христе! Помогите мне вашим благочестивым вниманием, вашим собственным усердием, вашим поведением. Изгоните из вашего разума все мирские помышления и думайте только о последних вещах: смерти, Страшном суде, аде и рае. Кто помнит о них, вовек не согрешит, говорит Экклесиаст. Кто помнит о них, у того они всегда перед глазами во всех его делах и помышлениях. Он будет вести праведную жизнь и умрет праведной смертью, веруя и зная, что, если он многим жертвовал в своей земной жизни, ему воздается во сто крат и в тысячу крат в жизни будущей, в царствии без конца, вечным блаженством, друзья мои, коего я желаю вам от всего сердца, всем и каждому, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Возвращаясь домой в толпе притихших товарищей, он чувствовал, как густой туман обволакивает его сознание. В оцепенении чувств он ждал, когда туман рассеется и откроется то, что под ним скрыто. За обедом он ел с угрюмой жадностью, и, когда обед кончился и на столе остались груды сальных тарелок, он встал и подошел к окну, слизывая языком жир во рту и облизывая губы. Итак, он опустился до состояния зверя, который облизывает морду после еды. Это конец; и слабые проблески страха начали пробиваться сквозь туман, окутывающий его сознание. Он прижал лицо к

оконному стеклу и стал смотреть на темневшую улицу. Тени прохожих вырастали там и сям в сером свете. И это была жизнь. Буквы, складываясь в слово «Дублин», тяжело давили ему на мозг, угрюмо отталкивая одна другую с медленным и грубым упорством. Душа плавилась и задыхалась под толщей жира, в тупом страхе падала в зловещую бездну, меж тем как тело, бывшее его телом, бессильное и оскверненное, стояло, ища тускнеющим взглядом, беспомощным, беспокойным, человеческим, какого-то бычьего бога, чтобы уставиться на него.

На следующий день была проповедь о смерти и о Страшном суде, и душа его медленно пробуждалась от вялого отчаяния. Слабые проблески страха обратились в ужас, когда хриплый голос проповедника дохнул смертью на его душу. Он испытал ее агонию. Он чувствовал, как предсмертный холод ползет у него от конечностей к сердцу, предсмертный туман заволакивает глаза, мозговые центры, еще недавно озаренные светом мысли, угасают один за другим, как фонари; капли предсмертного пота выступают на коже; отмирают обессиленные мышцы, язык коснеет, заплетается, немеет, сердце бьется все слабее, слабее, вот оно уже не бьется вовсе, и дыхание, бедное дыхание, бедный беспомощный человеческий дух всхлипывает, прерывается, хрипит и клоочет в горле. Нет спасения! Нет! Он, он сам, его тело, которому он во всем уступал, умирает. В могилу его! Заколотите этот труп в деревянный ящик, несите его вон из дома на плечах наемников. Долой с глаз людских, в глубокую яму, в землю, в могилу, где он будет гнить и кормить червей, где его будут жрать юркие, прожорливые крысы.

И пока друзья его стоят в слезах у его смертного одра, душа грешника предстает перед судом. В последнее мгновение вся земная жизнь пройдет перед взором души, и, прежде чем в душе родится единая мысль, тело умрет, и объятая ужасом душа предстанет перед судом Божиим. Бог, который долго был милосердным, теперь воздает по заслугам. Он долго терпел, увещевал грешную душу, давал ей время раскаяться, щадил и щадил ее. Но это время прошло. Было время грешить и наслаждаться, время издеваться над Богом и заветами Его святой церкви, время презирать Его могущество, попирает Его заповеди, обманывать окружающих, время совершать грех за грехом, и снова грех за грехом, и скрывать свои пороки от людей. Но это время прошло. Настал час Божий: и Бога уже нельзя ни провести, ни обмануть. Каждый грех выступит тогда из своего тайного убежища, самый мятежный в ослушании божественной воли и самый постыдный для жалкой, испорченной человеческой природы, самое малое несовершенство и самая отвратительная жестокость. Что пользы тогда, что

ты был великим императором, великим полководцем, чудесным изобретателем, ученейшим среди ученых. Все равны перед судом Божиим. Он наградит праведных и покарает грешных. Единого мига достаточно, чтобы свершить суд над человеческой душой. В тот самый миг, когда умирает тело, душу взвешивают на весах. Суд совершен, и душа переходит в обитель блаженства или в темницу чистилища, или, стая, низвергается в преисподнюю.

Но это еще не все. Правосудие Божие должно быть явлено людям, и после этого суда предстоит другой суд. Настал последний день, день Страшного суда. Звезды небесные падут на землю, как плоды смоковницы, сотрясаемой ветром. Солнце, великое светило вселенной, станет подобно власнице; луна станет как кровь. Небо скроется, свернувшись, как свиток [\[100\]](#). Архангел Михаил, архистратиг небесного воинства, величественный и грозный, явится в небесах. Одной ногой он ступит на море, другой – на сушу, и медный глас его трубы возвестит конец сущего. Три трубных гласа архангельской трубы наполнят всю вселенную. Время есть, время было, но времени больше не будет. С последним трубным гласом души сего рода человеческого ринутся в Иосафатову долину [\[101\]](#), богатые и бедные, благородные и простые, мудрые и глупые, добрые и злые. Душа каждого человеческого существа, когда-либо жившего, души тех, кому надлежало родиться, все сыновья и дочери Адама – все соберутся в этот великий день. И вот грядет высший судия! Не смиренный Агнец Божий, не кроткий Иисус из Назарета, не скорбный Сын Человеческий, не Добрый Пастырь. Его увидят грядущим на облаках в великой силе и славе, и все девять чинов ангельских явятся в свите его: ангелы и архангелы, начала, власти и силы, престолы и господства, херувимы и серафимы [\[102\]](#) – Бог-вседержитель, Бог предвечный! Он заговорит, и голос Его дойдет во все концы вселенной до самой бездны преисподней. Высший судия, Он изречет приговор, и уже не будет иного. Он призовет праведных одесную Себя и скажет им войти в царство вечного блаженства, уготованное для них. Неправедных же прогонит прочь, и воскликнет в великом гневе: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» [\[103\]](#). О, какая мука для несчастных грешников! Друзья будут оторваны от друзей, дети от родителей, мужья от жен. Несчастный грешник будет простирать руки к тем, кто был дорог ему в этой земной жизни, к тем, чья простота и благочестие вызывали в нем, может быть, насмешку, к тем, кто увещевал его и старался вернуть на праведный путь, к доброму брату, к милой сестре, к матери и отцу, которые так беззаветно любили его. Но поздно! Праведные

отвернутся от погибших, осужденных душ, которые теперь предстанут пред их очами во всей своей отвратительной мерзости. О, вы, лицемеры, вы, гробы повапленные! Вы, являвшие миру сладко улыбающийся лик, тогда как душа ваша есть зловонное скопище греха, – что станет с вами в этот грозный день?

А этот день придет, придет неминуемо, должен прийти – день смерти, день Страшного суда. Удел человека – умереть и после смерти предстать перед судом Божиим. Мы знаем, что мы должны умереть. Мы не знаем, когда и как, от долгой ли болезни или от несчастного случая. Не ведаем ни дня, ни часа, когда приидет Сын Божий. Будьте готовы, помните, что вы можете умереть каждую минуту. Смерть – наш общий удел. Смерть и суд, принесенные в мир грехом наших прародителей, – темные врата, закрывающиеся за нашим земным существованием, врата, которые открываются в неведомое, врата, через которые должна пройти каждая душа, одна, лишенная всякой опоры, кроме своих добрых дел, без друга, брата, родителя или наставника, которые могли бы помочь ей, одна, трепещущая душа^[104]. Да пребудет мысль эта всегда с нами, и тогда мы не сможем грешить. Смерть, источник ужаса для грешника, – благословенная минута для того, кто шел путем праведным, исполнял долг, предназначенный ему в жизни, возносил утренние и вечерние молитвы, приобщался святых тайн почасту и творил добрые милосердные дела. Для набожного, верующего католика, для праведного человека смерть не может быть источником ужаса. Вспомните, как Аддисон, великий английский писатель, лежа на смертном одре, послал за порочным молодым графом Уорвиком, дабы дать ему возможность увидеть, как приемлет свой конец христианин^[105]. Да, только набожный, верующий католик, он один может воскликнуть в своем сердце:

Смерть! Где твое жало?

Ад! Где твоя победа?^[106]

Каждое слово этой проповеди было обращено к нему. Против его греха, мерзостного, тайного, направлен был гнев Божий. Нож проповедника нащупал самую глубину его раскрывшейся совести, и он почувствовал, что душа его – гнойник греха. Да, проповедник прав! Божий час настал. Как зверь в берлоге, его душа зарылась в собственной мерзости, но глас ангельской трубы вызвал ее на свет из греховной тьмы. Весть о

Страшном суде, провозглашенная архангелом, разрушила в единый миг самонадеянное спокойствие. Вихрь последнего дня ворвался в сознание. И грехи, эти блудницы с горящими глазами, бросились врассыпную от этого урагана, пища, как мыши, и прикрываясь космами волос.

Когда он переходил площадь по дороге домой, звонкий девичий смех коснулся его пылающих ушей. Этот хрупкий радостный звук смутил его сердце сильнее, чем архангельская труба; не смея поднять глаза, он отвернулся и, проходя мимо, глянул в тень разросшегося кустарника. Стыд хлынул волной из его смятенного сердца и затопил все его существо. Образ Эммы возник перед ним, и под ее взглядом стыд новой волной хлынул из его сердца. Если бы она только знала, чему она подвергалась в его воображении, как его животная похоть терзала и топтала ее невинность! Это ли юношеская любовь? Рыцарство? Поэзия? Мерзкие подробности падения душили его своим зловонием. Пачка открыток, измазанных сажей, которые он прятал под решеткой камина и перед которыми часами грешил мыслью и делом, глядя на откровенные или притворно стыдливые сцены разврата; чудовищные сны, населенные обезьяноподобными существами; девки со сверкающими распаленными глазами, длинные гнусные письма, которые он писал, упиваясь своими откровенными излияниями, и носил тайком при себе день за днем только затем, чтобы незаметно в темноте подбросить их в траву или засунуть под дверь или в щель забора, где какая-нибудь девушка, проходя, могла бы увидеть их и прочесть потихоньку. Какое безумие! Неужели это правда и он все это делал? От постыдных воспоминаний, которые теснились в памяти, холодный пот проступил у него на лбу.

Когда муки стыда утихли, он попытался поднять свою душу из ее жалкой немощи. Бог и Пресвятая Дева были слишком далеко от него. Бог слишком велик и суров, а Пресвятая Дева слишком чиста и непорочна. Но он представил себе, что стоит рядом с Эммой где-то в бескрайней равнине и смиренно, в слезах склоняется и целует ее рукав на сгибе локтя.

В бескрайней равнине, под нежным прозрачным вечерним небом, где облако плывет на запад по бледно-зеленому морю небес, они стоят рядом – дети, заблудшие во грехе. Своим грехом они глубоко прогневили величие Божие, хотя это был всего только грех двоих детей, но они не прогневили ее, *чья красота не красота земная, опасная для взора, но подобна утренней звезде – ее знамени, ясна и мелодична*^[107]. Глаза ее, устремленные на него, смотрят без гнева и без укоризны. Она соединяет их руки и говорит, обращаясь к их сердцам:

– Возьмитесь за руки, Стивен и Эмма, в небесах сейчас тихий вечер.

Вы согрешили, но ведь вы – мои дети. Вот сердце, которое любит другое сердце. Возьмитесь за руки, дорогие мои дети, и вы будете счастливы вместе, и сердца ваши будут любить друг друга.

Церковь была залита тусклым, багровым светом, проникавшим сквозь опущенные жалюзи, а в узкую щель между жалюзи и оконной рамой луч бледного света врывается, как копье, и скользил по рельефным украшениям подсвечников на алтаре, которые тускло поблескивали, подобно броне ангельских доспехов, изношенных в бою.

Дождь лил на церковь, на сад, на колледж. Дождь будет идти беззвучно, непрерывно. Вода будет подниматься дюйм за дюймом, затопит траву и кусты, затопит дома и деревья, затопит памятники и вершины гор. Все живое беззвучно захлебнется: птицы, люди, слоны, свиньи, дети; беззвучно будут плыть тела посреди груд обломков рушащейся вселенной. Сорок дней и сорок ночей будет лить дождь, пока лицо земли не скроется под водой.

Ведь это может быть. А почему нет?

– *Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою.* Слова, дорогие мои братья во Христе, из книги пророка Исайи, глава пятая, четырнадцатый стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Проповедник достал часы без цепочки из внутреннего кармана сутаны и, молча посмотрев на циферблат, бесшумно положил их перед собой на стол.

Он начал ровным голосом:

– Вы знаете, дорогие мои друзья, что Адам и Ева – наши прародители, и вы помните, что Бог сотворил их, дабы они заняли место, опустевшее на небесах после падения Люцифера и восставших с ним ангелов^[108]. Люцифер, как мы знаем, был сын зари, светлый, могущественный ангел, и все же он пал. Он пал, а с ним пала треть небесного воинства, он пал и вместе со своими восставшими ангелами был низвергнут в ад. Какой грех совершил он, мы не знаем. Богословы утверждают, что это был грех гордыни, греховный помысел, зачатый в одно мгновение: *non serviam – не буду служить*. Это мгновение было его гибелью. Он оскорбил величие Господа грешным помыслом одного мгновения, и Господь низринул его с неба в преисподнюю на веки вечные!

– Тогда Господь сотворил Адама и Еву и поселил их в Эдеме, в Дамасской долине, в этом чудесном, сияющем светом и красками саду, изобилующем роскошной растительностью. Плодородная земля оделяла их своими дарами; звери и птицы служили и повиновались им. Неведомы были Адаму и Еве страдания, которые унаследовала наша плоть, – болезни,

нужда, смерть. Все, что мог сделать для них всемогущий и милостивый Бог, – все было им дано. Но одно условие поставил Господь Бог – повиновение Его слову. Они не должны были вкушать плоды от запретного древа.

– Увы, дорогие друзья мои, они тоже пали. Сатана, когда-то сияющий ангел, сын зари, ныне лукавый враг, явился им во образе змея, хитрейшего из всех зверей полевых^[109]. Он завидовал им. Низвергнутый с высоты величия своего, он не мог перенести мысли, что человек, созданный из глины, получит в обладание то, что он по собственной вине утратил навеки. Он пришел к жене, сосуду слабейшему, и, влив яд своего красноречия ей в уши, обещал, – о, святотатственное обещание! – что, если она и Адам вкусят запретного плода, они станут как боги, подобны Самому Создателю. Ева поддалась обману первоискусителя. Она вкусила от яблока и дала его Адаму, у которого не хватило мужества устоять против нее. Ядовитый язык сатаны сделал свое дело. Они пали.

– И тогда в саду раздался глас Божий, призывающий свое творение, человека, к ответу. И Михаил, архистратиг небесного воинства, с огненным мечом в руке, явился перед преступной четой и изгнал их из рая в мир, в мир болезней и нужды, жестокости и отчаяния, труда и лишений, дабы в поте лица добывали они хлеб свой. Но даже и тогда сколь милосерден был Господь! Он сжалился над нашими несчастными падшими прародителями и обещал, что, когда исполнится час, Он пошлет с небес на землю Того, кто искупит их, сделает их снова чадами Божьими, наследниками царства небесного: и тем Искупителем падшего человека будет едиnorodный Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, Вечное Слово.

– Он пришел. Он родился от пречистой девы Марии, девы-матери. Он родился в бедном хлеве в Иудее и жил смиренным плотником до тридцати лет, пока не наступил час Его. Тогда, преисполненный любви к людям, Он пошел проповедовать им Евангелие царства Божия.

– Слушали ли они Его? Да, слушали, но не слышали. Его схватили и связали как обыкновенного преступника, насмеялись над Ним как над безумцем, предпочли помиловать вместо Него разбойника, убийцу: нанесли Ему пять тысяч ударов, возложили на Его главу терновый венец; иудейская чернь и римские солдаты волокли Его по улицам, сорвали с Него одежды, пригвоздили к кресту, пронзили Ему ребро копьем, и из раненого тела нашего Господа потекла кровь с водой.

– Но даже тогда, в час величайших мучений, наш Милосердный Искупитель сжалился над родом человеческим. Но даже там, на Голгофе, Он основал святую католическую церковь, которую по Его обетованию не

одолеют врата ада. Он воздвиг ее на вековечной скале и наделил ее Своею благодатью, таинством святого причастия и обещал, что если люди будут послушны слову Его церкви, они обрящут жизнь вечную, но если после всего того, что для них сделано, они будут упорствовать в своих пороках – их уделом будет вечное мучение: ад.

Голос проповедника замер. Он замолчал, сложил на мгновение ладони, потом разнял их. И заговорил снова:

– Теперь попробуем на минуту представить себе, насколько это в наших силах, что являет собой эта обитель отверженных, созданная правосудием разгневанного Бога для вечной кары грешников. Ад – это тесная, мрачная, смрадная темница, обитель дьяволов и погибших душ, охваченная пламенем и дымом. Бог создал эту темницу тесной в наказание тем, кто не желал подчиниться Его законам. В земных тюрьмах бедному узнику остается, по крайней мере, свобода движений, будь то в четырех стенах камеры или в мрачном тюремном дворе. Совсем не то в преисподней. Там такое огромное скопище осужденных, что узники стиснуты в этой ужасной темнице, толщина стен коей достигает четырех тысяч миль, и они стиснуты так крепко и так беспомощны, что, как говорит блаженный святой, святой Ансельм, в книге о подобиях, они даже не могут вынуть червей, гложащих их глаза^[110].

– Они лежат во тьме внешней^[111]. Ибо, не забудьте, огонь преисподней не дает света. Как, по велению Божию, огонь печи Вавилонской потерял свой жар^[112], сохранив свет, так, по велению Божию, огонь преисподней, сохраняя всю силу жара, пылает в вечной тьме. Это вечно свирепствующая буря тьмы, темного пламени и темного дыма, горячей серы, где тела, нагроможденные друг на друга, лишены малейшего доступа воздуха. Из всех кар, которыми поразил Господь землю Фараонову, поистине ужаснейшей считалась тьма. Как же тогда определить тьму преисподней, которая будет длиться не три дня, но веки вечные?

– Ужас этой тесной и темной тюрьмы усиливается еще от ее чудовищного смрада. Сказано, что вся грязь земная, все нечистоты и отбросы мира устремятся туда, словно в огромную сточную яму, когда истребляющий огонь последнего дня зажжет мир своим очистительным пламенем. А чудовищная масса серы, горящая там, наполняет всю преисподнюю невыносимым смрадом, и самые тела осужденных распространяют такое ядовитое зловоние, что даже единого из них, говорит святой Бонавентура^[113], достаточно для того, чтобы отравить весь мир. Самый воздух нашей вселенной, эта чистейшая стихия, становится

смердным и удушливым, когда слишком долго нет в нем движения. Представьте себе, какой должен быть смрад в преисподней! Вообразите себе зловонный и разложившийся труп, который лежит и гниет в могиле, превращаясь в липкую, гнойную жижу. И представьте себе, что этот труп становится добычей пламени, пожираемый огнем горячей серы и распространяющий кругом густой, удушливый, омерзительно тошнотворный смрад. Вообразите себе этот омерзительный смрад, усиленный в миллионы миллионов раз несчетным количеством зловонных трупов, скученных в смердной тьме, – огромный смердный человеческий гнойник. Вообразите себе все это, и вы получите некоторое представление о смраде преисподней.

– Но как ни ужасен этот смрад, это еще не самая тяжкая из телесных мук, на которую обречены осужденные. Пытка огнем – величайшая пытка, которой тираны подвергали своих подданных. Поднесите на одно мгновение палец к пламени свечи – и вы поймете, что значит пытка огнем. Но наш земной огонь создан Богом на благо человеку, для поддержания в нем искры жизни и на помощь ему в трудах его, тогда как огонь преисподней совсем другого свойства и создан Богом для мучения и кары нераскаявшихся грешников. Наш земной огонь сравнительно быстро пожирает свою жертву, особенно если предмет, на который он направлен, обладает высокой степенью горючести. И человек с его изобретательностью сумел создать химические средства, способные ослабить или задержать процесс горения. Но ядовитая сера, которая горит в преисподней, – вещество, предназначенное для того, чтобы гореть вечно, гореть с неослабевающей яростью. Более того, наш земной огонь, сжигая, разрушает, и чем сильнее он горит, тем скорее затихает, но огонь преисподней жжет не истребляя, и, хотя он пылает с неистовой силой, он пылает вечно.

– Наш земной огонь, как бы огромно и свирепо ни было его пламя, всегда имеет пределы, но огненное озеро преисподней безгранично, безбрежно и бездонно. Известно, что сам сатана на вопрос некоего воина ответил, что, если бы целую громадную гору низвергли в пылающий океан преисподней, она сгорела бы в одно мгновение, как капля воска. И этот чудовищный огонь терзает тела осужденных не только извне! Каждая обреченная душа превращается в свой собственный ад, и необъятное пламя бушует в ее недрах. О, как ужасен удел этих погибших созданий! Кровь кипит и клокочет в венах, плавится мозг в черепе, сердце пылает и разрывается в груди; внутренности – докрасна раскаленная масса горячей плоти, глаза, эта нежная ткань, пылают как расплавленные ядра.

– Но все, что я говорил о ярости, свойствах и беспредельности этого пламени, – ничто по сравнению с мощью, присущей ему как орудию божественной воли, карающей душу и тело. Этот огонь, порожденный гневом Божиим, действует не сам по себе, но как орудие божественного возмездия. Как вода крещения очищает душу вместе с телом, так и карающий огонь истязает дух вместе с плотью. Каждое из чувств телесных подвергается мучениям, и вместе с ними страдает и душа. Зрение казнится абсолютной непроницаемой тьмой, обоняние – гнуснейшим смрадом, слух – воем, стенаниями и проклятиями, вкус – зловонной, трупной гнилью, неопишуемой зловонной грязью, осязание – раскаленными гвоздями и прутьями, беспощадными языками пламени. И среди всех этих мучений плоти бессмертная душа в самом естестве своем подвергается вечному мучению неисчислимыми языками пламени, зажженного в пропасти разгневанным величием Всемогущего Бога и раздуваемого гневом Его дыхания в вечно разъяренное, в вечно усиливающееся пламя.

– Вспомните также, что мучения в этой адской темнице усиливаются соседством других осужденных. Близость зла на земле столь опасна, что даже растения как бы инстинктивно растут поодаль от того, что для них губительно и вредно. В аду все законы нарушены, там нет понятия семьи, родины, дружеских, родственных отношений. Осужденные воют и вопят, и мучения и ярость их усугубляются близостью других осужденных, которые, подобно им, испытывают мучения и неистовствуют. Всякое чувство человечности предано забвению, вопли страждущих грешников проникают в отдаленнейшие углы необъятной бездны. С уст осужденных срываются слова хулы против Бога, слова ненависти к окружающим их грешникам, проклятий против всех сообщников по греху. В древние времена существовал закон, по которому отцеубийцу, человека, поднявшего преступную руку на отца, зашивали в мешок с петухом, обезьяной и змеей и бросали в море. Смысл этого закона, кажущегося нам таким жестоким, в том, чтобы покарать преступника соседством злобных, вредоносных тварей. Но что ярость бессловесных тварей по сравнению с яростью проклятий, которые извергаются из пересохших ртов и горящих глоток, когда грешники в преисподней узнают в других страдальцах тех, кто помогал им и поощрял их во грехе, тех, чьи слова заронили в их сознание первые семена дурных мыслей и дурных поступков, тех, чьи бесстыдные наущения привели их ко греху, тех, чьи глаза соблазнили и совращали их со стези добродетели, и тогда они обращают всю ярость на своих сообщников, поносят и проклинаят их. Но неоткуда ждать им помощи, и нет для них надежды. Раскаиваться поздно.

– И наконец представьте себе, какие ужасные мучения доставляет погибшим душам – и соблазнительям и соблазненным – соседство с бесами. Бесы эти мучают осужденных вдвойне: своим присутствием и своими упреками. Мы не в состоянии представить себе, как ужасны эти бесы. Святая Екатерина Сиенская, которая однажды видела беса, пишет, что предпочла бы до конца своей жизни идти по раскаленным угольям, нежели взглянуть еще один-единственный раз на это страшное чудовище. Бесы эти, некогда прекрасные ангелы, сделались столь же уродливы и мерзки, сколь прежде были прекрасны. Они издеваются и глумятся над погибшими душами, которых сами же увлекли к гибели. И они, эти гнусные демоны, заменяют в преисподней голос совести. Зачем ты грешил? Зачем внимал соблазну друзей? Зачем уклонялся от благочестивой жизни и добрых дел? Зачем не сторонился греха? Зачем не избегал дурного знакомства? Зачем не боролся со своим распутством, со своей развращенностью? Зачем не слушал советов духовного отца? Зачем, согрешив в первый, во второй, в третий, в четвертый и в сотый раз, ты не раскаялся в своих дурных поступках и не обратился к Богу, который только и ждал раскаяния, чтобы отпустить тебе грехи? Но теперь время раскаяния прошло. Время есть, время было, но больше времени не будет. Было время грешить тайком, предаваться гордыне и лени, наслаждаться беззаконием, уступать прихотям своей изменной природы, жить, подобно зверям полевым, нет, хуже их! Потому что у тех, по крайней мере, нет разума, который направлял бы их. Было время, но больше времени не будет. Бог говорил с тобой бесчисленными голосами, но ты не хотел слушать. Ты не одолел гордыни и злобы в сердце своем, не возвратил добро, в беззаконии нажитое, не повиновался заветам святой церкви, пренебрегал обрядами, не расстался с бесчестными сообщниками, не избегал соблазнов. Таковы речи этих дьявольских мучителей, речи глумления и упреков, ненависти и отвращения. Да, отвращения, потому что даже они, сами бесы, согрешившие, но согрешившие грехом, единственно совместимым с их ангельской природой – бунтом разума, – даже они, мерзкие бесы, отвернутся с отвращением и гадливостью от зрелища этих неслыханных грехов, которыми жалкий человек оскверняет и оскорбляет храм Духа Святого, оскверняет и бесчестит самого себя.

– О, дорогие мои младшие братья во Христе, да минует нас вовеки страшный удел слышать речи сии! Да минует нас вовеки сей страшный удел. Я горячо молю Господа, чтобы в последний день страшной расплаты ни единая душа из тех, что присутствует ныне в этом храме, не оказалась среди несчастных созданий, которым Великий Судия повелит скрыться от

очей его, чтобы ни для одного из нас не прозвучал страшный приговор отвержения: *Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!*

Он вышел из придела церкви, ноги подкашивались; кожа на голове холодела, словно ее коснулись пальцы призрака. Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, на стенах которого висели пальто и макинтоши, как преданные казни злодеи – безглавые, истекающие кровью, бесформенные. И с каждым шагом его все сильнее охватывал ужас, что он уже умер, что душа его вырвалась из своей телесной оболочки и что он стремглав несется в бездну.

Пол ускользал у него из-под ног, и он тяжело опустился за парту, не глядя открыл какую-то книгу и уткнулся в нее. Каждое слово – о нем. Да, это так. Бог – всемогущ. Бог может призвать его сию минуту, вот сейчас, когда он сидит за партой, прежде чем он успеет осознать, что это конец. Бог уже призвал его. Как? Так, сразу? Все тело его сжалось, словно чувствуя приближение жадных языков пламени, скорчилось, словно его опалил огненный вихрь. Он умер. Да. Его судят. Огненная волна взметнулась и опалила его тело! Одна, другая. Мозг начал раскаляться. Еще волна. Мозг закипает, бурлит в раскаляющейся коробке черепа. Языки пламени вырываются из черепа огненным венцом и взывают тысячью голосов:

– Ад! ад! ад! ад!

Голоса раздались около него:

– Он говорил об аде.

– Ну что? Все он вам втолковал?

– Еще как. Чуть со страха не умерли.

– С вами только так и надо. Не мешало бы почаще вас наставлять, тогда, может, учиться будете лучше.

В изнеможении он откинулся на спинку парты. Он не умер. Бог пощадил его и на этот раз. Он все еще был в обычной обстановке, в школе. У окна, глядя на нудный дождь, стоят мистер Тейт и Винсент Курон: разговаривают, шутят, кивают головами.

– Хоть бы разгулялось. Я договорился с приятелем прокатиться на велосипеде к Малахайду. Но на дорогах, верно, грязь по колено.

– Может быть, еще разгуляется, сэр.

Такие знакомые голоса, обыденные разговоры, тишина классной, когда голоса замолкли, молчание, наполненное чавканьем спокойно пасущегося стада, – мальчики мирно жевали свои завтраки. Все это успокаивало его истерзанную душу.

Еще есть время. О, дева Мария, прибежище грешников, заступись! О,

Дева Непорочная, спаси от пучины смерти!

Урок английского начался беседой на историческую тему.

Короли, фавориты, интриганы, епископы, словно безмолвные призраки, проходили под покровом имен. Все они умерли, и все были судимы. Какая польза человеку приобрести мир, если он потерял свою душу? Наконец он понял: жизнь человеческая лежала вокруг него, как мирная долина, на которой трудились люди-муравьи, а их мертвые покоились под могильными холмами. Локоть соседа по парте коснулся его, и он словно почувствовал толчок в сердце. И, отвечая на вопрос учителя, услышал свой собственный голос, проникнутый спокойствием смирения и раскаяния.

Его душа погружалась все глубже в покаянный покой, не в силах более переносить мучений страха, и, погружаясь, возносила робкую молитву. О да, он будет помилован: он раскается в сердце своем и будет прощен, и тогда там, над ним, на небесах, увидят, как он искупит свое прошлое. Всей жизнью, каждым часом ее! О, только дайте время!

– Всем, Господи! Всем, всем!

Кто-то приоткрыл дверь и сказал, что исповедь в церкви уже началась. Четверо мальчиков вышли из класса, и он слышал, как другие проходили по коридору. Трепетный холодок полоснул сердце, едва ощутимый, как легкое дуновение ветра. Но, молча прислушиваясь и страдая, он испытывал такое чувство, словно приложил ухо к сердцу и ощутил, как оно сжимается и замирает, как содрогаются его сосуды.

Другого выхода нет. Он должен исповедаться, рассказать все, что делал и думал, обо всех грехах. Но как? Как?

– Отец, я...

Исповедь! Эта мысль холодным, сверкающим клинком вонзалась в его слабую плоть. Но только не здесь, не в школьной церкви. Он исповедуется во всем, в каждом грехе деяния и помысла, покается чистосердечно, но только не здесь – среди товарищей. Подальше отсюда, где-нибудь в глухом закоулке он выбормочет свой позор; и он смиренно молил Бога не гневаться на него за то, что у него не хватает смелости исповедаться в школьной церкви, и в полном самоуничтожении мысленно просил прощения, взывая к отроческим сердцам своих товарищей.

А время шло.

Он снова сидел в первом ряду в церкви. Дневной свет за окном медленно угасал, солнце, проникавшее сквозь выгоревшие красные занавеси, казалось солнцем последнего дня, когда души всех созываются на Страшный суд.

– *Отвержен я от очей Твоих* – слова, дорогие мои младшие братья во Христе, из псалма 30-го, стих 23-й. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Проповедник говорил спокойным, приветливым голосом. Лицо у него было доброе, он сложил руки, мягко сомкнув кончики пальцев, и это было похоже на маленькую хрупкую клетку.

– Сегодня утром мы беседовали с вами об аде, пытались представить его или, как говорит святой основатель нашего ордена в своей книге духовных упражнений, достичь воображения места. Иными словами, мы постарались вообразить чувственной стороной нашего разума, нашим воображением, материальную природу этой страшной темницы и физические страдания, коим подвергаются все, кто пребывает в аду. Сейчас мы попытаемся осмыслить природу духовных мучений ада.

– Помните, что грех – двойное преступление. С одной стороны, это гнусное поощрение низменных инстинктов нашей греховной природы, склонной ко всему скотскому и подлому, а с другой – это ослушание голоса нашей высшей природы, всего чистого и святого в нас, ослушание Самого Святого Создателя. Поэтому смертный грех карается в преисподней двумя различными видами кары: физической и духовной.

– Так вот, самая страшная из всех духовных мук – мука утраты. Она настолько велика, что превосходит все другие. Святой Фома, величайший учитель церкви, прозванный ангельским доктором, говорит, что самое страшное проклятие состоит в том, что человеческое разумение лишается божественного света и помыслы его упорно отверщаются от благодати Божией. Помните, что Бог – бесконечно благое бытие и потому утрата такого бытия – лишение бесконечно мучительное. В этой жизни мы не можем ясно представить себе, что значит такая утрата, но осужденные в преисподней в довершение своих страданий полностью осознают то, чего они навек лишились, и знают, что в этом виноваты лишь они одни. В самое мгновение смерти распадаются узы плоти, и душа тотчас же устремляется к Богу, к средоточию своего бытия. Запомните, дорогие друзья мои, души наши жаждут воссоединиться с Богом. Мы исходим от Бога, живем Богом, мы принадлежим Богу; принадлежим Ему неотъемлемо. Бог любит божественной любовью каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живет в этой любви. И как же может быть иначе? Каждый вздох, каждый помысел, каждое мгновение нашей жизни исходит от неистощимой благодати Божьей. И если тяжело матери разлучаться с младенцем, человеку – быть оторгнутым от семьи и дома, другу – оторваться от друга, подумайте только, какая мука, какое страдание для

бедной души лишиться присутствия бесконечно благого и любящего Создателя, Который из ничего вызвал эту душу к бытию, поддерживая ее в жизни, любил ее беспредельной любовью. Итак, быть отлученным навеки от высшего блага, от Бога, испытывать муку этого отлучения, сознавая, что так будет всегда, – величайшая утрата, какую способна перенести сотворенная душа, – роена damni – мука утраты.

– Вторая кара, которой подвергаются души осужденных в аду, – муки совести. Как в мертвом теле зарождаются от гниения черви, так в душах грешников от гниения греха возникают нескончаемые угрызения, жало совести^[114], или, как называет его папа Иннокентий III, червь с тройным жалом. Первое жало, которым уязвляет этот жестокий червь, – воспоминание о минувших радостях. О, какое ужасное воспоминание! В море всепожирающего пламени гордый король вспомнит пышное величие своего двора; мудрый, но порочный человек – книги и приборы; ценитель искусств – картины, статуи и прочие сокровища; тот, кто наслаждался изысканным столом, – роскошные пиры, искусно приготовленные яства, тонкие вина; скупец вспомнит свои сундуки с золотом; грабитель – несправедливо приобретенное богатство; злобные, мстительные, жестокие убийцы – свои кровавые деяния и злодейства; сластолюбцы и прелюбодеи – постыдные, гнусные наслаждения, которым они предавались. Они вспомнят все это и проклянут себя и свои грехи. Ибо сколь жалкими покажутся все эти наслаждения душе, обреченной на страдания в адском пламени на веки вечные! Какое бешенство и ярость охватит их при мысли, что они променяли небесное блаженство на прах земной, на горсть металла, на суетные почести, на плотские удовольствия, на минутное щекотание нервов! Они раскаются, и в этом раскаянии – второе жало червя совести, запоздалое, тщетное сокрушение о содеянных грехах. Божественное правосудие считает необходимым, чтобы разум этих отверженных был непрестанно сосредоточен на совершенных ими грехах, и, более того, как утверждает святой Августин, Бог даст им Свое собственное понимание греха, и грех предстанет перед ними во всей чудовищной гнусности таким, каким предстает он перед очами Господа Бога. Они увидят свои грехи во всей их мерзости и раскаются, но слишком поздно. И тогда пожалеют о возможностях, которыми пренебрегли. И это последнее, самое язвительное и жестокое жало червя совести. Совесть скажет: у тебя было время и была возможность, но ты не каялся. В благочестии воспитывали тебя родители. Тебе в помощь были даны святые таинства, божья благодать и индульгенции. Служитель Божий был рядом с тобой, дабы наставлять, направлять тебя на путь истинный, отпускать грехи

твои, сколько бы их ни было и как бы они ни были мерзостны, лишь бы ты только исповедался и раскаялся. Нет. Ты не хотел этого. Ты пренебрег служителями святой церкви, ты уклонялся от исповеди, ты погрязал все глубже и глубже в мерзости греха. Бог взывал к тебе, предупреждал тебя, призывал вернуться к Нему. О, какой позор, какое горе! Владыка вселенной умолял тебя, творение из глины, любить Его, вдохнувшего в тебя жизнь, повиноваться Его законам. Нет! Ты не хотел этого. А теперь, если бы ты еще мог плакать и затопил бы ад своими слезами, все равно весь этот океан раскаяния не даст того, что дала бы одна-единственная слеза искреннего покаяния, пролитая в твоей земной жизни. Ты молишь теперь об одном-единственном мгновении земной жизни, дабы покаяться. Напрасно. Время прошло и прошло навеки.

– Таково тройное жало совести, этого червя, который гложет сердце грешников в аду. Охваченные адской злобой, они проклинают себя, и свое безумие, и дурных сообщников, увлекавших их к гибели, проклинают дьяволов, искушавших их в жизни, а теперь, в вечности, издевающихся над ними, хулят и проклинают Самого Всевышнего, Чье милосердие и терпение они презрели и осмеяли, но Чьего правосудия и власти им не избежать.

– Следующая духовная пытка, которой подвергаются осужденные в аду, – это мука неизбежности страданий. Человек в своей земной жизни способен творить злые дела, но он не способен творить их все сразу, ибо часто одно зло мешает и противодействует другому, подобно тому как один яд часто служит противоядием другому. В аду же, наоборот, одно мучение не только не противодействует другому, а усугубляет его. И мало этого: так как духовные наши качества более совершенны, нежели наши телесные ощущения, они сильнее подвержены страданиям. Так, каждое свойство души, подобно ощущению, подвергается своей особой муке: воображение терзается чудовищными кошмарами, способность чувствовать – попеременно отчаянием и яростью, сознание и разум – внутренним беспросветным мраком, более ужасным, нежели мрак внешний, царящий в этой страшной темнице. Злоба, пусть бессильная, которой одержимы падшие души, – это злоба, не имеющая границ, длящаяся без конца, никогда не убывающая. Это чудовищное состояние мерзости даже представить себе нельзя, если только не осознать всю гнусность греха и отвращение, которое питает к нему Всевышний.

Наряду с этой мукой неизбежности страданий существует, казалось бы, противоположная ей мука напряженности страдания. Ад – это средоточие зла, а как вам известно, чем ближе к центру, тем сильнее

напряжение. Никакая посторонняя или противодействующая сила не ослабляет, не утоляет ни на йоту страданий в преисподней. И даже то, что само по себе есть добро, в аду становится злом. Общение, источник утешений для несчастных на земле, там будет нескончаемой пыткой; знание, к коему обычно жадно стремятся как к высшему благу разума, там будет ненавистней, чем невежество; свет, к коему тянутся все твари – от царя природы до ничтожной травинки в лесу, – там вызывает жгучую ненависть. В земной жизни наши страдания не бывают чрезмерно длительны или чрезмерно велики, потому что человек либо преодолевает их силой привычки, либо изнемогает под их тяжестью, и тогда им наступает конец. Но к страданиям в аду нельзя привыкнуть, потому что, при всем их чудовищном напряжении, они в то же время необычайно многообразны: одна мука как бы воспламеняется от другой и, вспыхивая, присоединяет к ее пламени еще более яростное пламя. И как бы ни изнемогали грешники от этих многообразных неизбывных мучений, их изнеможению нет конца, ибо душа грешника сохраняется и пребывает во зле, дабы увеличить страдания. Неизбывность мук, беспредельная напряженность пыток, бесконечная смена страданий – вот чего требует оскорбленное величие Божие, вот чего требует святыня небес, отринутая ради порочного и гнусного потворства развращенной плоти, вот к чему взывает кровь невинного Агнца Божия, пролитая во искупление грешников, попранная мерзейшими из мерзких.

– Но последнее, тягчайшее из всех мучений преисподней – это ее вечность. Вечность! Какое пугающее, какое чудовищное слово! Вечность! Может ли человеческий разум постичь ее? Вдумайтесь: вечность мучений! Если бы даже муки преисподней были не столь ужасны, они все равно были бы беспредельны, поскольку им предназначено длиться вечно. Они вечны, но в то же время и неизбывны в своем многообразии, невыносимы в своей остроте. Переносить целую вечность даже укус насекомого было бы невыразимым мучением. Каково же испытать вечно многообразие мук ада? Всегда! Во веки веков! Не год, не столетие, но вечно. Попробуйте только представить себе страшный смысл этого слова. Вы, конечно, не раз видели песок на морском берегу. Видели, из каких крошечных песчинок состоит он. И какое огромное количество этих крошечных песчинок в одной горсточке песка, схваченной играющим ребенком! Теперь представьте себе гору песка в миллионы миль высотой, вздымающуюся от земли до небес, простирающуюся на миллионы миль в ширь необъятного пространства и в миллионы миль толщиной; представьте себе эту громадную массу многочисленных песчинок, умноженную во столько раз, сколько листьев в

лесу, капель воды в беспредельном океане, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, атомов в воздушном пространстве и представьте себе, что раз в миллион лет маленькая птичка прилетает на эту гору и уносит в клюве одну крошечную песчинку. Сколько миллионов, миллионов веков пройдет, прежде чем эта птичка унесет хотя бы один квадратный фут этой громады? Сколько столетий истечет, прежде чем она унесет все? Но по прошествии этого необъятного периода времени не пройдет и одного мгновения вечности. К концу всех этих биллионов и триллионов лет вечность едва начнется. И если эта гора возникнет снова и снова будет прилетать птичка и уносить ее, песчинку за песчинкой, и если эта гора будет возникать и исчезать столько раз, сколько звезд в небе, атомов во вселенной, капель воды в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, то даже после того, как это произойдет бесчисленное количество раз, не минует и одного мгновения вечности, даже тогда, по истечении этого необъятного периода времени, столь необъятного, что от самой мысли о нем у нас кружится голова, вечность едва начнется.

– Один святой (насколько я помню, один из основателей нашего ордена) сподобился видения ада. Ему казалось, что он стоит в громадной темной зале, тишина которой нарушается только тиканьем гигантских часов. Часы тикали не переставая, и святому показалось, что непрерывно повторялись слова: всегда, никогда, всегда, никогда. Всегда быть в аду, никогда – на небесах; всегда быть отринутым от лица Божьего, никогда не удостоиться блаженного видения; всегда быть добычей пламени, жертвой червей, жертвой раскаленных прутьев, никогда не уйти от этих страданий; всегда терзаться угрызениями совести, гореть в огне воспоминаний, задыхаться от мрака и отчаяния, никогда не избавиться от этих мук; всегда проклинать и ненавидеть мерзких бесов, которые с сатанинской радостью упиваются страданиями своих жертв, никогда не узреть сияющего покрова блаженных духов; всегда взывать из бездны пламени к Богу, молить о едином мгновении отдыха, о передышке от этих неслыханных мук, никогда, ни на единый миг не обрести прощения Божьего; всегда страдать, никогда не познать блаженства; всегда быть проклятым, никогда не спастись; всегда, никогда! всегда, никогда! О чудовищная кара! Вечность нескончаемых мучений, нескончаемых телесных и духовных мук – и ни единого луча надежды, ни единого мига передышки, только муки, беспредельные по своей силе, неистощимо многообразные муки, которые вечно сохраняют вечно снедаемую жертву; вечность отчаяния, разъедающего душу и терзающего плоть, вечность, каждое мгновение

которой само по себе вечность муки, – вот страшная кара, уготованная всемогущим и справедливым Богом тем, кто умирает в смертном грехе.

– Да, справедливым. Люди, всегда рассуждающие как всего лишь люди, поражаются, что за единый тяжкий грех Бог подвергает вечному, неизбывному наказанию в адском пламени. Они рассуждают так потому, что, ослепленные соблазнами плоти и невежеством человеческого разума, не способны постичь чудовищную мерзость греха. Они рассуждают так, ибо не способны понять, что природа даже простительного греха зловонна и гнусна настолько, что если бы всемогущий Создатель решил остановить своей властью все зло и все несчастья в мире: войны, болезни, разбой, преступления, смерти, убийства – при условии, что останется безнаказанным один-единственный простительный грех – ложь, гневный взгляд, минутная леность, Он бы, великий всемогущий Бог, не сделал этого, потому что всякий грех делом или помышлением есть нарушение Его закона, а Бог не был бы Богом, если бы Он не покарал поправшего Его закон.

– Один грех – одно мгновение восставшей гордыни разума сокрушило славу Люцифера и треть ангельского воинства. Один грех – одно мгновение безумия и слабости изгнало Адама и Еву из рая и принесло смерть и страдания в мир. Дабы искупить последствия этого греха, Единородный Сын Божий сошел на землю, жил, страдал и умер, распятый на кресте после трех часов величайшей муки.

– О, дорогие мои младшие братья во Христе, неужели мы оскорбим доброго Искупителя и вызовем Его гнев? Неужели мы снова станем топтать его распятое, истерзанное тело? Плевать в этот лик, полный любви и скорби? Неужели и мы, подобно жестоким иудеям и грубым воинам, станем поносить кроткого, милосердного Спасителя, Который ради нас испил горькую чашу страданий? Каждое греховное слово – рана, наносимая Его нежному телу. Каждое грешное деяние – терний, впивающийся в Его чело. Каждый нечистый помысел, которому мы сознательно поддаемся, – острое копьё, пронзающее это святое любящее сердце. Нет, нет. Ни одно человеческое существо не решится совершить то, что так глубоко оскорбляет величие Божие, что карается вечностью страданий, что распинает снова Сына Божия и снова предаёт Его глумлению.

– Молю Господа, чтобы мои слабые увещевания укрепили в благочестии идущих по истинному пути, поддержали колеблющихся и вернули к благодати бедную заблудшую душу, если такая есть между нами. Молю Господа – и вы помолитесь вместе со мной, – чтобы Он помог нам

раскаяться в наших грехах. А теперь прошу вас всех преклонить колена здесь, в этой скромной церкви перед ликом Божиим, и повторить за мной молитву покаяния. Он здесь в ковчеге, исполненный любви к роду человеческому и готовый утешить страждущего. Не бойтесь. Как бы многочисленны и тяжки ни были ваши грехи, они простятся вам, если вы раскаетесь. Да не удержит вас суетный стыд. Ведь Господь Бог – наш милосердный Создатель, Который желает грешнику не вечной гибели, а покаяния и праведной жизни.

– Он призывает вас к Себе. Вы – дети Его. Он создал вас из ничего. Он любит вас, как только один Бог может любить. Руки Его простерты, чтобы принять вас, даже – если вы согрешили против Него. Прииди к Нему, бедный грешник, бедный, жалкий, заблудший грешник. Ныне час, угодный Господу.

Священник встал, повернулся к алтарю и в наступившей темноте опустил на колени. Он подождал, пока все стали на колени и пока не затих малейший шорох. Тогда, подняв голову, он начал с жаром произносить слово за словом покаянную молитву. И мальчики повторяли за ним слово за словом. Стивен, у которого язык прилип к гортани, склонил голову и молился про себя.

- Господи, Боже мой,
- Господи, Боже мой,
- Истинно сокрушаюсь я,
- Истинно сокрушаюсь я,
- Ибо прогневил Тебя, Господи,
- Ибо прогневил Тебя, Господи,
- И ненавистны мне грехи мои
- И ненавистны мне грехи мои
- Паче всякой скверны и зла,
- Паче всякой скверны и зла,
- Ибо совершил противное святой воле Твоей,
- Ибо совершил противное святой воле Твоей,
- Ты же. Господи, всесильный и благой,
- Ты же. Господи, всесильный и благой,
- И достоин всяческого поклонения,
- И достоин всяческого поклонения,
- Ныне, Господи, упование мое,
- Ныне, Господи, упование мое,
- Милостью Твоею святою заступи,

- Милостью Твоею святою заступи,
- Да не прогневолю Тебя до конца дней моих,
- Да не прогневолю Тебя до конца дней моих,
- И да будет жизнь моя искуплением грехов.
- И да будет жизнь моя искуплением грехов.

*

После обеда он пошел наверх к себе в комнату, чтобы побыть наедине со своей душой, и на каждой ступеньке душа его как будто вздыхала и, вздыхая, карабкалась вместе с ним, поднимаясь наверх из вязкой мглы.

На площадке у двери он остановился, потом нажал на ручку и быстро отворил дверь. Он медлил в страхе, душа его томилаась вместе с ним, и он молился беззвучно, чтобы смерть не коснулась его чела, когда он перешагнет порог, и чтобы бесы, населяющие тьму, не посмели овладеть им. Он ждал неподвижно на пороге, словно у входа в какую-то темную пещеру. Там были лица и глаза, стерегущие его, они стерегли зорко и выжидали.

– Мы, конечно, прекрасно знали, что, хотя это, несомненно, должно было выясниться, ему будет чрезвычайно трудно сделать усилие, постараться заставить себя, постараться сделать попытку признать духовного посланника, и мы, конечно, прекрасно знали...

Шепчущие глаза стерегли зорко и выжидающе, шепчущие голоса наполнили темные недра пещеры. Его охватил острый духовный и телесный ужас, но, смело подняв голову, он решительно вошел в комнату. Знакомая комната, знакомое окно. Он убеждал себя, что шепот, доносившийся из тьмы, абсолютно бессмыслен. Он убеждал себя, что это просто его комната с настежь открытой дверью.

Он закрыл дверь, быстро шагнул к кровати, стал на колени и закрыл лицо руками. Руки у него были холодные и влажные, и все тело ныло от озноба. Физическое изнеможение, озноб и усталость томили его, мысли путались. Зачем стоит он на коленях, как ребенок, лепечущий молитвы на ночь? Чтобы побыть наедине со своей душой, заглянуть в свою совесть, честно признать свои грехи, вспомнить, когда, как и при каких обстоятельствах он их совершил, и оплакать их. Но плакать он не мог. Он не мог даже вспомнить их. Он ощущал только боль, чувствовал, как изнывают его душа и тело, как одурманено и истомлено все его существо –

память, воля, сознание, плоть.

Это бесы стараются спутать его мысли, затуманить совесть, овладеть им через его трусливую, погрязшую во грехе плоть, и, робко умоляя Бога простить ему его слабость, он поднялся, лег на кровать и, закутавшись в одеяло, снова закрыл лицо руками. Он согрешил. Он согрешил так тяжко против Бога и небес, что недостойн больше называться сыном Божиим.

Неужели он, Стивен Дедал, совершал эти поступки? Совесть его вздохнула в ответ. Да, он совершал их тайно, мерзко, неоднократно. И хуже всего, что в своей греховной ожесточенности он осмеливался носить маску святости перед алтарем, хотя душа его насквозь прогнила. А Господь пощадил его. Грехи, как толпа прокаженных, обступили его, дышали на него, надвигались со всех сторон. Он силился забыть их в молитве и, стиснув руки, крепко закрыл глаза. Но чувства души его было не закрыть. Глаза его были закрыты, но он видел все те места, где грешил; уши его были плотно зажаты, но он все слышал. Всеми силами желал ничего не видеть и ничего не слышать. Он желал так сильно, что все тело его содрогалось этим желанием, пока чувства души его не угасли. Они угасли на миг и отверзлись вновь. И тогда он увидел.

Пустырь с засохшими сорняками, чертополохом, кустами крапивы. В этой жесткой поросли – продавленные жестянки, комья земли, кучи засохших испражнений. Белесый болотный туман поднимается от нечистот и пробивается сквозь колючие серо-зеленые сорняки. Мерзкий запах, такой же слабый и смрадный, как болотистый туман, клубится, ползет из жестянок, от затвердевшего навоза.

В поле бродят какие-то существа: одно, три, шесть. Они бесцельно слоняются туда и сюда. Козлоподобные твари с мертвенными человеческими лицами, рогатые, с жидкими бородачками. Они полны злобной ненависти, они бродят туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты. Оскалом ехидного злорадства тускло светятся их старческие костлявые лица. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой – монотонно скулит, когда его бородачка цепляется за пучки бурьяна. Невнятные слова срываются с их пересохших губ. Они кружат, кружат по полю, продираются сквозь сорняки, снуют туда и сюда в плевелах, цепляясь длинными хвостами за гремящие жестянки. Они движутся медленными кругами, все ближе и ближе к нему. Невнятные слова срываются с их губ; длинные, со свистом рассекающие воздух хвосты облеплены вонючим дерьмом, страшные лица тянутся кверху...

– Спасите!^[115]

Он в ужасе отбросил одеяло, высвободил лицо и шею. Вот его

преисподняя. Бог дал ему увидеть ад, уготованный его грехам, – гнусный, вонючий, скотский ад развратных, похотливых, козлоподобных бесов. Его, его ад!

Он соскочил с кровати: зловоние хлынуло ему в горло, сводя и выворачивая внутренности. Воздуха! Воздуха небес! Шатаясь, он добрался до окна, почти теряя сознание от тошноты. Около умывальника его схватила судорога, и в беспомощности, сжимая руками холодный лоб, он скорчился в приступе мучительной рвоты.

Когда приступ миновал, он с трудом добрался до окна, поднял раму и сел в углу ниши, облокотившись на подоконник. Дождь перестал. Клочки тумана плыли от одной светящейся точки к другой, и казалось, что город прядет вокруг себя мягкий кокон желтоватой мглы. Небеса были тихи и слабо сияли, воздух был сладостен для дыхания, как в лесной чаще, омытой дождем, и среди тишины, мерцающих огней и мирного благоухания он дал обет своему сердцу.

Он молился:

Однажды Он хотел сойти на землю в небесной славе, но мы согрешили. И Он не мог явиться нам, иначе как скрыв свое величие и сияние, ибо Он Бог. И Он явил Себя не в славе могущества, но в слабости, и тебя, творение рук своих, послал к нам, наделив тебя красотой смирения и сиянием, посильным нашему зрению. И теперь самый лик твой и тело твое, о мати преблагая, говорит нам о Предвечном не подобием земной красоты, опасной для взора, но подобием утренней звезды, являющейся твоим знаменем. Ты, как она, ясна, мелодична, дышишь чистотой небес и разливаешь мир. О предвозвестница дня! О светоч паломника! Наставляй нас и впредь, как наставляла прежде. Во мраке ночи, в ненастной пустыне веди нас к спасителю нашему Иисусу Христу, в приют и убежище наше!

[116]

Глаза его застилала слезы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте.

Когда совсем стемнело, он вышел из дому. Первое же прикосновение сырого темного воздуха и стук двери, захлопнувшейся за ним, снова смутили его совесть, успокоенную молитвой и слезами. Покайся! Покайся! Недостаточно успокоить совесть слезой и молитвою. Он должен пасть на колени перед служителем Святого Духа и поведать ему правдиво и покаянно все свои тайные грехи. Прежде чем он снова услышит, как входная дверь, открываясь, заденет за порог, чтобы впустить его, прежде чем он снова увидит стол в кухне, накрытый для ужина, он падет на колени и исповедуется [117]. Ведь это так просто.

Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал вперед по темным улицам. Сколько плит на тротуаре этой улицы, сколько улиц в этом городе, сколько городов в мире! А вечности нет конца. И он пребывает в смертном грехе. Согрешить только раз – все равно смертный грех. Это может случиться в одно мгновение. Но как же так, сразу? Одним взглядом, одним помыслом. Глаза видят прежде, чем ты пожелаешь увидеть. И потом миг – и случилось. Но разве эта часть тела что-то разумеет? Змей, самый хитрый из зверей полевых. В одно мгновение она понимает, чего ей хочется, и потом греховно продлевает свою похоть мгновение за мгновением. Чувствует, понимает и вожделеет. Как это ужасно! Кто создал ее такой, эту скотскую часть тела, способную понимать скотски и скотски вожделеть? Что это: он сам или нечто нечеловеческое, движимое каким-то низменным духом? Его душа содрогнулась, когда он представил себе эту вялую змеевидную жизнь, которая питается нежнейшими соками его существа и раздувается, наливаясь похотью. О, зачем это так? Зачем?

В смиренном унижении и в страхе перед Богом, который создал все живое и все сущее, он весь сжался перед нарастающим мраком этой мысли. Безумие! Кто мог подсказать ему такую мысль? И весь сжавшись в темноте, униженный, он безмолвно молился своему ангелу хранителю, чтобы тот прогнал мечом своим демона, нашептывающего ему соблазны.

Шепот стих, и тогда он ясно понял, что его собственная душа грешила умышленно и словом, и делом, и помышлением, а орудием греха было его тело. Покайся! Покайся в каждом грехе. Как сможет он рассказать духовнику то, что сделал? Но он должен, должен. Как объяснить ему, не сгорев со стыда? А как мог он делать это без стыда? Безумец! Покайся! А может быть, и вправду он снова будет свободен и безгрешен? Может быть, священник облегчит его душу! О Боже милосердный!

Он шел все дальше и дальше по тускло освещенным улицам, боясь остановиться хоть на секунду, боясь, как бы не показалось, что он стремится избежать того, что его ждет, и еще больше страхась приблизиться к тому, к чему его неудержимо влекло. Как прекрасна должна быть душа, исполненная благодати, когда Господь взирает на нее с любовью!

Неряшливые продавщицы со своими корзинами сидели на тумбах. Их сальные волосы прядями свисали на лоб. Такие неприглядные, сгорбившиеся, сидят среди грязи. Но души их открыты Господу, и, если их души исполнены благодати, они сияют светом и Бог взирает на них с любовью.

Холод унижения дохнул на его душу. Как же низко он пал, если

чувствует, что души этих девушек угодней Богу, нежели его душа! Ветер пронесся над ним к мириадам и миражам других душ, которым милость Божия сияла то сильнее, то слабей, подобно звездам, свет которых то ярче, то бледнее. Мерцающие души уплывают прочь, они то ярче, то бледнее и угасают в пронсящемся вихре. Одна погибла: крошечная душа, его душа. Она вспыхнула и погасла, забытая, погибшая. Конец: мрак, холод, пустота, ничто.

Ощущение действительности медленно возвращалось к нему из необъятности вечного времени – незаренного, неосознанного, непрожитого. Его по-прежнему окружала убогая жизнь: привычные возгласы, газовые рожки лавок, запах рыбы, и спиртного, и мокрых опилок, прохожие – мужчины и женщины. Старуха с керосиновым бидоном в руке собиралась переходить улицу. Он нагнулся к ней и спросил, есть ли здесь поблизости церковь.

– Церковь, сэр? Да, на Черч-стрит.

– Черч-стрит?

Она взяла бидон в другую руку и указала ему дорогу. И когда она протянула из-под бахромы платка свою сморщенную, воняющую керосином руку, он нагнулся к ней ближе, испытывая грустное облегчение от ее голоса.

– Благодарю вас.

– Пожалуйста, сэр.

Свечи в главном приделе перед алтарем были уже потушены, но благовоние ладана еще плыло в темном притворе. Бородатые, с набожными лицами прислужники уносили балдахин через боковую дверь, а ризничий направлял их неторопливыми жестами и советами. Несколько усердных прихожан еще молились в боковом приделе, стоя на коленях около скамеек перед исповедальней. Он робко вошел и тоже опустился на колени у последней скамейки в глубине прохода, преисполненный благодарности за мир, и тишину, и благоухающий сумрак церкви. Плита, на которой он стоял на коленях, была узкая и истертая, а те, кто молились, коленапреклоненные, рядом, были смиренными последователями Иисуса. Иисус тоже родился в бедности и работал простым плотником – пилил, стругал доски, и первые, кому Он проповедовал царствие Божие, были бедные рыбаки, и всех Он учил смирению и кротости сердца.

Он опустил голову на руки, умоляя сердце свое быть смиренным и кротким, дабы и он мог стать таким же, как те, что стояли на коленях рядом с ним, и чтобы его молитва была угодна Господу так же, как их молитва. Он молился с ними рядом, но это было тяжело. Его душа смердела во грехе, и

он не смел молить о прощении с простой сердечной верой тех, кого Христос неисповедимыми путями Божиими первыми призвал к Себе, – плотников, рыбаков, простых бедных людей, которые занимались скромным ремеслом: распиливали деревья на доски, терпеливо чинили сети.

Высокая фигура сошла по ступенькам придела, и ждущие у исповедальни зашевелились. Подняв глаза, он успел заметить длинную седую бороду и коричневую рясу капуцина. Священник вошел в исповедальню и скрылся. Двое поднялись и прошли туда с двух сторон. Деревянная ставенка задвинулась, и слабый шепот нарушил тишину.

Кровь зашумела у него в венах, зашумела, как греховный город, поднятый ото сна и услышавший свой смертный приговор. Вспыхивают языки пламени, пепел покрывает дома. Спящие пробуждаются, вскакивают, задыхаясь в раскаленном воздухе.

Ставенка отодвинулась. Исповедовавшийся вышел. Открылась дальняя ставенка. Женщина спокойно и быстро прошла туда, где только что на коленях стоял первый исповедовавшийся. Снова раздался тихий шепот.

Он еще может уйти. Он может подняться, сделать один шаг и тихо выйти и потом стремглав побежать по темным улицам. Он все еще может спастись от позора. Пусть бы это было какое угодно страшное преступление, только не этот грех. Даже убийство! Огненные язычки падают, обжигают его со всех сторон – постыдные мысли, постыдные слова, постыдные поступки. Стыд покрыл его с ног до головы, как тонкий раскаленный пепел. Выговорить это, назвать словами! Его измученная душа задохнулась бы, умерла.

Ставенка опять задвинулась. Кто-то вышел из исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующей вошел туда, откуда вышел второй. Теперь оттуда туманными облачками набегал мягкий лепечущий звук. Это исповедуется женщина. Мягкие, шепчущие облачка, мягкая шепчущая дымка, шепчущая и исчезающая.

Припав к деревянной скамье, он в уничижение бил себя кулаком в грудь, Он соединится с людьми и с Богом. Он возлюбит своего ближнего. Он возлюбит Бога, который создал и любил его. Он падет на колени, и будет молиться вместе с другими, и будет счастлив. Господь взглянет на него и на них и всех их возлюбит.

Нетрудно быть добрым. Бремя Божие сладостно и легко^[118]. Лучше никогда не грешить, всегда оставаться младенцем, потому что Бог любит детей и допускает их к Себе. Грешить так тяжело и страшно. Но Господь милосерден к бедным грешникам, которые чистосердечно раскаиваются.

Как это верно! Вот смысл истинного милосердия!

Ставенка внезапно задвинулась. Женщина вышла. Теперь настала его очередь. Он с трепетом поднялся и, как во сне, ничего не видя, прошел в исповедальню.

Его час пришел. Он опустился на колени в тихом сумраке и поднял глаза на белое распятие, висевшее перед ним. Господь увидит, что он раскаивается. Он расскажет обо всех своих грехах. Исповедь будет долгой-долгой. Все в церкви узнают, какой он грешник. Пусть знают – раз это правда. Но Бог обещал простить его, если он раскается, а он кается. Он стиснул руки и простер их к белому распятию. Он страстно молился: глаза его затуманились, губы дрожали, по телу пробегала дрожь; в отчаянии он мотал головой из стороны в сторону, произнося горячие слова молитвы.

– Каюсь, каюсь, о, каюсь!

Ставенка отворилась, и его сердце замерло. У решетки вполоборота к нему, опершись на руку, сидел старый священник. Он перекрестился и попросил духовника благословить его, ибо он согрешил. Затем, опустив голову, в страхе прочел «Confiteor». На словах *мой самый тяжкий грех* он остановился, у него перехватило дыхание.

– Когда ты исповедовался в последний раз, сын мой?

– Очень давно, отец мой.

– Месяц тому назад, сын мой?

– Больше, отец мой.

– Три месяца, сын мой?

– Больше, отец мой.

– Шесть месяцев, сын мой?

– Восемь месяцев, отец мой.

Вот оно – началось. Священник спросил:

– Какие грехи ты совершил за это время?

Он начал перечислять: пропускал обедни, не читал молитвы, лгал.

– Что еще, сын мой?

Грехи злобы, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.

– Что еще, сын мой?

– Лень.

– Что еще, сын мой?

Спасения нет. Он прошептал:

– Я... совершал грехи блуда, отец мой.

Священник не повернул головы.

– С самим собой, сын мой?

– И... с другими.

- С женщинами, сын мой?
- Да, отец мой.
- С замужними женщинами, сын мой?

Он не знает. Грехи стекали с его губ один за другим, стекали постыдными каплями с его гниющей и кровоточащей, как язва, души, они сочились мутной порочной струей. Он выдавил из себя последние грехи – постыдные, мерзкие. Больше рассказывать было нечего. Он поник головой в изнеможении.

Священник молчал. Потом спросил:

- Сколько тебе лет, сын мой?
- Шестнадцать, отец мой.

Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом подпер лоб ладонью, прислонился к решетке и, по-прежнему не глядя на него, медленно заговорил. Голос у него был усталый и старческий.

– Ты еще очень молод, сын мой, – сказал он, – и я умоляю тебя, откажись от этого греха. Он убивает тело и убивает душу. Он – причина всяческих преступлений и несчастий. Откажись от него, дитя мое, во имя Господа Бога. Это недостойная и низкая склонность. Ты не знаешь, куда она тебя заведет и как обратится против тебя. Пока этот грех владеет тобой, бедный сын мой, милость Божия оставила тебя. Молись нашей святой матери Марии. Она поможет тебе, сын мой. Молись нашей Препоблагод Дево, когда тебя обуревают греховные помыслы. Ты ведь будешь молиться, сын мой? Ты раскаиваешься в этих грехах, я верю, что раскаиваешься. И ты дашь обет Господу Богу, что Его святою милостью никогда больше не прогневишь Его этим безобразным мерзким грехом. Ты дашь этот торжественный обет Богу, не правда ли, сын мой?

- Да, отец мой.

Усталый старческий голос был подобен живительному дождю для его трепещущего иссохшего сердца. Как отрадно и как печально!

– Дай обет, сын мой. Тебя совратил дьявол. Гони его обратно в преисподнюю, когда он будет искушать тебя, гони этого нечистого духа, ненавидящего нашего Создателя. Не оскверняй тело свое. Дай обет Богу, что ты отрекаешься от этого греха, от этого мерзкого, презренного греха.

Ослепший от слез и света милосердия Божия, он преклонил голову, услышав торжественные слова отпущения грехов и увидев благословляющую его руку священника.

- Господь да благословит тебя, сын мой. Молись за меня.

Он опустился на колени в углу темного придела и стал читать покаянную молитву, и молитва возносилась к небу из его очистившегося

сердца, как струящееся благоухание белой розы.

Грязные улицы смотрели весело. Он шел и чувствовал, как невидимая благодать окутывает и наполняет легкостью все его тело. Он пересилил себя, покаялся, и Господь простил его. Душа его снова сделалась чистой и святой, святой и радостной.

Было бы прекрасно умереть, если такова воля Господа. И было прекрасно жить, если такова воля Господа, жить в благодати, в мире с ближними, в добродетели и смирении.

Он сидел перед очагом в кухне, не решаясь от избытка чувств проронить ни слова. До этой минуты он не знал, какой прекрасной и благостной может быть жизнь. Лист зеленой бумаги, заколотый булавками вокруг лампы, отбрасывал вниз мягкую тень. На буфете стояла тарелка с сосисками и запеканкой, на полке были яйца. Это к утреннему завтраку после причастия в церкви колледжа. Запеканка и яйца, сосиски и чай. Как проста и прекрасна жизнь. И вся жизнь впереди.

В забытии он лег и уснул. В забытии он поднялся и увидел, что уже утро. Забывшись, как во сне, он шагал тихим утром к колледжу. Все мальчики уже были в церкви и стояли на коленях, каждый на своем месте. Он стал среди них, счастливый и смущенный. Алтарь был усыпан благоухающими белыми цветами, и в утреннем свете бледные огни свечей среди белых цветов были ясны и спокойны, как его душа.

Он стоял на коленях перед алтарем среди товарищей, а на престольная пелена колыхалась над их руками, образовавшими живую поддержку. Руки его дрожали, и душа его дрогнула, когда он услышал, как священник с чашей святых даров переходил от причастника к причастнику.

– *Corpus Domini nostri*^[119].

Наяву ли это? Он стоит здесь на коленях – безгрешный, робкий; сейчас он почувствует на языке облатку, и Бог войдет в его очищенное тело.

– *In vitam eternam. Amen*^[120].

Новая жизнь! Жизнь благодати, целомудрия и счастья! И все это на самом деле! Это не сон, от которого он пробудится. Прошлое прошло.

– *Corpus Domini nostri.*

Чаша со святыми дарами приблизилась к нему.

Воскресенье было посвящено^[121] Тайне Пресвятой Троицы, понедельник – Святому Духу, вторник – ангелам-хранителям, среда – святому Иосифу, четверг – пресвятому таинству причастия, пятница – страстям Господним, суббота – пресвятой деве Марии.

Каждое утро он снова проникался благодатью святых или таинств. Его день начинался ранней мессой и самоотверженным принесением в жертву каждого своего помысла и каждого деяния воле верховного владыки. Холодный утренний воздух подстегивал его благочестие, и часто, стоя на коленях в боковом приделе среди редких прихожан и следя по своему переложенному закладками молитвеннику за шепотом священника, он поднимал глаза на облаченную фигуру, возвышавшуюся в полумраке между двух свечей – символов Ветхого и Нового Завета, – и представлял себя на богослужении в катакомбах.

Его повседневная жизнь складывалась из различных подвигов благочестия. Пламенным усердием и молитвами он щедро выкупал для душ в чистилище столетия, складывающиеся из дней, сороков и лет^[122]. Но духовное ликование, которое он испытывал, преодолевая с легкостью необъятные сроки кар Господних, все же полностью не вознаграждало его молитвенного рвения, потому что он не знал, насколько такое заступничество сокращает муки душ в чистилище, огонь которого отличается от адского только тем, что не вечен. И мучимый страхом, что от его покаянных молитв не больше пользы, чем от капли воды, он с каждым днем увеличивал свои сверхдолжные подвиги.

Каждая часть дня, разделенного в соответствии с тем, что он теперь считал долгом своего земного существования, вращалась вокруг своего определенного центра духовной энергии. Его душа будто приближалась к вечности; каждая мысль, слово, поступок каждое внутреннее движение могли, лучась, отдаваться на небесах, и временами это ощущение мгновенного отклика было так живо, что ему казалось, будто его душа во время молитвы нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как стоимость покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а легким дымком ладана или хрупким цветком.

И молитвы, которые он неустанно твердил, – в кармане брюк он всегда носил четки и без усталости перебирал их, бродя по улицам, – превращались в венчики цветов такой неземной нежности, что цветы эти казались ему

столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безымянны. В каждой из трех ежедневно возносимых молитв он просил, чтобы душа его укрепилась в трех духовных добродетелях: в вере в Отца, сотворившего его, в надежде на Сына, искупившего его грехи, и в любви к Святому Духу, осенившему его; и эту трижды тройную молитву он возносил к Трем ипостасям через святую деву Марию, прославляя радостные, скорбные и славные таинства.

В каждый из семи дней недели он молился еще и о том, чтобы один из семи даров Святого Духа^[123] снизошел на его душу и изгонял день за днем семь смертных грехов, осквернявших ее в прошлом. О ниспослании каждого дара он молился в установленный день, уповая, что дар этот снизойдет на него, хотя иногда ему казалось странным, что мудрость, разумение и знание считаются столь различными по своей природе и о каждом из этих даров полагается молиться особо. Но он верил, что постигнет и эту тайну на какой-то высшей ступени духовного совершенствования, когда его грешная душа отрешится от слабости и ее просветит Третья Ипостась Пресвятой Троицы. Он верил в это превыше всего, проникшись трепетом перед божественной непроницаемостью и безмолвием, в коих пребывает незримый дух-утешитель Параклет^[124], Чьи символы – голубь и вихрь, и грех против Которого не прощается; вечная таинственная Сущность, Которой, как Богу, священники раз в год служат мессу в алых, точно языки пламени, облачениях.

Природа и единственность Трех Ипостасей Троицы, которые туманно излагались в читаемых им богословских сочинениях, Отец, вечно созерцающий, как в зеркале, Свое Божественное Совершенство и присно рождающий Вечного Сына, Святой Дух, извечно исходящий от Отца и Сына, – были в силу их высокой непостижимости более доступны его пониманию, нежели та простая истина, что Бог любил его душу извечно, во веки веков, еще до того, как она явилась в мир, до того, как существовал сам мир.

Он часто слышал торжественно возглашаемые со сцены или с амвона церкви слова, обозначающие страсти – любовь и ненависть, – читал их торжественные описания в книгах и дивился, почему они совсем не удерживались в его душе и почему ему было трудно произносить их названия с должною убежденностью. Им часто овладевал мгновенный гнев, но он никогда не превращался в постоянную страсть, и ему не стоило никакого труда освободиться от него, словно самое тело его с легкостью сбрасывало какую-то внешнюю оболочку или шелуху. Минутами он

чувствовал, как в его существо проникает нечто темное, неуловимое, бормочущее, и весь вспыхивал и распался греховной похотью, но и она быстро соскальзывала с него, а сознание оставалось ясным и незамутненным. И казалось, что только для такой любви и такой ненависти и было место в его душе.

Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо Сам Бог извечно любил его душу божественной любовью. Постепенно, по мере того как душа его наполнялась духовным знанием, мир представал перед ним огромным, стройным выражением божественного могущества и любви. Жизнь становилась божественным даром, и за каждый радостный миг ее – даже за созерцание листочка на ветке дерева – душа его должна была славить и благодарить Подателя. При всей своей конкретности и сложности мир существовал для него не иначе как теорема божественного могущества, любви и вездесущности. И столь целостным и бесспорным было это дарованное его душе сознание божественного смысла во всей природе, что он с трудом понимал, зачем ему, собственно, продолжать жить. Но, вероятно, его жизнь была частью божественного предначертания, и не ему, согрешившему так мерзко и тяжело, вопрошать о смысле. Смиренная, униженная сознанием единого, вечного, вездесущего, совершенного бытия, душа его снова взваливала на себя бремя обетов, месс, молитв, причащения святых тайн и самоистязаний; и только теперь, скорбя над великой тайной любви^[125], он ощутил в себе теплое движение, словно в нем зарождалась новая жизнь или новая добродетель. Поза благоговейного восторга в духовной живописи: вздетые и разверстые руки, отверстые уста, затуманенные глаза стали для него образом молящейся души, смиренной и замирающей перед своим Создателем.

Но, зная об опасностях духовной экзальтации, он не позволял себе отступить даже от самого незначительного канона, стремился непрерывными самоистязаниями искупить греховное прошлое, а не достигнуть чреватой опасностью лжесвятости. Каждое из пяти чувств он подвергал суровым испытаниям. Он умерщвлял зрение; заставлял себя ходить по улицам с опущенными глазами, не смотря ни направо, ни налево и не оглядываясь. Он избегал встречаться взглядом со взглядами женщин. А читая, поднимал глаза, иногда внезапно, мгновенным усилием воли отрываясь на середине неоконченной фразы, и захлопывал книгу. Он умерщвлял слух; не следил за своим ломающимся голосом, никогда не позволял себе петь или свистеть и не делал попыток избежать звуков, причинявших ему болезненное раздражение, например, скрежета ножа о точило, скрипа совка, сгребющего золу, или стука палки, когда

выколачивают ковер. Умерщвлять чувство обоняния было труднее, так как он не испытывал инстинктивного отвращения к дурным запахам: будь то уличные, вроде запахов навоза или дегтя, или запахи его собственного тела, дававшие ему повод для сравнений и разных любопытных экспериментов. В конце концов он установил, что его обонянию претит только вонь гнилой рыбы, напоминающая запах застоявшейся мочи, и пользовался каждым случаем, чтобы заставлять себя переносить эту вонь. Он умерщвлял чувство вкуса: принуждал себя к воздержанию, неуклонно соблюдал все церковные посты, а во время еды старался не думать о пище. Но особенную изобретательность он проявил, умерщвляя чувство осязания. Он никогда не менял положение тела в постели, сидел в самых неудобных позах, терпеливо переносил зуд и боль, старался держаться подальше от тепла, всю мессу, за исключением чтения Евангелия, простаивал на коленях, не вытирал лица и шеи после мытья, чтобы было чувствительней прикосновение холодного воздуха. Если в руках у него не было четок, он плотно, как бегун, прижимал их к бокам, а не держал их в карманах и не закладывал за спину.

Больше он не испытывал соблазна впасть в смертный грех. Но его удивляло, что, несмотря на строжайшую самодисциплину, он так легко оказывался жертвой ребяческих и недостойных слабостей. Какой толк от постов и молитв, если трудно не раздражаться, когда чихает мать или когда ему мешают во время молитвы. И нужно было громадное усилие воли, чтобы обуздать в себе инстинктивное желание дать выход этому раздражению. Он часто наблюдал приступы такой мелочной раздражительности у своих учителей и, вспоминая их дергающиеся губы, плотно стиснутые зубы, пылающие щеки, сравнивал себя с ними, и, несмотря на все свое стремление исправиться, падал духом. Слить свою жизнь с потоком других жизней было для него труднее всякого поста или молитвы, и все его попытки неизменно кончались неудачей; это в конце концов породило духовное оскудение, а вслед за ним пришли колебания и сомнения. Душа его пребывала в унынии; казалось, самые таинства обратились в иссякшие источники. Исповедь стала только способом освобождения от мучивших его совесть грехов. Причастие не приносило теперь тех блаженных минут, когда душа словно растворялась в девственном восторге, как было когда-то после приобщения святых тайн. Он готовился к этим приобщениям по старому, истрепанному томику с потускневшими буквами и пожелтевшими, затрепанными страницами, составленному святым Альфонсом Лигурийским^[126]. Потускневший мир пламенной любви и девственного восторга оживал для его души на этих

страницах, где образы Песни песней переплетались с молитвами причастника. Неслышный голос, казалось, ласкал и славословил его душу, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь с вершин Амана от гор барсовых. И казалось, что душа, отдавшись его власти, отвечала таким же неслышным голосом: *Inter ubera mea commorabitur*^[127] ^[128]

Этот образ отдающейся души стал для него опасным, притягательным с тех самых пор, как настойчивые голоса плоти вновь зашептали во время молитв и размышлений. Он весь проникался чувством собственного могущества от сознания, что одной уступкой, одним помыслом может разрушить все, чего достиг. Ему казалось, будто медленный прилив подкрадывается к его обнаженным ступням и первая слабая, бесшумная, робкая волна вот-вот коснется его разгоряченной кожи. И чуть ли не в самый миг касания, на грани греховного падения, он вдруг оказывался вдали от волны, на суше, спасенный внезапным усилием воли или внезапным молитвенным порывом. И, наблюдая за отдаленной серебряной полоской прилива, которая снова начинала медленно подкрадываться к его ногам, он ощущал трепет власти, и удовлетворение охватывало его душу при мысли, что он не уступил, не сдался.

Постоянная борьба с соблазнами заставляла его беспокойно спрашивать себя, не угасает ли в нем драгоценный дар благодати. Уверенность в собственной стойкости померкла, и на смену ей явился неясный страх, что душа его незаметно пала. Только огромным усилием воли ему удавалось теперь возвращать свою былую веру в то, что он все еще пребывает в состоянии благодати; он заставлял себя при каждом искушении молиться Богу, заставлял верить, что благодать, о которой он просил, не могла быть не дарована ему, ибо Господь должен был ее даровать. Сама частота и сила искушений наглядно подтверждала ему истинность того, что он слышал об испытаниях святых. Частота и сила искушений была для него доказательством твердыни его души, которую неистово пытался сокрушить сатана.

Часто на исповеди духовник, выслушав его колебания и сомнения (минутная рассеянность во время молитвы, мелочная раздражительность и своеволие, проявившиеся в речи или поступках), прежде чем дать ему отпущение, просил назвать какой-нибудь давний грех. Со смирением и стыдом он каялся в нем снова. Со смирением и стыдом он понимал, что как бы свято ни жил, каких бы совершенств и добродетелей ни достиг, никогда ему не освободиться от этого греха полностью. Беспокойное чувство вины никогда не покинет его; он исповедуется, раскается и будет прощен, снова

исповедуется, снова раскается и снова будет прощен – но все тщетно. Может быть, та первая, поспешная исповедь, вырванная у него страхом перед преисподней, не была принята? Может быть, поглощенный всецело мыслью о неизбежной каре он недостаточно искренне сокрушался о своем грехе? Но старания исправить свою жизнь были для него лучшим свидетельством правильности его исповеди, свидетельством того, что он искренне сокрушался о содеянном.

– Ведь я же исправил свою жизнь, разве нет? – спрашивал он себя.

*

Ректор стоял в нише окна, спиной к свету, прислонившись к коричневой шторе^[129]. Разговаривая и улыбаясь, он медленно разматывал и снова заплетал шнурок другой шторы. Стивен стоял перед ним, следя за угасанием долгого летнего дня над крышами домов и за медленными, плавными движениями пальцев священника. Лицо священника было в тени, но дневной свет, угасавший за его спиной, падал на его глубоко вдавленные виски и неровности черепа. Стивен прислушивался к интонациям голоса священника, который спокойно и внушительно рассуждал о разных событиях в жизни колледжа: о только что окончившихся каникулах, об отделениях ордена за границей, о смене учителей. Спокойный и внушительный голос плавно вел беседу, а в паузах Стивен считал своим долгом оживлять ее почтительными вопросами. Он знал: все это лишь прелюдия, и ждал, что за ней последует. Получив приказ явиться к ректору, он терялся в догадках, что означает этот вызов, и все время, пока сидел в приемной в напряженном ожидании, взгляд его блуждал по стенам, от одной благонравной картины к другой, а мысль – от одной догадки к другой, пока ему вдруг не стало почти ясно, зачем его позвали. Не успел он пожелать, чтобы какая-нибудь непредвиденная причина помешала ректору прийти, как услышал звук поворачивающейся дверной ручки и шелест сутаны.

Ректор заговорил о доминиканском и францисканском орденах и о дружбе святого Фомы со святым Бонавентурой^[130]. Облачение капуцинов казалось ему несколько...

Лицо Стивена отразило снисходительную улыбку священника, но, не желая высказывать никакого суждения по этому поводу, он только чуть-чуть шевельнул губами, как бы недоумевая.

– Я слышал, – продолжал ректор, – что и сами капуцины уже поговаривают об отмене этого облачения по примеру других францисканцев.

– Но в монастырях его, наверно, сохраняют? – сказал Стивен.

– О, да, конечно, – сказал ректор, – в монастырях оно вполне уместно, но для улицы... право, лучше было бы его отменить, как вы думаете?

– Да, оно неудобное.

– Вот именно, неудобное. Представьте себе, когда я был в Бельгии, то видел, что капуцины в любую погоду разъезжают на велосипедах, обмотав полы этих своих балахонов вокруг колен. Ну, не смешно ли? Les jupes^[131] – так их называют в Бельгии.

Гласная прозвучала так, что нельзя было понять слово.

– Как вы сказали?

– Les jupes.

– А-а.

Стивен опять улыбнулся в ответ на улыбку, которая была не видна ему на лице священника, так как оно оставалось в тени, и лишь подобие, призрак этой улыбки быстро мелькнул в его сознании, когда он слушал тихий, сдержанный голос. Он спокойно смотрел в окно на меркнувшее небо, радуясь вечерней прохладе и желтоватой мгле заката, скрывавшей слабый румянец на его щеке.

Названия предметов женского туалета или тех тонких мягких тканей, из которых их делали, всегда связывались у него с воспоминанием о каком-то неуловимом греховном запахе. Ребенком он воображал, что вожжи – это тонкие шелковые ленты, и был потрясен, когда в Стэдбруке впервые коснулся сальной, грубой кожи лошадиной упряжи. Точно так же он был потрясен, когда в первый раз почувствовал под своими дрожащими пальцами шершавую пряжу женского чулка. Происходило это потому, что из всего прочитанного он запоминал только то, что отвечало его собственному состоянию, что было созвучно с ним и не мог представить себе душу или тело женщины, полные трепещущей жизни, не воображая ее нежной, мягкоречивой, в тонких, как лепестки розы, тканях.

Но фраза в устах священника была не случайна; он знал, что священнику не подобает шутить на такие темы. Фраза была произнесена шутливо, но неспроста, и он чувствовал, как скрытые в тени глаза пытливо следят за его лицом. До сих пор он не придавал значения тому, что ему приходилось слышать или читать о коварстве иезуитов, ибо его собственный опыт вовсе не подтверждал этого. Он всегда считал своих учителей, даже если они и не нравились ему, серьезными, умными

наставниками, здоровыми телом и духом. По утрам они обливаются холодной водой и носят прохладное свежее белье. За все время, что ему пришлось прожить среди них в Клонгоузе и Бельведере, он получил только два удара линейкой по рукам, и, хотя как раз эти удары были незаслуженны, он знал, что многое сходило ему безнаказанно. За все это время он никогда не слышал от своих учителей ни одного пустого слова. Они открыли ему истину христианского учения, призывали к праведной жизни, а когда он впал в тяжкий грех, они же помогли ему вернуться к благодати. В их присутствии он всегда чувствовал неуверенность – и в Клонгоузе, потому что был недотепой, и в Бельведере, из-за своего двусмысленного положения. Это постоянное чувство неуверенности сохранилось у него до последнего года жизни в колледже. Он ни разу не послушался их, не поддался соблазнявшим его озорным товарищам, не изменял своей привычке к спокойному повиновению, и если когда-нибудь и сомневался в правильности суждений учителей, то никогда не делал этого открыто. С годами кое-что в их оценках стало казаться ему несколько наивным. И это вызывало в нем чувство сожаления и грусти, как будто он медленно расставался с привычным миром и слушал его речи в последний раз. Как-то несколько мальчиков беседовали со священником под навесом возле церкви, и он слышал, как священник сказал:

– Я думаю, лорд Маколей за всю свою жизнь не совершил ни одного смертного греха, то есть ни одного умышленного смертного греха.

Потом кто-то из мальчиков спросил священника, считает ли он Виктора Гюго величайшим французским писателем. Священник ответил, что после того, как Виктор Гюго отвернулся от церкви, он стал писать много хуже, нежели когда он был католиком.

– Но, – добавил священник, – многие известные французские критики утверждают, что даже Виктор Гюго, несомненно великий писатель, не обладал таким ясным стилем, как Луи Вейо.

Слабый румянец, вспыхнувший было на щеках Стивена от намека священника, погас, и глаза его были по-прежнему устремлены на бледное небо. Но какое-то беспокойное сомнение бродило в его сознании. Смутные воспоминания мелькали в памяти: он узнавал сцены и действующих лиц, но чувствовал, как что-то важное упорно ускользает от него. Вот он ходит около спортивной площадки в Клонгоузе, следит за игрой и ест конфеты из своей крикетной шапочки, а иезуиты прогуливаются с дамами по велосипедной дорожке. Какие-то полузабытые словечки, ходившие в Клонгоузе, отдавались эхом в глубинах его памяти.

Он пытался уловить это отдаленное эхо в тишине приемной и вдруг

очнулся, услышав, как священник обращается к нему совсем другим тоном:

– Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой об одном очень важном деле.

– Да, сэр.

– Чувствовал ли ты когда-нибудь в себе истинное призвание?

Стивен разжал губы, чтобы сказать «да», но вдруг удержался. Священник подождал ответа, и затем добавил:

– Я хочу сказать, чувствовал ли ты когда-нибудь в глубине души своей желание вступить в орден. Подумай.

– Я думал об этом, – сказал Стивен.

Священник отпустил шнурок шторы и, сложив руки, задумчиво оперся на них подбородком, погрузившись в размышления.

– В таком колледже, как наш, – сказал он наконец, – бывают иногда один или, может быть, два-три ученика, которых Господь Бог призывает к служению вере. Такой ученик выделяется среди своих сверстников благочестием и тем, что он служит достойным примером всем остальным. Он пользуется уважением товарищей, члены святого братства выбирают его своим старостой. И вот ты, Стивен, принадлежишь к числу таких учеников, ты – староста нашего братства Пресвятой Девы. И может быть, ты и есть тот юноша, коего Господь призывает к себе.

Явная гордость, усиленная внушительным тоном священника, заставила учащенно забиться сердце Стивена.

– Удостоиться такого избрания, Стивен, – продолжал священник, – величайшая милость, которую всемогущий Бог может даровать человеку. Ни один король, ни один император на нашей земле не обладает властью служителя Божьего. Ни один ангел, ни один архангел, ни один святой и даже сама Пресвятая Дева не обладают властью служителя Божьего; властью владеть ключами от врат царствия Божьего, властью связывать и разрешать грехи^[132], властью заклинания, властью изгонять из созданий Божьих обуревающих их нечистых духов, властью, полномочием призывать великого Господа нашего сходить с небес и претворяться на престоле в хлеб и вино. Великая власть, Стивен!

Краска снова залила щеки Стивена, когда он услышал в этом гордом обращении отклик собственных гордых мечтаний. Как часто видел он себя священнослужителем, спокойно и смиренно обладающим великой властью, перед которой благоговеют ангелы и святые. В глубине души он тайно мечтал об этом. Он видел себя молодым, исполненным скромного достоинства иереем. Вот он быстрыми шагами входит в исповедальную, поднимается по ступенькам алтаря, кадит, преклоняет колена, совершает

непостижимые действия священнослужения, которые манили его своим подобием действительности и в то же время своей отрешенностью от нее. В той призрачной жизни, которой он жил в своих мечтаниях, он присваивал себе голос и жесты, подмеченные им у того или другого священника. Он преклонял колена, слегка нагнувшись, как вот этот, он покачивал кадиллом плавно, подобно другому, его риза вот так, как у третьего, распахивалась, когда он, благословив паству, снова поворачивался к алтарю. Но в этих воображаемых, призрачных сценах ему больше нравилось играть второстепенную роль. Он отстранялся от сана священника, потому что ему было неприятно, что вся эта таинственная пышность завершается его собственной особой, и потому что обряд предписывал ему слишком ясные и четкие функции. Он мечтал о более скромном церковном сане: вот, забытый всеми, стоит он на мессе поодаль от алтаря в облачении иподиакона, воздушное покрывало накинуто на плечи, его концами он держит дискос; а по совершении таинства святых даров, в шитом золотом диаконском стихаре, на возвышении, одной ступенькой ниже священника, сложив руки и повернувшись лицом к молящимся, провозглашает нараспев: «Ite, missa est»^[133]. Если когда-нибудь он и видел себя в роли священника, то только как на картинках в детском молитвеннике: в церкви без прихожан, с одним лишь ангелом у жертвенника, перед простым и строгим алтарем с прислуживающим отроком, почти таким же юным, как он сам. Только при непостижимых таинствах пресуществления и приобщения святых тайн воля его тянулась навстречу жизни. Отсутствие установленного ритуала вынуждало его к бездействию; и он молчанием подавлял свой гнев или гордость и только принимал поцелуй, который жаждал дать сам.

Сейчас в почтительном молчании он внимал словам священника и за этими словами слышал еще более отчетливый голос, который уговаривал его приблизиться, предлагал ему тайную мудрость и тайную власть. Он узнает, в чем грех Симона Волхва^[134] и что такое хула на Святого Духа, которой нет прощения. Он узнает темные тайны, скрытые от других, зачатых и рожденных во гневе! Он узнает грехи, греховные желания, греховные помыслы и поступки других людей; в полумраке церкви, в исповедальне губы женщин и девушек будут нашептывать их ему на ухо. И душа его, таинственным образом обретя неприкосновенность, даруемую рукоположением в сан, снова явится незапятнанной перед светлым престолом Божьим. Никакой грех не пристанет к его рукам, которыми он вознесет и преломит святой хлеб причастия; никакой грех не пристанет к

его молящимся устам, дабы случайно, не рассуждая о теле Господнем, он не вкусил и не выпил его на осуждение себе^[135]. Он сохранит тайное знание и тайную власть, оставаясь безгрешным, как невинный младенец, и до конца дней своих пребудет служителем Божиим, по чину Мелхиседекову^[136].

– Я завтра отслужу мессу, – сказал ректор, – чтобы всемогущий Господь открыл тебе Свою святую волю, и ты, Стивен, помолись своему заступнику, святому первомученику, великому угоднику Божию, дабы Господь просветил твой разум. Но ты должен быть твердо уверен, Стивен, что у тебя есть призвание, ибо будет ужасно, если ты обнаружишь потом, что его не было. Помни: став священником, ты остаешься им на всю жизнь. Из катехизиса ты знаешь, что таинство вступления в духовный сан – одно из тех таинств, что совершаются только раз, ибо оно оставляет в душе неизгладимый духовный след. Ты должен все это взвесить теперь, а не потом. Это важный вопрос, Стивен, ибо от него может зависеть спасение твоей бессмертной души. Мы вместе помолимся Господу.

Он отворил тяжелую входную дверь и протянул Стивену руку, словно уже считал его своим сотоварищем по духовной жизни. Стивен вышел на широкую площадку над лестницей и почувствовал теплое прикосновение мягкого вечернего воздуха. Возле церкви Финдлейтера четверо молодых людей шагали, обнявшись под руки, покачивая головами и ступая в такт проворной мелодии, которую передний наигрывал на концертино. Звуки неожиданной музыки, как это всегда бывало с ним, вмиг пронесли над причудливыми строениями его мыслей, сокрушив их безболезненно и бесшумно, как неожиданная волна сокрушает детские песочные башенки. Улыбнувшись пошленькому мотиву, он поднял глаза на лицо священника и, увидев на нем безрадостное отражение угасающего дня, медленно отнял свою руку, которая только что робко признала их союз.

Спускаясь по лестнице, он вдруг почувствовал, что больше не мучит себя. Причиной стало это лицо на пороге колледжа, эта безрадостная маска, которая отражала угасающий день. Потом через его сознание степенно потянулась тень жизни колледжа. Степенная, размеренная, бесстрастная жизнь ожидала его в ордене – жизнь без каждодневных забот. Он представил себе, как проведет первую ночь в монастыре и какой это будет ужас – проснуться утром в келье. Ему вспомнился тяжелый запах длинных коридоров в Клонгоузе, он услышал тихое шипение горящих газовых рожков. Внезапно им овладело безотчетное беспокойство. Лихорадочно ускорился пульс, и вслед за этим какой-то оглушительный гул, лишенный

всякого смысла, разметал его настороженные мысли. Его легкие расширились и сжимались, словно вдыхали влажный, теплый, душный воздух, и он снова ощутил теплый, влажный воздух в ванной Клонгоуза над мутной торфяного цвета водой.

Какой-то инстинкт, разбуженный этим воспоминанием, более сильный, чем воспитание и благочестие, пробуждался в нем всякий раз, когда он уже был совсем близок к этой жизни, инстинкт неуловимый и враждебный предостерегал его: не соглашайся. Холод и упорядоченность новой жизни отталкивали его. Он представлял себе, как встает промозглым утром и тащится с другими гуськом к ранней мессе, тщетно стараясь молитвами преодолеть томительную тошноту. Вот он сидит за обедом в общине колледжа. А как справишься с нелюдимостью, из-за которой ему было невозможно есть и пить под чужим кровом? Как подавишь гордыню, из-за которой он всегда чувствовал себя таким одиноким?

Его преподавание Стивен Дедал, S.J. [\[137\]](#).

Его имя в этой новой жизни внезапно отчетливо обозначилось у него перед глазами, а затем смутно проступило не столько само лицо, сколько цвет лица. Цвет этот то бледнел, то приобретал тускло-кирпичный оттенок. Что это – воспаленная краснота, какую он так часто видел зимним утром на выбритых щеках священников? Лицо было безглазое, хмуρο-благообразное, набожное, в багровых пятнах сдерживаемого гнева. Что это? Может быть, он вспомнил лицо иезуита, которого одни мальчики называли Остроскулым, а другие – Старым Лисом Кемпбеллом?

Он проходил в это время мимо дома иезуитского ордена на Гардинер-стрит и ощутил слабый интерес, какое окно будет его, если он когда-нибудь вступит в орден. Потом его заинтересовала слабость этого интереса, отдаленность души его от того, что совсем недавно ему казалось ее святыней, хрупкость узды, наложенной на него годами поведения и дисциплины, когда оказалось, что один решительный бесповоротный шаг грозит навсегда оборвать его свободу, временную и вечную. Голос ректора, рассказывавший ему о гордых притязаниях церкви, о тайнах и власти священнического сана, тщетно звучал в его памяти. Душа его отдалялась, не внимая, не отвечая ему, и он уже теперь знал, что все увещевания обратились в пустые, официальные фразы. Нет, он никогда не будет кадить у алтаря в одеждах священника. Его удел – избегать всяческих общественных и религиозных уз. Мудрость увещеваний священника не задела его за живое. Ему суждено обрести собственную мудрость вдали от других или познать самому мудрость других, блуждая среди соблазнов мира.

Соблазны мира – пути греха. И он падет. Он еще не пал, но падет неслышно, бесшумно, в одно мгновение. Не пасть – слишком тяжело, слишком трудно. И он почувствовал безмолвное низвержение своей души: вот она падает, падает, еще не пала, не пала, но готова пасть.

Переходя мост через реку Толка, он равнодушно взглянул на выцветшую голубую часовенку пресвятой девы, устроившуюся на подставке, словно курица на насесте, посреди закругленного окороком ряда убогих домишек. Затем, повернув налево, он вошел в переулок, который вел к его дому. Из огородов, вытянувшихся по пригорку над рекой, на него пахло тошнотворно-кислым запахом гнилой капусты. Он улыбнулся, подумав, что именно эта беспорядочность, неустроенность, и развал его родного дома, и застой растительной жизни все-таки возьмут верх в его душе. Короткий смешок сорвался с его губ, когда он вспомнил бобыля-батрака, работавшего на огороде за домом, которого они прозвали Дядя в Шляпе. И чуть погодя он невольно снова усмехнулся, когда представил себе, как Дядя в Шляпе, прежде чем приступить к работе, оглядывает поочередно все четыре стороны света и, тяжело вздохнув, втыкает заступ в землю.

Он толкнул незапиравшуюся входную дверь и прошел через голую переднюю в кухню. Его сестры и братья сидели за столом. Чаепитие уже почти кончилось, и только остатки жидкого, спитого чая виднелись на дне маленьких стеклянных кружек и банок из-под варенья, заменявших чашки. Корки и куски посыпанного сахаром хлеба, коричневые от пролитого на них чая, были разбросаны по всему столу. Там и сям расплывались маленькие лужицы, и нож со сломанной костяной ручкой торчал из начинки расковырянного пирога.

Печальное, мягкое, серо-голубое сияние угасавшего дня проникало в окно и в открытую дверь, окутывая и смягчая раскаяние, внезапно шевельнувшееся в душе Стивена. Все, в чем было отказано им, было щедро дано ему, старшему, но в мягком сиянии сумерек он не увидел на их лицах никакой злобы.

Он сел с ними за стол и спросил, где отец и мать. Один ответил:

– Пошлико домко смокотретько.

Опять переезд. Один ученик в Бельведере по фамилии Фаллон ^[138] часто, глупо хихикая, спрашивал его, почему они так любят переезжать. Гневная морщинка пролегла на его нахмуренном лбу, когда он вспомнил это глупое хихиканье.

– Нельзя ли узнать, почему это мы опять переезжаем? – спросил он.

– Потомуку, чтоко наско выставляетко хозяинко.

С дальнего конца стола голос младшего брата затянул «Часто ночью тихой»^[139]. Один за другим голоса подхватывали пение, пока наконец все вместе не запели хором. Так они будут петь, пока не появятся первые темные ночные облака и не наступит ночь.

Он подождал несколько минут, прислушиваясь, а потом сам присоединился к их пению. Он прислушивался с чувством душевной боли к интонациям усталости в их звонких, чистых, невинных голосах. Ведь они еще не успели даже и вступить на жизненный путь, а уже устали.

Он слушал этот хор, подхваченный, умноженный повторяющимися отзвуками голосов бесчисленных поколений детей, и во всех этих отзвуках ему слышались усталость и страдание. Казалось, все устали от жизни, еще не начав жить. И он вспомнил, что Ньюмен тоже слышал эту ноту в надломленных строках Вергилия, *выражавшую, подобно голосу самой Природы, страдания и усталость и вместе с тем надежду на лучшее, что было уделом ее детей во все времена*^[140].

*

Он не мог больше ждать.

От таверны Байрона^[141] до ворот Клонтарфской часовни, от ворот Клонтарфской часовни до таверны Байрона, и обратно к часовне, и опять обратно к таверне. Сначала он шагал медленно, тщательно отпечатывая шаги на плитах тротуара и подгоняя их ритм к ритму стихов. Целый час прошел с тех пор, как отец скрылся с преподавателем Дэном Кросби в таверне, намереваясь расспросить его об университете. И вот целый час он шагает взад и вперед, дожидаясь их. Но больше ждать невозможно.

Он круто повернул к Буллю^[142], ускорил шаг, чтобы резкий свист отца не настиг его и не вернул обратно, и через несколько секунд, обогнув здание полиции, завернул за угол и почувствовал себя в безопасности.

Да, мать была против университетской затеи. Он угадывал это по ее безучастному молчанию. Но ее недоверие подстегивало его сильнее, чем тщеславие отца. Он холодно вспомнил, как вера, угасавшая в его душе, крепла и росла в сердце матери. Смутное, враждебное чувство, словно облако, затуманивая его сознание, разрасталось в нем, противясь материнскому отступничеству, а когда облако рассеялось и его просветленное сознание снова наполнилось сыновней преданностью, смутно и без сожаления он почувствовал первую, пока еще едва заметную

трещинку, разъединившую их жизни.

Университет! Его уже не окликнуть, он ускользнул от дозора часовых, которые сторожили его детство, стремясь удержать его при себе и поработить, заставить служить их целям. Удовлетворение, а за ним гордость возносили его, словно медленные высокие волны. Цель, которой он был призван служить, но которая еще не определилась, незримо вела к спасению. И теперь она снова звала за собой, и новый путь вот-вот должен был открыться ему. Казалось, он слышит звуки порывистой музыки, то взмывающей на целый тон вверх, то падающей на кварту вниз, и вновь на целый тон вверх и на большую терцию вниз, – музыки, подобной трехязычному пламени, вылетающему из ночного леса. Это была волшебная прелюдия, бесконечная, бесформенная, она разрасталась, ее темп становился все быстрее и неистовей, языки пламени вырывались из ритма, и, казалось, он слышит под кустами и травой бег дикого зверя, подобный шуму дождя по листве. Дробным шумом врывается в его сознание бег зайцев и кроликов, бег оленей и ланей, и наконец он перестал различать их, а в памяти зазвучал торжественный ритм ньюменовской строки: *Чьи ноги подобны ногам оленя, и вечные длани простерты под ними* ^[143].

Торжественное величие этого смутного образа вернуло его к мысли о величии сана, от которого он отказался. Все его детство прошло в мечтах о том, что он считал своим призванием, но, когда настала минута подчиниться призыву, он отвернулся, повинувшись своенравному инстинкту. Теперь время прошло. Елей рукоположения никогда не освятит его тела. Он отказался. Почему?

Он свернул с дороги у Доллимаунта и, проходя по легкому деревянному мосту, почувствовал, как сотрясаются доски от топота тяжело обутых ног. Отряд христианских братьев возвращался с Булля. Они шли попарно, и пары одна за другой вступали на мост. Теперь уже весь мост ходил ходуном под их ногами. Их грубые лица, на которых плясали то желтые, то красные, то багровые отсветы моря, проплывали мимо него, и, стараясь смотреть на них непринужденно и равнодушно, он почувствовал, как его лицо вспыхнуло от сочувствия и стыда. В досаде на самого себя он старался скрыть свое лицо от их взглядов и смотрел вниз, в сторону, на мелкую бурлящую воду под мостом, но и там было отражение их высоких нелепых шляп, жалких, узеньких воротников и обвисших монашеских ряс.

– Брат Хикки.

Брат Квейд.

Брат Макардл.

Брат Кео.

Их благочестие такое же, как их имена, их лица, их одежды; бесполезно было внушать себе, что их смиренные сокрушающиеся сердца, может быть, платили несравненно более высокую дань преданности, чем его сердце, – дар во сто крат более угодный Богу, чем его изощренное благочестие. Бесполезно было взывать к своему великодушию, говорить, что, если бы он, когда-нибудь смирив гордыню, подошел к их дому поруганный, в нищенском рубище, они были бы к нему великодушны и возлюбили бы его, как самих себя. Бесполезно и наконец тягостно было отстаивать наперекор собственной холодной уверенности, что вторая заповедь повелевает нам возлюбить нашего ближнего, как самого себя, не в смысле количества и силы любви, но любить его так же, как самого себя.

Он извлек одно выражение из своих сокровищ^[144] и тихо про себя произнес:

– День пестро-перистых, рожденных морем облаков^[145].

Фраза, и день, и пейзаж сливались в один аккорд. Слова. Или их краски? Он дал им засиять и померкнуть, оттенок за оттенком. Золото восхода, багряная медь и зелень яблочных садов, синева волн, серая, по краям пестрая кудель облаков. Нет, это не краски. Это равновесие и звучание самой фразы. Значит, ритмический взлет и ниспадение слов ему нравятся больше, чем их смысл и цвет? Или из-за слабости зрения и робости души преломление пылающего, осязаемого мира сквозь призму многокрасочного, богато украшенного языка доставляет ему меньше радости, чем созерцание внутреннего мира собственных эмоций, безупречно воплощенного в ясной, гибкой, размеренной прозе?

Он сошел с подрагивающего моста на твердую землю. В ту же минуту ему показалось, будто в воздухе пахнуло холодом, и, покосившись на воду, он увидел, как налетевший шквал возмутил и подернул волны рябью. Легкий толчок в сердце, судорожно сжавшееся горло снова дали почувствовать ему, как невыносим для его тела холодный, лишенный человечности запах моря: но он не повернул налево к дюнам, а продолжал идти прямо вдоль хребта скал, подступавших к устью реки.

Мутный солнечный свет слабо освещал серую полосу воды там, где река входила в залив. Вдалеке, вниз по медленно текущей Лиффи чертили небо стройные мачты, а еще дальше, окутанная мглой, лежала неясная громада города. Подобно поблекшему узору на старинном гобелене древний, как человеческая усталость, сквозь вневременное пространство виднелся образ седьмого града христианского мира^[146], столь же древнего,

столь же изнемогшего и долготерпеливого в своем порабощении, как и во времена Тингмота^[147].

Уныло он поднял глаза к медленно плывущим облакам, перистым, рожденным морем. Они шли пустыней неба, кочевники в пути, шли высоко над Ирландией, дорогой на запад. Европа, откуда они пришли, лежала там, за Ирландским морем. Европа чужеземных языков, изрезанная равнинами, опоясанная лесами, обнесенная крепостями. Европа защищенных окопами и готовых выступить в поход народов. Он слышал какую-то путаную музыку воспоминаний и имен, которые почти узнавал, но не мог даже на мгновение удержать в памяти, потом музыка начала уплывать, уплывать, уплывать, и от каждого уплывающего вздоха туманной мелодии отделялся один долгий призывный звук, прорезавший, подобно звезде, сумрак тишины. Опять! Опять! Опять! Голос из потустороннего мира взывал:

- Привет, Стефанос!
- Идет великий Дедал!
- А-а, хватит, Двайер! Тебе говорят! А то как двину тебе в физию. А-а!
- Так его, Таусер! Окуни, окуни его!
- Сюда, Дедал! Бус Стефануменос! Бус Стефанофорос!
- Окуни его, Таусер! Топи его, топи.
- Помогите, помогите!.. А-а!

Он узнал их голоса в общем крике, прежде чем различил лица. Один только вид этого месива мокрой наготы пронизывал его знобкой дрожью. Их тела, трупно-белые, или залитые бледно-золотым сиянием, или докрасна обожженные солнцем, блестели влагой. Трамплин, кое-как прилаженный на камнях, ходивший ходуном при каждом прыжке, грубо обтесанные камни крутого волнореза, через который они карабкались в своей возне, сверкали холодным мокрым блеском. Они хлестали друг друга полотенцами, набрякшими от холодной морской воды, и холодной соленой влагой были пропитаны их слипшиеся волосы.

Он остановился, откликаясь на возгласы и легко парируя шутки. Какими безликими казались они все: Шьюли – на сей раз без широкого, обычно расстегнутого воротничка, Эннис – без ярко-красного пояса с пряжкой в виде змеи и Конноли – без своей широкой куртки с оборванными клапанами карманов. Больно было смотреть на них, мучительно больно видеть признаки возмужалости, которые делали отталкивающей их жалкую наготу. Может быть, в многолюдности и шуме укрывались они от тайного страха, притаившегося в душе. И ему вспомнилось, что вдали от них, в тишине, его охватывал ужас перед тайной собственного тела.

– Стефанос Дедалос! Бус Стефануменос! Бус Стефанофорос!

Их подтрунивания были для него не новы, и теперь они льстили его спокойному, горделивому превосходству. Теперь, более чем когда-либо, его необычное имя звучало для него пророчеством. Таким вневременным был серый теплый воздух, таким переменчивым и безликим его собственное настроение, что все века слились для него в один. Всего какой-нибудь миг назад призрак древнего датского королевства предстал перед ним сквозь завесу окутанного мглой города. Сейчас в имени легендарного искусника ему слышался шум глухих волн; казалось, он видит крылатую тень, летящую над волнами и медленно поднимающуюся ввысь. Что это? Был ли это дивный знак, открывающий страницу некой средневековой книги пророчеств и символов? Человек, подобный соколу в небе, летящий к солнцу над морем, предвестник цели, которой он призван служить и к которой он шел сквозь туман детских и отроческих лет, символ художника, кующего заново в своей мастерской из косной земной материи новое, парящее, неосязаемое, нетленное бытие?

Сердце трепетало, дыхание участилось, сильный порыв ветра пронзил все его существо, как если бы он взмыл вверх, к солнцу. Сердце трепетало в страхе, а душа уносилась ввысь. Душа парила в потустороннем мире, и тело его, до боли знакомое тело, очистилось в единый миг, освободившись от неуверенности, стало лучезарным и приобщилось к стихии духа. Экстазом полета сияли его глаза, порывистым стало дыхание, а тело, подхваченное ветром, было трепещущим, порывистым, сияющим.

– Раз, два... Берегись!..

– Ай, меня утонуло!..

– Раз! Два! Три! Прыгай!..

– Следующий, следующий!..

– Раз... Уф!..

– Стефанофорос!..

Горло у него щемило от желания крикнуть во весь голос криком сокола или орла в вышине, пронзительно крикнуть ветру о своем освобождении. Жизнь взывает к его душе – не тем скучным, грубым голосом мира обязанностей и отчаяния, не тем нечеловеческим голосом, что звал его к безликому служению церкви. Одно мгновение безудержного полета освободило его, и ликующий крик, который губы его сдержали, ворвался в его сознание.

– Стефанофорос!..

Что это все теперь, если не саван, сброшенный с брэнного тела: и страх, в котором он блуждал днем и ночью, и неуверенность, сковывавшая

его, и стыд, терзавший его изнутри и извне, – могильные покровы, саван?

Душа его восстала из могилы отрочества, стряхнув с себя могильные покровы. Да! Да! Да! Подобно великому мастеру, чье имя он носит, он гордо создаст нечто новое из свободы и мощи своей души – нечто живое, парящее, прекрасное, нерукотворное, нетленное.

Он быстро сбежал с откоса, не в силах больше сдерживать горения в крови. Он чувствовал, как горят его щеки, песня клокочет в горле, ноги просятся в путь – странствовать, пуститься до пределов земли. Вперед! Вперед! – словно взывало его сердце. Сумерки спустятся над морем, ночь сойдет на долины, заря забрезжит перед странником и откроет ему незнакомые поля, холмы и лица. Но где?

Он посмотрел на север в сторону Хоута^[148]. Море уже отхлынуло, обнажив линию водорослей на пологом откосе волнореза, и волна отлива быстро бежала вдоль побережья. Уже среди мелкой зыби теплым и сухим овалом проступала отмель. Там и сям в мелкой воде поблескивали песчаные островки, а на островках, и вокруг длинной отмели, и среди мелких ручейков на пляже бродили легкоодетые пестроодетые фигуры, то и дело нагибаясь и что-то поднимая с песка.

Через несколько секунд он уже стоял босой, носки засунул в карманы, а брезентовые туфли связал за шнурки и перекинул через плечо, потом вытащил из мусора, нанесенного приливом, заостренную, изъеденную солью палку и слез вниз по волнорезу.

По отмели бежал ручеек. Медленно он побрел вдоль него, вглядываясь в бесконечное движение водорослей. Изумрудные, черные, рыжие, оливковые, они двигались под водой, кружась и покачиваясь. Вода в ручейке, потемневшая от этого бесконечного движения, отражала высоко плывущие облака. Облака тихо плыли вверху, а внизу тихо плыли морские водоросли, и серый теплый воздух был спокоен, и новая, бурная жизнь пела в его жилах.

Куда кануло его отрочество? Где его душа, избежавшая своей судьбы, чтобы в одиночестве предаться скорби над позором своих ран и в обители убожества и обмана принять венок, облачившись в истлевшие покровы, которые распадутся в прах от одного прикосновения? И где теперь он сам?

Он был один. Отрешенный, счастливый, коснувшийся пьянящего средоточия жизни. Один – юный, дерзновенный, неистовый, один среди пустыни пьянящего воздуха, соленых волн, выброшенных морем раковин и водорослей, и дымчато-серого солнечного света, и пестроодетых легкоодетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов.

Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь, глядела на море. Казалось, какая-то волшебная сила превратила ее в существо, подобное невиданной прекрасной морской птице. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, словно ноги цапли – белее белого, только прилипшая к ним изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Ноги повыше колен чуть полнее, мягкого оттенка слоновой кости, обнажены почти до бедер, где белые оборки панталон белели, как пушистое оперение. Подол серо-синего платья, подобранный без стеснения спереди до талии, спускался сзади голубиным хвостом. Грудь – как у птицы, мягкая и нежная, нежная и мягкая, как грудь темнокрылой голубки. Но ее длинные светлые волосы были девичьи, и девичьим, осененным чудом смертной красы, было ее лицо.

Девушка стояла одна, не двигаясь, и глядела на море, но когда она почувствовала его присутствие и благоговение его взгляда, глаза ее обратились к нему спокойно и встретили его взгляд без смущения и вызова. Долго, долго выдерживала она этот взгляд, а потом спокойно отвела глаза и стала смотреть вниз на ручей, тихо плеская воду ногой – туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущейся воды разбудил тишину, чуть слышный, легкий, шепчущий, легкий, как звон во сне, – туда, сюда, туда, сюда, – и легкий румянец задрожал на ее щеках.

«Боже милосердный!» – воскликнула душа Стивена в порыве земной радости.

Он вдруг отвернулся от нее и быстро пошел по отмели. Щеки его горели, тело пылало, ноги дрожали. Вперед, вперед, вперед уходил он, неистово распевая гимн морю, радостными криками приветствуя кликнувшую его жизнь.

Образ ее навеки вошел в его душу, но ни одно слово не нарушало священной тишины восторга. Ее глаза позвали его, и сердце рванулось навстречу этому призыву. Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни. Неистовый ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланец царств пьянящей жизни, чтобы в единый миг восторга открыть перед ним врата всех путей заблуждения и славы. Вперед, все вперед, вперед, вперед!

Он внезапно остановился и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? Который теперь час?

Вокруг него ни души, не слышно ни звука. Но прилив уже возвращался, и день был на исходе. Он повернул к берегу и побежал вверх по отлогой отмели, не обращая внимания на острую гальку; в укромной ложбинке, среди песчаных холмов, поросших пучками травы, он лег, чтобы

тишина и покой сумерек утихомирили бушующую кровь.

Он чувствовал над собой огромный равнодушный купол неба и спокойное шествие небесных тел; чувствовал под собой ту землю, что родила его и приняла к себе на грудь.

В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно чувствуя широкое круговращательное движение земли и ее стражей, словно ощущая странное сияние какого-то нового мира. Душа его замирала, падала в этот новый мир, мир фантастический, туманный, неясный, словно мир подводных глубин, где двигались смутные существа и тени. Мир – мерцание или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь вспыхивающим светом, раскрывающимся цветком, развертывался мир в бесконечном движении, то вспыхивая ярко-алым цветком, то угасая до белейшей розы, лепесток за лепестком, волна света за волной света, затопляя все небо мягкими вспышками одна ярче другой^[149].

Уже стемнело, когда он проснулся, песок и чахлая трава его ложа теперь не переливались красками. Он медленно встал и, вспомнив восторг, который пережил во сне, восхищенно и радостно вздохнул.

Он взошел на вершину холма и осмотрелся кругом. Уже стемнело. Обод молодого месяца пробился сквозь бледную ширь горизонта, обод серебряного обруча, врезавшийся в серый песок; с тихим шепотом волны прилива быстро приближались к берегу, окружая, как островки, одинокие, запоздалые фигуры на отдаленных песчаных отмелях.

Он допил третью чашку жидкого чая и, глядя в темную гущу на дне, стал грызть разбросанные по столу корки поджаренного хлеба. Ямка в желтоватых чайниках была как размыв в трясине, а жидкость под ними напоминала ему темную торфяного цвета воду в ванне Клонгоуза. Из только что перерытой коробки с закладными, стоявшей у самого его локтя, он рассеянно, одну за другой вынимал засаленными пальцами то синие, то белые, пожелтевшие и смятые, бумажки со штампом ссудной кассы Дейли или Макивой.

1. Пара сапог.
2. Пальто.
3. Разные мелочи и белье.
4. Мужские брюки.

Затем он отложил их в сторону и, задумчиво уставившись на крышку коробки, всю в пятнах от раздавленных вшей, рассеянно спросил мать:

– На сколько наши часы теперь вперед?

Мать приподняла лежавший на боку посреди каминной полки старый будильник и снова положила его на бок. Циферблат показывал без четверти двенадцать.

– На час двадцать пять минут, – сказала она. – На самом деле сейчас двадцать минут одиннадцатого... Уж мог бы ты постараться вовремя уходить на лекции.

– Приготовьте мне место для мытья, – сказал Стивен.

– Кейти, приготовь Стивену место для мытья.

– Буди, приготовь Стивену место для мытья.

– Я не могу, я тут с синькой. Мэгги, приготовь ты.

Когда эмалированный таз пристроили в раковину и повесили на край старую рукавичку, Стивен позволил матери потерять ему шею, промыть уши и ноздри.

– Плохо, – сказала она, – когда студент университета такой грязнуля, что матери приходится его мыть!^[150]

– Но ведь тебе это доставляет удовольствие, – спокойно сказал Стивен.

Сверху раздался пронзительный свист, и мать, бросив ему на руки волглую блузу, сказала:

– Вытирайся и, ради всего святого, скорей уходи.

После второго продолжительного и сердитого свистка одна из девочек

подошла к лестнице:

– Да, папа?

– Эта ленивая сука, твой братец, убрался он или нет?

– Да, папа.

– Не врешь?

– Нет, папа.

Сестра вернулась назад, делая Стивену знаки, чтобы он поскорей удирает через черный ход. Стивен засмеялся и сказал:

– Странное у него представление о грамматике, если он думает, что сука мужского рода.

– Как тебе не стыдно, Стивен, – сказала мать, – настанет день, когда ты еще пожалеешь, что поступил в это заведение. Тебя точно подменили.

– До свидания, – сказал Стивен, улыбаясь и целуя на прощание кончики своих пальцев.

Проулок раскис от дождя, и, когда он медленно пробирался по нему, стараясь ступать между кучами сырого мусора, из монастырской больницы по ту сторону стены до него донеслись вопли умалишенной монахини:

– Иисусе! О, Иисусе! Иисусе!

Он отогнал от себя этот крик, досадливо тряхнул головой и заторопился, спотыкаясь о вонючие отбросы, а сердце заняло от горечи и отвращения. Свист отца, причитания матери, вопли сумасшедшей за стеной слились в оскорбительный хор, грозивший унижить его юношеское самолюбие. Он с ненавистью изгнал даже их отзвук из своего сердца; но когда он шел по улице и чувствовал, как серый утренний свет падает на него сквозь ветки политых дождем деревьев, когда вдохнул терпкий, острый запах мокрых листьев и коры, горечь покинула его душу.

Отягощенные дождем деревья, как всегда, вызвали воспоминания о девушках и женщинах из пьес Герхарда Гауптмана^[151], и воспоминания об их туманных горестях и аромат, льющийся с влажных веток, слились в одно ощущение тихой радости. Утренняя прогулка через весь город началась, и он заранее знал, что, шагая по илистой грязи квартала Фэрвью, он будет думать о суровой сребротканой прозе Ньюмена, а на Стрэнд-роуд, рассеянно поглядывая в окна съестных лавок, припомнит мрачный юмор Гвидо Кавальканти и улыбнется; что у каменотесной мастерской Берда на Толбот-плейс его пронзит, как свежий ветер, дух Ибсена – дух своенравной юношеской красоты; а поравнявшись с грязной портовой лавкой по ту сторону Лиффи, он повторит про себя песню Бена Джонсона, начинающуюся словами:

Я отдохнуть прилег, хотя и не устал...^[152]

Часто, устав от поисков сути прекрасного в неясных речениях Аристотеля и Фомы Аквинского, он отдыхал, вспоминая изящные песни елизаветинцев^[153]. Ум его, словно сомневающийся монах, часто укрывался в тени под окнами этого века, внимая грустной и насмешливой музыке лютен и задорному смеху гуляющих женок, пока слишком грубый хохот, а то и какая-нибудь непристойная или напыщенная фраза, хотя и потускневшая от времени, не возмущала его монашескую гордость и не заставляла покинуть это убежище.

Ученые труды, над которыми, как полагали, он просиживал целыми днями, лишая себя общества сверстников, были всего лишь набором тонких изречений из поэтики и психологии Аристотеля, из «*Synopsis Philosophiae Scholasticae ad mentem divi Thomae*»^[154]. Мысль его, сотканная из сомнений и недоверия к самому себе, иногда вдруг озарялась вспышками интуиции, вспышками такими яркими, что в эти мгновения окружающий мир исчезал, как бы испепеленный пламенем, а его язык делался неповоротливым, и он невидящими глазами встречал чужие взгляды, чувствуя, как дух прекрасного, подобно мантии, окутывает его и он, хотя бы в мечтах, приобщается к возвышенному. Однако краткий миг гордой немоты проходил, и он снова с радостью окунался в суету обыденной жизни и без страха, с легким сердцем шел своей дорогой среди нищеты, шума и праздности большого города.

На канале у стенда для афиш он увидел чахоточного с кукольным лицом, в шляпе с оторванными полями, который спускался ему навстречу с моста мелкими шажками в наглухо застегнутом пальто, выставив сложенный зонт наподобие жезла. Должно быть, уже одиннадцать, подумал Стивен и заглянул в молочную узнать время. Часы там показывали без пяти пять, но, отходя от молочной, он услышал, как поблизости какие-то часы быстро и отчетливо пробили одиннадцать. Он рассмеялся: бой часов напомнил ему Макканна^[155], он даже представил себе его светлую козлиную бородку и всю его коренастую фигуру, когда тот стоит на ветру в охотничьей куртке и бриджах на углу возле лавки Хопкинса и изрекает:

– Вы, Дедал, существо антисоциальное и заняты только собой. А я нет. Я демократ и буду работать и бороться за социальную свободу и равенство классов и полов в будущих Соединенных Штатах Европы.

Одиннадцать! Значит, и на эту лекцию он опоздал. Какой сегодня день? Он остановился у киоска, чтобы прочесть газетный заголовок. Четверг. С 10 до 11 – английский; с 11 до 12 – французский; с 12 до часа –

физика. Он представил себе лекцию по английскому языку и даже на расстоянии почувствовал растерянность и беспомощность. Он видел покорно склоненные головы однокурсников, записывающих в тетради то, что требовалось заучить: определения по имени и определения по существу, различные примеры, даты рождения и смерти или основные произведения и рядом положительные и отрицательные оценки критики. Его голова не склоняется над тетрадью, мысли блуждают далеко, но смотрит ли он на маленькую кучку студентов вокруг себя или в окно на заросшие аллеи парка, его неотступно преследует запах унылой подвальной сырости и разложения. Еще одна голова, не нагнувшаяся к столу, возвышалась прямо перед ним в первых рядах, словно голова священника, без смирения молящегося о милости к бедным прихожанам перед чашей со святыми дарами. Почему, думая о Крэнли, он никогда не может вызвать в своем воображении всю его фигуру, а только голову и лицо? Вот и теперь, на фоне серого утра, он видел перед собой – словно призрак во сне – отсеченную голову, маску мертвеца с прямыми жесткими черными волосами, торчащими надо лбом, как железный венец, лицо священника, аскетически-бледное, с широкими крыльями носа, с темной тенью под глазами и у рта, лицо священника с тонкими, бескровными, чуть усмевающимися губами, – и вспомнил, как день за днем, ночь за ночью он рассказывал Крэнли о всех своих душевных невзгодах, метаниях и стремлениях, а ответом друга было только внимающее молчание. Стивен уже было решил, что лицо это – лицо чувствующего свою вину священника, который выслушивает исповеди тех, кому он не властен отпускать грехи, и вдруг словно почувствовал на себе взгляд темных женственных глаз.

Это видение как бы приоткрыло вход в странный и темный лабиринт мыслей, но Стивен тотчас же отогнал его, чувствуя, что еще не настал час вступить туда. Равнодушие друга, как ночной мрак, разливалось в воздухе неуловимые смертоносные испарения, и он поймал себя на том, что, глядя по сторонам, на ходу выхватывает то одно, то другое случайное слово и вяло удивляется, как беззвучно и мгновенно они теряют смысл; а вот уже и убогие вывески лавок, словно заклинания, завладели им, душа съежилась, вздыхая по-стариковски, а он все шагал по проулку среди этих мертвых слов. Его собственное ощущение языка уплывало из сознания, каплями вливаясь в слова, которые начинали сплетаться и расплетаться в сбивчивом ритме:

Плющ плющится по стене,

Плещет, пляшет по стене.
Желтый жметя плющ к стене,
Плющ желтеет на стене.

Что за чепуха? Боже мой, что это за плющ, который плющится по стене? Желтый плющ – это еще куда ни шло, желтая слоновая кость – тоже. Ну, а сплющенная слоновая кость?

Слово теперь засверкало в его мозгу светлее и ярче, чем слоновая кость, выпиленная из крапчатых слоновых бивней. Ivory, ivoire, avorio, ebur^[156]. Одним из первых предложений, которые он учил в школе на латинском языке, была фраза: «India mittit ebur»^[157], и ему припомнилось суровое северное лицо ректора, учившего его излагать «Метаморфозы» Овидия изысканным английским языком, который звучал довольно странно, когда речь шла о свиньях, черепках и свином сале. То небольшое, что было ему известно о законах латинского стиха, он узнал из затрепанной книжки, написанной португальским священником:

Contrahit orator, variant in carmine vates^[158].

Кризисы, победы и смута в римской истории преподносились ему в избитых словах *in tanto discrimine*^[159]. Он пытался проникнуть в общественную жизнь города городов сквозь призму слов *implere ollam denarioium*, которые ректор сочно переводил: «наполнить сосуд динариями». Страницы истрепанного Горация никогда не казались холодными на ощупь, даже если его пальцы стыли от холода; это были живые страницы, и пятьдесят лет тому назад их перелистывали живые пальцы Джона Дункана Инверэрити и его брата Уильяма Малькольма Инверэрити. Да, их благородные имена сохранились на выцветшем заглавном листе, и даже для такого скромного латиниста, как он, выцветшие стихи были благоуханными, точно все эти годы они пролежали в мирте, лаванде и вербене. И все же ему было горько сознавать, что он навсегда останется только робким гостем на празднике мировой культуры и что монашеская ученость, языком которой он пытался выразить некую эстетическую философию, расценивалась его веком не выше, чем мудреная и забавная тарабарщина геральдики и соколиной охоты.

Серая громада колледжа Тринити с левой стороны, тяжело вдвинутая в невежественный город, словно тусклый камень – в тесную оправу, начала давить на его сознание. И всячески стараясь стряхнуть с себя путы

протестантского мировоззрения, он вышел к нелепому памятнику национальному поэту Ирландии^[160].

Он взглянул на него без гнева, потому что, хотя неряшливость тела и духа, точно невидимые вши, ползла по памятнику вверх по полусогнутым ногам, по складкам одежды и вокруг его холопской головы, памятник, казалось, смиренно сознавал собственное ничтожество. Это был фирболг, укравший тогу милезийца^[161], и он вспомнил своего приятеля Давина^[162], студента из крестьян. Фирболг было его шутовское прозвище, но молодой крестьянин мирился с ним:

– Ну что ж, Стиви, раз ты сам говоришь, что у меня тупая голова, зови меня как хочешь.

Уменьшительная форма его имени тронула Стивена, когда он услышал его в первый раз: как правило, он не допускал фамильярности с другими студентами так же, как и они с ним. Часто, сидя у Давина на Грантем-стрит и не без удивления поглядывая на выстроенные парами у стены отличные сапоги своего приятеля, он читал чужие стихи и строфы, за которыми скрывались его собственные томление и горечь. Грубоватый, как у фирболга, ум его слушателя то привлекал, то отталкивал его – привлекал врожденной спокойно-учливой внимательностью, причудливым оборотом старинной английской речи, восхищением перед грубой физической силой – Давин был ярким поклонником гэлла Майкла Кьюсака; то вдруг отталкивал неповоротливостью понимания, примитивностью чувств или тупым выражением ужаса, внезапно появлявшимся в глазах, ужаса глухой и нищей ирландской деревни, где ежевечерний комендантский час^[163] наводил на всех страх.

Заодно с доблестными подвигами своего дяди, атлета Мэта Давина^[164], юный крестьянин читал скорбные предания Ирландии. Толкуя о нем, товарищи Давина, старавшиеся во что бы то ни стало внести какую-то значительность в нудную жизнь колледжа, склонны были изображать его молодым фением. Нянька Давина научила его в детстве ирландскому языку и осветила примитивное воображение мальчика зыбким светом ирландской мифологии. Давин относился к этой мифологии, на которой ни один ум не прочертил еще линии прекрасного^[165], и к ее тяжеловесным сказаниям, что ветвились, проходя свои циклы, так же, как к католической религии, – с тупой верностью раба. Любую мысль или чувство, если они приходили из Англии или оказывались достоянием английской культуры, он, словно повинуюсь какому-то приказу, встречал в штыки. А о мире, лежащем за пределами Англии, знал только то, что во Франции существует

Иностранный легион, в который он, по его словам, собирался вступить.

Сопоставляя эти помыслы и характер Давина, Стивен часто называл его ручным гуськом^[166], вкладывая в прозвище предельное возмущение вялостью слов и поступков друга, которые часто становились преградой между пытливым умом Стивена и сокровенными тайнами ирландской жизни.

Как-то вечером этот молодой крестьянин, подзадоренный бурным и высокопарным красноречием, которым Стивен разряжал холодное молчание своего бунтующего разума, вызвал перед воображением Стивена странное видение. Они шли не спеша к дому Давина по темным узким улочкам убогого еврейского квартала.

– Прошлой осенью, Стиви, – уже зима была на пороге – со мной приключилась одна штука. Я пока ни одной живой душе не обмолвился об этом. Тебе первому. Уж не помню, в октябре это случилось или в ноябре, вроде как в октябре, потому что это было перед тем, как я приехал сюда поступать в университет.

Стивен, улыбаясь, посмотрел на друга, польщенный таким доверием и вновь покоренный его простодушным тоном.

– Я провел тогда весь день в Баттевенте^[167], не знаю, ты представляешь, где это? Там был хоккейный матч между «Ребятами Кроука» и «Бесстрашными терльсцами». Вот это был матч так матч, Стиви! У моего двоюродного брата Фонзи Давина всю одежду в клочья изорвали. Он стоял вратарем в команде Лимерика, но половину игры носился с нападающими и орал как сумасшедший. Вот уж не забуду этого дня! Один из Кроуков так долбанул его клюшкой, – ей-богу, Стиви! – чуть не попал ему в висок. Правда, Стиви! Придись этот удар чуточку повыше, тут бы ему и конец.

– Приятно слышать, что он уцелел, – сказал Стивен смеясь. – Но это, надеюсь, не та необыкновенная история, которая приключилась с тобой?

– Ну, конечно, тебе неинтересно. Так вот, после этого матча было столько разговоров да шуму, что я опоздал на поезд, и даже ни одной телеги по дороге не попало, потому как в Каслтаунроше было церковное собрание и все крестьяне уехали туда. Ничего не попишешь! Надо было или оставаться на ночь, или идти пешком. Я и решил пойти. Уже под вечер подошел к Бэллихаурским холмам, а оттуда до Килмэлока еще миль десять, если не больше, дорога длинная, глухая. На всем пути не встретишь ни одного жилья человеческого, ни звука не услышишь. Уж совсем темно стало. Раза два я останавливался в кустах, чтобы зажечь трубку, и, кабы не

сильная роса, то, пожалуй, растянулся бы и заснул. Наконец за одним из поворотов дороги, гляжу – маленький домик и свет в окне. Я подошел и постучался. Чей-то голос спросил, кто там, и я ответил, что возвращаюсь домой после матча в Баттевенте, и попросил напиток. Через несколько секунд мне открыла дверь молодая женщина и вынесла большую кружку молока. Она была полураздета, похоже, когда я постучал, собиралась лечь спать; волосы у нее были распущены, и мне показалось по ее фигуре и по выражению глаз, что она беременна. Мы долго разговаривали, и все в дверях, и я даже подумал: вот странно, ведь грудь и плечи у нее были голые. Она спросила меня, не устал ли я и не хочу ли переночевать здесь; а потом сказала, что совсем одна в доме, что муж ее уехал утром в Куинстаун проводить сестру. И все время, пока мы разговаривали, Стиви, она не сводила с меня глаз и стояла так близко ко мне, что я чувствовал ее дыхание. Когда я отдал ей кружку, она взяла меня за руку, потянула через порог и сказала: «Войди, останься здесь на ночь. Тебе нечего бояться. Здесь никого нет, кроме нас». Я не вошел, Стиви, я поблагодарил ее и пошел дальше своей дорогой. Меня всего трясло как в лихорадке. На повороте я обернулся, гляжу, она так и стоит в дверях.

Последние слова рассказа Давина звенели в памяти Стивена, и облик женщины, о которой тот рассказывал, вставал перед ним, сливаясь с обликом других крестьянских женщин, вот так же стоявших в дверях, когда экипажи колледжа проезжали по Клейну: живой образ ее и его народа, душа, которая, подобно летучей мыши, пробуждалась к сознанию в темноте, тайне и одиночестве; глаза, голос и движения простодушной женщины, предлагающей незнакомцу разделить с нею ложе.

Чья-то рука легла ему на плечо, и молодой голос крикнул:

– Возьмите у меня, сэр. Купите для почина! Вот хорошенький букетик. Возьмите, сэр!

Голубые цветы, которые она протягивала, и ее голубые глаза показались ему в эту минуту олицетворением самого чистейшего простодушия; он подождал, пока это впечатление рассеется и останется только ее оборванное платье, влажные жесткие волосы и вызывающее лицо.

– Купите, сэр! Пожалейте бедную девушку!

– У меня нет денег, – сказал Стивен.

– Возьмите, сэр, вот хорошенький букетик! Всего только пенни!

– Вы слышали, что я сказал? – спросил Стивен, наклоняясь к ней. – Я сказал: у меня нет денег. Повторяю это еще раз.

– Ну что ж, Бог даст, когда-нибудь они у вас будут, – секунду

помолчав, ответила девушка.

– Возможно, – сказал Стивен, – но мне это кажется маловероятным.

Он быстро отошел от девушки, боясь, что ее фамильярность обратится в насмешку, и стремясь скрыться из виду, прежде чем она предложит свой товар какому-нибудь туристу из Англии или студенту из колледжа святой Троицы. Грэфтон-стрит, по которой он шел, только усилила ощущение безотрадной нищеты. В самом начале улицы, посреди дороги, была установлена плита в память Вулфа Тона^[168], и он вспомнил, как присутствовал с отцом при ее открытии. С горечью вспомнил он эту шутовскую церемонию. Там было четыре французских делегата, даже не покинувших экипажа, и один из них, пухлый улыбающийся молодой человек, держал насаженный на палку плакат с напечатанными буквами: «Vive l'Irlande!»^[169].

Деревья в Стивенс-Грин благоухали после дождя, а от насыщенной влагой земли исходил запах тления – словно чуть слышный аромат ладана, поднимающийся из множества сердец, сквозь гниющую листву. Душа легкомысленного, развращенного города, о котором ему рассказывали старшие, обратилась со временем в этот легкий тленный запах, поднимающийся от земли, и он знал, что через минуту, вступив в темный колледж, он ощутит иное тление, непохожее на растленность Повесы Игана и Поджигателя Церквей Уэйли^[170].

Было уже слишком поздно идти на лекцию по французскому языку. Он миновал холл и повернул коридором налево в физическую аудиторию. Коридор был темный и тихий, но тишина его как-то настораживала. Откуда у него это ощущение настороженности, отчего? Оттого ли, что он слышал, будто здесь во времена Повесы Уэйли^[171] была потайная лестница? Или, может быть, этот дом иезуитов экстерриториален и он здесь среди чужеземцев? Ирландия Тона и Парнелла как будто куда-то отступила.

Он открыл дверь аудитории и остановился в унылом, сером свете, пробивавшемся сквозь пыльные окна. Присевшая на корточки фигура возилась у широкой каминной решетки, разжигая огонь, и по худобе и седине он узнал декана. Стивен тихо закрыл дверь и подошел к камину.

– Доброе утро, сэр! Могу я чем-нибудь помочь вам?

Священник вскинул глаза.

– Минутку, мистер Дедал, – сказал он. – Вот вы сейчас увидите. Разжигать камин – целая наука. Есть науки гуманитарные, а есть науки полезные. Так вот это одна из полезных наук.

– Я постараюсь ей научиться, – сказал Стивен.

– Секрет в том, чтобы не класть слишком много угля, – продолжал декан, проворно действуя руками.

Он вытащил из боковых карманов сутаны четыре свечных огарка и аккуратно рассовал их среди угля и бумаги. Стивен молча наблюдал за ним. Стоя коленапреклоненный на каменной плите перед камином и поправляя жгуты бумаги и огарки, прежде чем зажечь огонь, он больше чем когда-либо напоминал левита, смиренного служителя Господня, приготовляющего жертвенный огонь в пустом храме. Подобно грубой одежде левита, выцветшая, изношенная сутана окутывала коленапреклоненную фигуру, которой было бы тягостно и неудобно в пышном священническом облачении или в обшитом бубенцами ефодом. Сама плоть его истерлась и состарилась в скромном служении Господу: он поддерживал огонь в алтаре, передавал секретные сведения, опекал мирян, сурово карал по приказанию свыше. И все же плоть его не просияла благодатью, на ней не было ни следа красоты, присущей святости или высокому духовному сану. Нет, сама душа его истерлась и состарилась в этом служении, так и не приблизившись к свету и красоте, и обрела не благоухание святости, а лишь умерщвленную волю, столь же нечувствительную к радости такого служения, сколь было глухо его сухое, жилистое старческое тело, покрытое серым пухом седеющих волос, к радостям любви или битвы.

Сидя на корточках, декан следил, как загораются щепки. Чтобы как-то нарушить молчание, Стивен сказал:

– Я, наверно, не сумел бы растопить камин.

– Вы художник, не правда ли, мистер Дедал? – сказал декан, подняв вверх свои помаргивающие тусклые глаза. – Назначение художника – творить прекрасное. А что такое прекрасное – это уже другой вопрос.

Он медленно потер сухие руки, размышляя над сложностью вопроса.

– А вы можете разрешить его? – спросил он.

– Фома Аквинский, – ответил Стивен, – говорит: «Pulchra sunt quae visa placent»^[172].

– Вот этот огонь приятен для глаз, – сказал декан. – Можно ли, исходя из этого, назвать его прекрасным?

– Он постигается зрением, что в данном случае будет восприятием эстетическим, и, следовательно, он прекрасен. Но Фома Аквинский также говорит, «Bonum est in quod tendit appetitus»^[173]. Поскольку огонь удовлетворяет животную потребность в тепле, он – благо. В аду, однако, он – зло.

– Совершенно верно, – сказал декан. – Вы абсолютно правы.

Он быстро встал, подошел к двери, приоткрыл ее и сказал:

– Говорят, тяга весьма полезна в этом деле.

Когда декан вернулся к камину, слегка прихрамывая, но быстрым шагом, из его тусклых, бесчувственных глаз на Стивена глянула немая душа иезуита. Подобно Игнатию, он был хромой, но в его глазах не горело пламя энтузиазма. Даже легендарное коварство ордена, коварство более непостижимое и тонкое, чем их пресловутые книги о тонкой, непостижимой мудрости, не воспламеняло его душу апостольским рвением. Казалось, он пользовался приемами и умением, и лукавством мира сего, как указано, только для вящей славы Божией, без радости и без ненависти, не думая о том, что в них дурного, но твердым жестом повиновения направляя их против них же самих, и, несмотря на все это безгласное послушание, казалось, он даже и не любит учителя и мало или даже совсем не любит целей, которым служит. «*Similiter atque senis baculus*»^[174], он был тем, чем был задуман основателем ордена, – посохом в руке старца, который можно было поставить в угол, или можно на него опереться в темноте в непогоду, положить на садовую скамейку рядом с букетом, оставленным какой-нибудь леди, а когда и грозно замахнуться им.

Поглаживая подбородок, декан стоял у камина.

– Когда же мы услышим от вас что-нибудь по вопросам эстетики? – спросил он.

– От меня?! – в изумлении сказал Стивен. – Хорошо, если мне раз в две недели случается натолкнуться на какую-то мысль.

– Да. Это очень глубокие вопросы, мистер Дедал, – сказал декан. – Вглядываться в них – все равно что смотреть в бездну морскую с Мохерских скал. В нее ныряют и не возвращаются. Только опытный водолаз может спуститься в эти глубины, исследовать их и выплыть на поверхность.

– Если вы имеете в виду спекулятивное суждение, сэр, – сказал Стивен, – то мне представляется, что никакой свободной мысли не существует, поскольку всякое мышление должно быть подчинено собственным законам и ограничено ими.

– Хм!..

– Размышляя, я сейчас беру за основу некоторые положения Аристотеля и Фомы Аквинского.

– Понимаю, вполне понимаю вас.

– Я буду руководствоваться их мыслями, пока не создам что-то свое. Если лампа начнет коптить и чадить, я постараюсь почистить ее. Если же

она не будет давать достаточно света, я продам ее и куплю другую.

– У Эпиктета, – сказал декан, – тоже была лампа, проданная после его смерти за баснословную цену. Это была лампа, при свете которой он писал свои философские труды. Вы читали Эпиктета?

– Старец, который говорил, что душа подобна сосуду с водой^[175], – резко сказал Стивен.

– Он со свойственной ему простотой рассказывает нам, – продолжал декан, – что поставил железную лампу перед статуей одного из богов, а вор украл эту лампу. Что же сделал философ? Он рассудил, что красть – в природе вора, и на другой день купил глиняную лампу взамен железной.

Запах растопленного сала поднялся от огарков и смешался в сознании Стивена со звяканьем слов: сосуд, лампа, лампа, сосуд. Голос священника тоже звякал. Мысль Стивена инстинктивно остановилась, задержанная этими странными звуками, образами и лицом священника, которое казалось похожим на незажженную лампу или отражатель, повешенный под неправильным углом. Что скрывалось за ним или в нем? Угрюмая оцепенелость души или угрюмость грозовой тучи, заряженной понимающим разумом и способной на гнев Божий?

– Я имел в виду несколько иную лампу, сэр, – сказал Стивен.

– Безусловно, – сказал декан.

– Одна из трудностей эстетического обсуждения, – продолжал Стивен, – заключается в том, чтобы понять, в каком смысле употребляются слова – в литературном или бытовом. Я вспоминаю одну фразу у Ньюмена, где говорится о том, что святая дева введена была в сонм святых^[176]. В обиходном языке этому слову придается совсем другой смысл. *Надеюсь, я вас не ввожу в заблуждение?*

– Конечно, нет, – любезно сказал декан.

– Да нет же, – улыбаясь сказал Стивен, – я имел в виду...

– Да, да, понимаю, – живо подхватил декан, – вы имели в виду разные оттенки смысла глагола *вводить*.

Он выдвинул вперед нижнюю челюсть и коротко, сухо кашлянул.

– Ну, хорошо, вернемся к лампе, – сказал он. – Заправлять ее тоже дело довольно трудное. Нужно, чтобы масло было чистое, а когда наливаешь его, надо следить за тем, чтобы не пролить, не налить больше, чем может вместить воронка.

– Какая воронка? – спросил Стивен.

– Воронка, через которую наливают масло в лампу.

– А... – сказал Стивен. – Разве это называется воронкой? По-моему, это

цедилка.

– А что такое «цедилка»?

– Ну, это... воронка.

– Разве она называется цедилкой у ирландцев? – спросил декан. – Первый раз в жизни слышу такое слово.

– Ее называют цедилкой в Нижней Драмкондре, – смеясь сказал Стивен, – где говорят на чистейшем английском языке.

– Цедилка, – повторил задумчиво декан, – занятное слово. Надо посмотреть его в словаре. Обязательно посмотрю.

Учтивость декана казалась несколько натянутой, и Стивен взглянул на этого английского прозелита такими же глазами, какими старший брат в притче мог бы взглянуть на блудного. Смиренный последователь когда-то нашумевших обращений^[177], бедный англичанин в Ирландии, поздний пришелец, запоздалый дух, он, казалось, вошел на сцену истории иезуитов, когда эта странная комедия интриг, страданий, зависти, борьбы и бесчестия уже близилась к концу. Что же толкнуло его? Может быть, он родился и вырос среди убежденных сектантов, чаявших спасения только в Иисусе и презиравших суетную пышность официальной церкви? Не почувствовал ли он потребность в неявной вере^[178] среди суеты сектантства и разноязычия неумных схизматиков, всех последователей шести принципов^[179], людей собственного народа^[180], баптистов семени и баптистов змеи^[181], супралапсарианских догматиков^[182]? Обрел ли он истинную церковь внезапно, словно размотав с катушки какую-то тонко сплетенную нить рассуждений о вдуновении или наложении рук или исхождении Святого Духа? Или же Христос коснулся его и повелел следовать за собою, когда он сидел у дверей какой-нибудь крытой жестяной кровлей часовенки, зевая и подсчитывая церковные гроши, как в свое время Господь призвал ученика^[183], сидевшего за сбором пошлин?

Декан снова произнес:

– Цедилка! Нет, в самом деле это очень интересно!

– Вопрос, который вы задали мне раньше, по-моему, более интересен. Что такое красота, которую художник пытается создать из комка глины? – холодно заметил Стивен.

Казалось, это словечко обратило язвительное острие его настороженности против учтвого, бдительного врага. Со жгучей болью унижения он почувствовал, что человек, с которым он беседует, соотечественник Бена Джонсона. Он подумал:

– Язык, на котором мы сейчас говорим, – прежде всего его язык, а

потом уже мой. Как различны слова – *семья, Христос, пиво, учитель* – в его и в моих устах. Я не могу спокойно произнести или написать эти слова. Его язык – такой близкий и такой чужой – всегда останется для меня лишь благоприобретенным. Я не создавал и не принимал его слов. Мой голос не подпускает их. Моя душа неистовствует во мраке его языка.

– И каково различие между прекрасным и возвышенным, – добавил декан, – а также между духовной и материальной красотой? Какого рода красота свойственна каждому виду искусства? Вот интересные вопросы, которыми следовало бы заняться.

Обескураженный сухим, твердым тоном декана, Стивен молчал. Декан также смолк, и в наступившей тишине с лестницы донесся шум голосов и топот сапог.

– Но предавшись такого рода спекуляциям, – заключил декан, – рискуешь умереть с голоду. Прежде всего вы должны получить диплом. Поставьте это себе первой целью. Затем мало-помалу вы выйдете на свою дорогу. Я говорю в широком смысле – дорогу в жизни и в способе мышления. Возможно, на первых порах она окажется крутой. Вот, скажем, мистер Мунен – ему потребовалось немало времени, прежде чем он достиг вершины. Но тем не менее он ее достиг.

– Возможно, я не обладаю его талантами, – спокойно возразил Стивен.

– Как знать? – живо отозвался декан. – Мы никогда не знаем, что в нас есть. Я бы, во всяком случае, не падал духом. *Per aspera ad astra*^[184].

Он быстро отошел от очага и направился на площадку встречать студентов первого курса.

Прислонившись к камину, Стивен слышал, как он одинаково бодро и одинаково безразлично здоровался с каждым в отдельности, и почти видел откровенные усмешки более бесцеремонных. Острая жалость, как роса, начала оседать на его легко уязвимое сердце, жалость к этому верному служителю рыцарственного Лойолы, к этому сводному брату священнослужителей, более уступчивому, чем они, в выражении своих мыслей, более твердому духом; жалость к священнику, которого он никогда не назовет своим духовным отцом; и он подумал, что этот человек и его собратья заслужили славу пекущихся о мирском не только среди тех, кто забыл о суете мира, но и среди самих мирян, за то, что они на протяжении всей своей истории ратовали перед судом Божьего правосудия за слабые, ленивые, расчетливые души.

О приходе преподавателя возвестили несколько залпов кентской пальбы^[185] тяжелых сапог, поднявшиеся среди студентов, сидевших в

верхнем ряду аудитории под серыми, заросшими паутиной окнами. Началась перекличка, и ответы звучали на все лады, пока не вызвали Питера Берна.

– Здесь!

Гулкий глубокий бас прозвучал из верхнего ряда, и тотчас же с других скамей послышались протестующие покашливания.

Преподаватель немножко выждал и назвал следующего по списку:

– Крэнли!

Ответа не было.

– Мистер Крэнли!

Улыбка пробежала по лицу Стивена, когда он представил себе занятия друга.

– Поищите его в Лепардстауне^[186], – раздался голос со скамейки позади.

Стивен быстро обернулся. Но рылообразная физиономия Мойнихана была невозмутима в тусклом, сером свете. Преподаватель продиктовал формулу. Кругом зашелестели тетради. Стивен снова обернулся и сказал:

– Дайте мне, ради Бога, бумаги.

– Тебе что, приспичило? – с широкой ухмылкой спросил Мойнихан.

Он вырвал страницу из своего черновика и, протягивая ее, шепнул:

– При необходимости любой мирянин, любая женщина имеют право на это^[187].

Формула, которую Стивен послушно записал на клочке бумаги, сворачивающиеся и разворачивающиеся столбцы вычислений преподавателя, призрачные символы силы и скорости завораживали и утомляли его сознание. Он слышал от кого-то, что старик – атеист и масон. О серый, унылый день! Он походил на некий лимб терпеливого безболезненного создания, где в дымчатых сумерках бродят души математиков, перемещая длинные, стройные построения из одной плоскости в другую и вызывая быстрые вихревые токи, несущиеся к крайним пределам вселенной, ширящейся, удаляющейся, делающейся все недоступнее.

– Итак, мы должны отличать эллипс от эллипсоида. Наверное, кое-кто из вас, джентльмены, знаком с сочинениями мистера У. Ш. Гилберта^[188]. В одной из своих песен он говорит о бильярдном шулере, который осужден играть

На столе кривом

Выгнутым кием
Вытянутым шаром.

Он имеет в виду шар в форме эллипсоида, о главных осях которого я сейчас говорил.

Мойнихан нагнулся к уху Стивена и прошептал:

– Почему теперь эллипсоидальные шарики?! За мной, дамочки, я кавалерист!

Грубый юмор товарища вихрем пронесся по монастырю сознания Стивена, весело встряхнул висевшие на стенах понурые сутаны, заставил их заплясать и заметаться в разгульном шабаше. Братья общины выплывали из раздутых вихрем облачений: цветущий дородный экономай в шапке седых волос; ректор, маленький, с гладкими волосами священник, который писал благочестивые стихи; приземистый мужиковатый преподаватель экономики; длинный молодой преподаватель логики, обсуждающий на площадке со своим курсом проблему совести, словно жираф, который ощипывает листву высокого дерева над стадом антилоп; важный и грустный префект братства; пухлый круглоголовый преподаватель итальянского языка с плутоватыми глазками. Все мчались, спотыкались, кувыркались и прыгали, задирая свои сутаны в лихой чехарде; обнявшись, тряслись в натужном хохоте, шлепали друг друга по задку, потешались своим озорством, фамильярничали и вдруг с видом оскорбленного достоинства, возмущенные каким-нибудь грубым выпадом, украдкой перешептывались, прикрывая рот ладонью.

Преподаватель подошел к стеклянному шкафу у стены, достал с полки комплект катушек, сдул с них пыль, бережно положил на стол и, придерживая одним пальцем, продолжал лекцию. Он объяснил, что проволока на современных катушках делается из сплава, называемого платиноидом, изобретенного недавно Ф. У. Мартино^[189].

Он внятно произнес инициалы и фамилию изобретателя. Мойнихан шепнул сзади:

– Молодец, старик. Фу, Мартино! Мартын скачет, Мартын пляшет...

– Спроси его, – шепнул Стивен с невеселой усмешкой, – не нужен ли ему подопытный субъект для опытов на электрическом стуле? Он может располагать мною.

Увидев, что преподаватель нагнулся над катушками, Мойнихан привстал со своей скамейки и, беззвучно пощелкивая пальцами правой руки, захныкал голосом озорного мальчишки:

– Сэр, этот мальчик говорит гадкие слова, сэр!

– Платиноид, – внушительно продолжал преподаватель, – предпочитают нейзильберу, потому что у него меньший коэффициент сопротивления при изменении температуры. Для изоляции платиноидной проволоки служит шелк, который наматывается на эбонитовую катушку вот здесь, где находится мой палец. Если бы наматывался голый провод, в катушке индуцировался бы экстраток. Катушку пропитывают горячим парафином...

С нижней скамейки впереди Стивена резкий голос с ольстерским акцентом спросил:

– Разве нас будут экзаменовать по прикладным наукам?

Преподаватель начал с серьезным видом жонглировать понятиями: чистая наука – прикладная наука. Толстый студент в золотых очках посмотрел несколько удивленно на задавшего вопрос. Мойнихан сзади шепнул своим обычным голосом:

– Вот черт, этот Макалистер умеет урвать свой фунт мяса^[190].

Стивен холодно взглянул вниз на продолговатый череп с космами цвета пакли. Голос, акцент, характер задавшего вопрос раздражали его, он дал волю своему раздражению и с сознательным недоброжелательством подумал, что отец этого студента поступил бы разумнее, если бы отправил своего сына учиться в Белфаст и тем самым сэкономил бы на проезде.

Продолговатый череп не обернулся навстречу мысленно пущенной в него стреле Стивена, и она не долетела до цели, а вернулась в свою тетиву, потому что перед ним вдруг мелькнуло бескровное лицо студента.

«Эта мысль не моя, – быстро пронеслось в уме Стивена. – Ее мне внушил фигляр-ирландец на скамейке позади меня. Терпение. Можешь ли ты с уверенностью сказать, кто торговал душой твоего народа и предал его избранников: тот, кто вопрошал, или тот, кто потом издевался? Терпение. Вспомни Эпиктета. Наверное, это в природе Макалистера: задать такой вопрос в такой момент и сделать неправильное ударение – „прикладными“?»

Монотонный голос преподавателя продолжал медленно гудеть вокруг катушек, о которых он рассказывал, удваивая, утраивая, учетверяя свою снотворную энергию, между тем как катушки умножали свои омы сопротивления.

Голос Мойнихана позади откликнулся на отдаленный звонок:

– Закрываем лавочку, джентльмены!

В холле было тесно и шумно. На столе около двери стояли два портрета в рамках, и между ними лежал длинный лист бумаги с неровными

столбцами подписей. Макканн проворно сновал среди студентов, болтая без умолку, возражая отказывающимся, и одного за другим подводил к столу. В глубине холла стоял декан, он разговаривал с молодым преподавателем, важно поглаживая подбородок, и кивал головой.

Стивен, притиснутый толпой к двери, остановился в нерешительности. Из-под широких опущенных полей мягкой шляпы темные глаза Крэнли наблюдали за ним.

– Ты подписал? – спросил Стивен.

Крэнли поджал свои тонкие губы, подумал секунду и ответил:

– Ego habeo^[191].

– А что это?

– Quod?^[192]

– А это что?

Крэнли повернул бледное лицо к Стивену и сказал кротко и грустно:

– Per per universalis^[193].

Стивен показал пальцем на фотографию царя^[194] и сказал:

– У него лицо пьяного Христа.

Раздражение и ярость, звучавшие в его голосе, заставили Крэнли оторваться от спокойного созерцания стен холла.

– Ты чем-то недоволен?

– Нет, – ответил Стивен.

– В плохом настроении?

– Нет.

– Credo ut vos sanguinarius estis, – сказал Крэнли, – quia facies vostra monstrat ut vos in damno malo humore estis^[195].

Мойнихан, пробираясь к столу, шепнул Стивену на ухо:

– Макканн при полном параде. Остается добавить последнюю каплю, и готово. Новенький, с иголки мир. Никаких горячительных и право голоса сукам.

Стивен усмехнулся стилю конфиденциального сообщения и, когда Мойнихан отошел, снова повернул голову и встретил взгляд Крэнли.

– Может быть, ты объяснишь, – спросил он, – почему он так охотно изливает свою душу мне на ухо? Ну, объясни.

Мрачная складка появилась на лбу Крэнли. Он посмотрел на стол, над которым нагнулся Мойнихан, чтобы подписаться, и сурово отрезал:

– Подлипала.

– Quis est in malo humore, – сказал Стивен, – ego aut vos?^[196]

Крэнли не ответил на подтрунивание. Он мрачно обдумывал, что бы

еще добавить, и повторил с той же категоричностью:

– Самый что ни на есть гнусный подлипала!

Это было его обычной эпитафией, когда он ставил крест на похороненной дружбе, и Стивен подумал, не произнесется ли она когда-нибудь в память и ему, и таким же тоном. Тяжелая, неуклюжая фраза медленно оседала, исчезая из его слуха, проваливаясь, точно камень в трясину. Стивен следил, как она оседает, так же, как когда-то оседали другие, и чувствовал ее тяжесть на сердце. Крэнли, в отличие от Давина, не прибегал в разговоре ни к редкостным староанглийским оборотам елизаветинского времени, ни к забавно переиначенным на английский манер ирландским выражениям. Его протяжный говор был эхом дублинских набережных, перекликающимся с мрачной, запустелой гаванью, его выразительность – эхом церковного красноречия Дублина, звучащим с амвона в Уиклоу.

Угрюмая складка исчезла со лба Крэнли, когда он увидел Макканна, быстро приближающегося к ним с другого конца холла.

– Вот и вы! – сказал Макканн весело.

– Вот и я, – сказал Стивен.

– Как всегда с опозданием. Не могли бы вы совмещать ваши успехи с некоторой долей уважения к точности?

– Этот вопрос не стоит в повестке дня, – сказал Стивен. – Переходите к следующему.

Его улыбающиеся глаза были устремлены на плитку молочного шоколада в серебряной обертке, высовывающуюся из верхнего кармана куртки пропагандиста. Вокруг них собрался небольшой кружок слушателей, жаждущих присутствовать при состязании умов. Худощавый студент с оливковой кожей и гладкими черными волосами, просунув между ними голову, переводил взгляд с одного на другого, словно стараясь открытым влажным ртом поймать на лету каждое слово. Крэнли вытащил из кармана маленький серый мячик и, вертя в руках, начал пристально осматривать его со всех сторон.

– К следующему! – сказал Макканн. – Хм!

Он громко хохотнул, улыбнулся во весь рот и дважды дернул себя за соломенного цвета бородку, свисавшую с его квадратного подбородка.

– Следующий вопрос заключался в подписи декларации.

– Вы мне заплатите, если я подпишу? – спросил Стивен.

– Я думал, вы идеалист, – сказал Макканн.

Студент, похожий на цыгана, обернулся и, поглядывая на окружающих, сказал невнятным блеющим голосом:

– Странный подход, черт возьми! По-моему, это корыстный подход.

Его голос заглох в тишине. Никто не обратил внимания на слова этого студента. Он повернул свое оливковое лошадиное лицо к Стивену, словно предлагая ему ответить.

Макканн весьма бойко начал распространяться о царском рескрипте, о Стэде^[197], о всеобщем разоружении, об арбитраже в случае международных конфликтов, о знамениях времени, о новом гуманизме, о новой этике, которая возложит на общество долг обеспечить с наименьшей затратой наибольшее счастье наибольшему количеству людей.

Студент, похожий на цыгана, заключил эту речь возгласом:

– Трижды ура – за всемирное братство!

– Валяй, валяй, Темпл, – сказал стоявший рядом дюжий румяный студент. – Я тебе потом пинту поставлю.

– Я за всемирное братство! – кричал Темпл, поглядывая по сторонам темными продолговатыми глазами. – А Маркс – это все чепуха.

Крэнли крепко схватил его за руку, чтобы он придержал язык, и с вымученной улыбкой повторил несколько раз:

– Полегче, полегче, полегче!

Темпл, стараясь высвободить руку, кричал с пеной у рта:

– Социализм был основан ирландцем^[198], и первым человеком в Европе, проповедовавшим свободу мысли, был Коллинз. Двести лет тому назад этот миддлсекский философ разоблачил духовенство. Ура Джону Энтони Коллинзу!^[199]

Тонкий голос из дальнего ряда ответил:

– Гип-гип ура!

Мойнихан прошептал Стивену на ухо:

– А как насчет бедной сестренки Джона Энтони:

Лотти Коллинз^[200] без штанишек,
Одолжите ей свои?

Стивен рассмеялся, и польщенный Мойнихан зашептал снова:

– На Джоне Энтони Коллинзе, сколько ни поставь, всегда заработаешь пять шиллингов.

– Жду вашего ответа, – коротко сказал Макканн.

– Меня этот вопрос нисколько не интересует, – устало сказал Стивен. – Вам ведь это хорошо известно. Чего ради вы затеяли спор?

– Прекрасно, – сказал Макканн, чмокнув губами. – Так, значит, вы реакционер?

– Вы думаете, на меня может произвести впечатление ваше размахивание деревянной шпагой? – спросил Стивен.

– Метафоры! – резко сказал Макканн. – Давайте ближе к делу.

Стивен вспыхнул и отвернулся. Но Макканн не унимался.

– Посредственные поэты, надо полагать, ставят себя выше столь пустяковых вопросов, как вопрос всеобщего мира, – продолжал он вызывающим тоном.

Крэнли поднял голову и, держа свой мяч, словно миротворящую жертву между обоими студентами, сказал:

– *Rax super totum sanguinarium globum*^[201].

Отстранив стоявших рядом, Стивен сердито дернул плечом в сторону портрета царя и сказал:

– Держитесь за вашу икону. Если уж вам так нужен Иисус, пусть это будет Иисус узаконенный.

– Вот это, черт возьми, здорово сказано, – заговорил цыганистый студент, оглядываясь по сторонам. – Отлично сказано. Мне очень нравится ваше высказывание.

Он проглотил слюну, словно глотая фразу, и, схватившись за козырек своей кепки, обратился к Стивену:

– Простите, сэр, а что именно вы хотели этим сказать?

Чувствуя, что его толкают стоящие рядом студенты, он обернулся и продолжал:

– Мне интересно узнать, что он хотел выразить этими словами.

Потом снова повернулся к Стивену и проговорил шепотом:

– Вы верите в Иисуса? Я верю в человека. Я, конечно, не знаю, верите ли вы в человека. Я восхищаюсь вами, сэр. Я восхищаюсь разумом человека, независимого от всех религий. Скажите, вы так и мыслите о разуме Иисуса?

– Валяй, валяй, Темпл! – сказал дюжий румяный студент, который всегда по несколько раз повторял одно и то же. – Пинта за мной.

– Он думает, что я болван, – пояснил Темпл Стивену, – потому что я верю в силу разума.

Крэнли взял под руки Стивена и его поклонника и сказал:

– *Nos ad manum ballum jocabimus*^[202].

Увлекаемый из зала, Стивен взглянул на покрасневшее топорное лицо Макканна.

– Моя подпись не имеет значения, – сказал он вежливо. – Вы вправе идти своей дорогой, но и мне предоставьте идти моей.

– Дедал, – сказал Макканн прерывающимся голосом. – Мне кажется, вы неплохой человек, но вам не хватает альтруизма и чувства личной ответственности.

Чей-то голос сказал:

– Интеллектуальным вывертам не место в этом движении.

Стивен узнал резкий голос Макалистера, но не обернулся в его сторону. Крэнли с торжественным видом проталкивался сквозь толпу студентов, держа под руки Стивена и Темпла, подобно шествующему в алтарь священнослужителю, сопровождаемому младшими чинами.

Темпл, живо наклонившись к Стивену, сказал:

– Вы слышали, что сказал Макалистер? Этот малый завидует вам. Вы заметили? Держу пари, что Крэнли этого не заметил, а я, черт возьми, сразу заметил.

Проходя через холл, они увидели, как декан пытался отделаться от студента, завязавшего с ним разговор. Он стоял у лестницы, уже занеся ногу на нижнюю ступеньку, подобрав с женской заботливостью свою поношенную сутану, и, кивая то и дело, повторял:

– Вне всякого сомнения, мистер Хэкет!^[203] Да, да, вне всякого сомнения.

Посреди холла префект братства внушительно, тихим недовольным голосом беседовал с каким-то студентом. Разговаривая, он слегка морщил свой веснушчатый лоб и в паузах между фразами покусывал тонкий костяной карандаш.

– Я надеюсь, что первокурсники все пойдут. За второй курс можно ручаться. За третий тоже. А что касается новичков, не знаю.

В дверях Темпл опять наклонился к Стивену и торопливо зашептал:

– Вы знаете, что он женат? Он уже был женат, прежде чем перешел в католичество. У него где-то жена и дети. Вот, черт возьми, странная история. А?

Его шепот перешел в хитрое кудахтающее хихиканье. Как только они очутились за дверью, Крэнли грубо схватил его за шиворот и начал трясти, приговаривая:

– Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин! На смертном одре готов поклясться, что во всем сволочном мире, понимаешь, в целом мире нет другой такой паршивой обезьяны, как ты!

Изворачиваясь, Темпл продолжал хитренько, самодовольно хихикать, а Крэнли тупо твердил при каждом встряхивании:

– Безмозглый, бессмысленный, паршивый кретин!..

Они прошли запущенным садом; на одной из дорожек увидели ректора, который, закутавшись в тяжелый широкий плащ, шел им навстречу, читая молитвы. В конце дорожки, прежде чем повернуть, он остановился и поднял глаза. Студенты поклонились ему, Темпл, как и прежде, притронувшись к козырьку кепки. Пошли дальше молча. Когда они подходили к площадке, Стивен услышал глухие удары игроков, влажные шлепки мячей и голос Давина, что-то возбужденно вскрикивающего при каждом ударе.

Все трое остановились у ящика, на котором сидел Давин, наблюдавший за игрой. Через несколько секунд Темпл бочком подошел к Стивену и сказал:

– Прости, я хотел спросить тебя, как ты считаешь, Жан-Жак Руссо был искренний человек?

Стивен невольно расхохотался. Крэнли схватил валявшуюся в траве у него под ногами сломанную бочарную доску, быстро обернулся и грозно сказал:

– Темпл, клянусь Богом, если ты произнесешь еще хоть одно слово, я тебя тут же прикончу *super spottum*^[204].

– Вероятно, – сказал Стивен. – Он, как и ты, был эмоциональный человек.

– А, ну его ко всем чертям! – отрезал Крэнли. – Что с таким разговаривать. Все равно что с вонючим ночным горшком! Катись, Темпл. Катись отсюда! Катись к черту!

– Плевать я на тебя хотел, Крэнли, – ответил Темпл, шарахаясь в сторону от поднятой доски и указывая на Стивена. – Вот единственный человек в этом заведении, у которого индивидуальный образ мыслей.

– Заведение! Индивидуальный! – воскликнул Крэнли. – Пошел ты отсюда, черт тебя побери. Вот безнадежный идиот!

– Я эмоциональный человек, – сказал Темпл. – Это очень верно сказано. И я горжусь тем, что живу во власти эмоций.

Он отошел бочком, зашагал по площадке, лукаво посмеиваясь. Крэнли смотрел ему вслед пустым, застывшим взглядом.

– Вы только посмотрите на него, – сказал он. – Видели вы когда-нибудь подобного мерзавца?

Фраза его была встречена странным хохотом студента в низко надвинутой на глаза кепке, который стоял, прислонясь к стене. Смех был писклявый и исходил из такого огромного тела, что казалось, это повизгивает слон. Все тело студента ходило ходуном, от удовольствия он

потирал руки в паху.

– Линч проснулся, – сказал Крэнли.

В ответ на это Линч выпрямился и выпятил грудь.

– Линч выпячивает грудь в знак критического отношения к жизни, – сказал Стивен.

Линч звучно хлопнул себя по груди и сказал:

– У кого есть возражения против моей фигуры?

Крэнли поймал его на слове, и они начали бороться. Когда лица у них покраснели от напряжения, они разошлись, тяжело дыша. Стивен наклонился к Давину, который, увлеченно следя за игрой, не обращал внимания на разговоры вокруг.

– А как мой ручной гусек? – спросил Стивен. – Тоже подписал?

Давин кивнул и сказал:

– А ты, Стиви?

Стивен отрицательно покачал головой.

– Ужасный ты человек, Стиви, – сказал Давин, вынимая трубку изо рта, – всегда один.

– Теперь, когда ты подписал петицию о всеобщем мире, – сказал Стивен, – я думаю, ты сожжешь ту маленькую тетрадку, которую я у тебя видел.

И так как Давин промолчал, Стивен начал цитировать:

– Фианна, шагом марш! Фианна, правое плечо вперед! Фианна, отдать честь, по номерам рассчитайсь, раз, два!^[205]

– Это другое дело, – сказал Давин. – Прежде всего я ирландский националист. А вот ты от всего в стороне. Ты, Стиви, уродился зубоскалом.

– Когда вы поднимете очередное восстание, вооружась клюшками, – сказал Стивен, – и вам понадобится осведомитель, скажи мне и я подыщу тебе парочку у нас в колледже.

– Никак я тебя не пойму, – сказал Давин. – То ты поносишь английскую литературу, то ирландских осведомителей. И имя у тебя какое-то такое... и все эти твои рассуждения. Да ирландец ты или нет?

– Пойдем со мной в архив, я тебе покажу родословную моей семьи, – сказал Стивен.

– Тогда будь с нами, – сказал Давин. – Почему ты не изучаешь ирландский язык? Почему ты забросил классы лиги^[206] после первого занятия?

– Одна причина тебе известна, – ответил Стивен.

Давин покачал головой и засмеялся.

– Да ну, брось, – сказал он. – Это из-за той молодой девицы и отца Морена? Да ведь ты все это выдумал, Стиви. Они просто разговаривали и смеялись.

Стивен помолчал и дружески положил руку Давину на плечо.

– Помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились, – сказал он, – когда мы встретились в первый раз и ты спросил меня, где занимаются первокурсники, и еще сделал ударение на первом слоге? Помнишь? Ты тогда всех иезуитов без разбору называл «отцами». Иногда я спрашиваю себя: *Такой же ли он бесхитростный, как его язык?*

– Я простой человек, – сказал Давин. – Ты знаешь это. Когда ты мне в тот вечер на Харкорт-стрит рассказал о своей жизни, честное слово, Стивен, я потом есть не мог. Я прямо заболел. И заснуть никак не мог в ту ночь. Зачем ты мне рассказывал это?

– Вот спасибо, – сказал Стивен. – Ты намекаешь, что я чудовище.

– Нет, – сказал Давин. – Но не надо было это рассказывать.

Сохраняя внешнее дружелюбие, Стивен начал мысленно вскипать.

– Этот народ, эта страна и эта жизнь породили меня, – сказал он. – Такой я есть, и таким я буду.

– Попробуй примкнуть к нам, – повторил Давин. – В душе ты ирландец, но тебя одолевает гордыня.

– Мои предки отреклись от своего языка и приняли другой, – сказал Стивен. – Они позволили кучке чужеземцев поработить себя. Что же, прикажешь мне собственной жизнью и самим собой расплачиваться за их долги? Ради чего?

– Ради нашей свободы, – сказал Давин.

– Со времен Тона до времени Парнелла, – сказал Стивен, – не было ни одного честного, искреннего человека, отдавшего вам свою жизнь, молодость и любовь, которого вы бы не предали, не бросили в час нужды, не облили помоями, которому вы бы не изменили. И ты предлагаешь мне быть с вами! Да будьте вы прокляты!

– Они погибли за свои идеалы, Стивен, – сказал Давин. – Но придет и наш день, поверь мне.

Поглощенный своими мыслями, Стивен помолчал минуту.

– Душа рождается, – начал он задумчиво, – именно в те минуты, о которых я тебе говорил. Это медленное и темное рождение, более таинственное, чем рождение тела. Когда же душа человека рождается в этой стране, на нее набрасываются сети, чтобы не дать ей взлететь. Ты говоришь мне о национальности, религии, языке. Я постараюсь избежать этих сетей.

Давин выбил пепел из своей трубки.

– Слишком заумно для меня, Стивен, – сказал он. – Но родина прежде всего. Ирландия прежде всего, Стиви. Поэтом или мистиком ты можешь быть потом.

– Знаешь, что такое Ирландия? – спросил Стивен с холодной яростью. – Ирландия – это старая свинья, пожирающая свой помет.

Давин поднялся с ящика и, грустно покачивая головой, направился к играющим. Но через какую-нибудь минуту грусть его прошла и он уже горячо спорил с Крэнли и с двумя игроками, только что кончившими партию. Они сговорились на партию вчетвером, но Крэнли настаивал, чтобы играли его мячом. Он ударил им два-три раза о землю, а потом ловко и сильно запустил его в дальний конец площадки, крикнув при этом:

– Душу твою!..

Стивен стоял рядом с Линчем, пока счет не начал расти. Тогда он потянул Линча за рукав, увлекая его за собой. Линч подчинился ему и сказал, поддразнивая:

– Изыдем, как выражается Крэнли.

Стивен улыбнулся этой шпильке.

Они вернулись садом и прошли через холл, где дряхлый, трясущийся швейцар прикалывал какое-то объявление на доску. У лестницы оба остановились, и Стивен, вынув пачку сигарет из кармана, предложил своему путнику закурить.

– Я знаю, ты без гроша, – сказал он.

– Ах ты нахал мерзопакостный! – ответил Линч.

Это вторичное доказательство речевого богатства Линча снова вызвало улыбку у Стивена.

– Счастливый день для европейской культуры, – сказал он, – когда слово «мерзопакостный» стало твоим любимым ругательством.

Они закурили и пошли направо. Помолчав, Стивен сказал:

– Аристотель не дает определений сострадания и страха^[207]. Я даю. Я считаю...

Линч остановился и бесцеремонно прервал его:

– Хватит! Не желаю слушать! Тошнит. Вчера вечером мы с Хораном и Гоггинсом^[208] мерзопакостно напились.

Стивен продолжал:

– Сострадание – это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и соединяет нас с терпящими бедствие. Страх – это чувство, которое останавливает мысль

перед всем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину.

– Повтори, – сказал Линч.

Стивен медленно повторил определения.

– На днях в Лондоне, – продолжал он, – молодая девушка села в кэб. Она ехала встречать мать, с которой не виделась много лет. На углу какой-то улицы оглобля повозки разбивает в мелкие осколки окна кэба, длинный, как игла, осколок разбитого стекла пронзает сердце девушки. Она тут же умирает. Репортер называет это трагической смертью. Это неверно. Это не соответствует моим определениям сострадания и страха.

Чувство трагического, по сути дела, – это лицо, обращенное в обе стороны, к страху и к состраданию, каждая из которых – его фаза. Ты заметил, я употребил слово *останавливает*. Тем самым я подчеркиваю, что трагическая эмоция статична. Вернее, драматическая эмоция. Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, кинетичны: это влечение и отвращение. Влечение побуждает нас приблизиться, овладеть. Отвращение побуждает покинуть, отвергнуть. Искусства, вызывающие эти чувства, – порнография и дидактика – неподлинные искусства. Таким образом, эстетическое чувство статично. Мысль останавливается и парит над влечением и отвращением.

– Ты говоришь, что искусство не должно возбуждать влечения, – сказал Линч. – Помню, я однажды тебе рассказывал, что в музее написал карандашом свое имя на заднице Венеры Праксителя. Разве это не влечение?

– Я имею в виду нормальные натуры, – сказал Стивен. – Ты еще рассказывал мне, как ел коровий навоз в своей распрекрасной кармелитской школе.

Линч снова заржал и потер в паху руку об руку, не вынимая их из карманов.

– Да, было такое дело! – воскликнул он.

Стивен повернулся к своему спутнику и секунду смотрел ему прямо в глаза. Линч перестал смеяться и униженно встретил этот взгляд. Длинная, узкая, сплюснутая голова под кепкой с длинным козырьком напоминала какое-то пресмыкающееся. Да и глаза тусклым блеском и неподвижностью взгляда тоже напоминали змеиные. Но в эту минуту в их униженном, настороженном взоре светилась одна человеческая точка – окно съездившейся души, измученной и самоожесточенной.

– Что до этого, – как бы между прочим, вежливо заметил Стивен, – все мы животные. И я тоже.

– Да, и ты, – сказал Линч.

– Но мы сейчас пребываем в мире духовного, – продолжал Стивен. – Влечение и отвращение, вызываемые не подлинными эстетическими средствами, нельзя назвать эстетическими чувствами не только потому, что они кинетичны по своей природе, но и потому, что они сводятся всего-навсего к физическому ощущению. Наша плоть сжимается, когда ее что-то страшит, и отвечает, когда ее что-то влечет произвольной реакцией нервной системы. Наши веки закрываются сами, прежде чем мы сознаем, что мошка вот-вот попадет в глаз.

– Не всегда, – иронически заметил Линч.

– Таким образом, – продолжал Стивен, – твоя плоть ответила на импульс, которым для тебя оказалась обнаженная статуя, но это, повторяю, произвольная реакция нервной системы. Красота, выраженная художником, не может возбудить в нас кинетической эмоции или ощущения, которое можно было бы назвать чисто физическим. Она возбуждает или должна возбуждать, порождает или должна порождать эстетический стасис – идеальное сострадание или идеальный страх, – статис, который возникает, длится и наконец разрешается в том, что я называю ритмом красоты.

– А это еще что такое? – спросил Линч.

– Ритм, – сказал Стивен, – это первое формальное эстетическое соотношение частей друг с другом в любом эстетическом целом, или отношение эстетического целого к его части или частям, или любой части эстетического целого ко всему целому.

– Если это ритм, – сказал Линч, – тогда изволь пояснить, что ты называешь красотой. И не забывай, пожалуйста, что хоть мне когда-то и случалось есть навозные лепешки, все же я преклоняюсь только перед красотой.

Точно приветствуя кого-то, Стивен приподнял кепку. Потом, чуть-чуть покраснев, взял Линча за рукав его твидовой куртки.

– Мы правы, – сказал он, – а другие ошибаются. Говорить об этих вещах, стараться постичь их природу и, постигнув ее, пытаться медленно, смиренно и упорно выразить, создать из грубой земли или из того, что она дает: из ощущений звука, формы или цвета, этих тюремных врат нашей души^[209], – образ красоты, которую мы постигли, – вот что такое искусство.

Они приблизились к мосту над каналом и, свернув с дороги, пошли под деревьями. Грязно-серый свет, отражающийся в стоячей воде, и запах мокрых веток над их головами – все, казалось, восставало против образа

мыслей Стивена.

– Но ты не ответил на мой вопрос, – сказал Линч, – что такое искусство? Что такое выраженная им красота?

– Это было первым определением, которое я тебе дал, несчастное, тупоголовое животное, – сказал Стивен, – когда я только пытался продумать данный вопрос для себя. Помнишь тот вечер? Крэнли еще разозлился и начал рассказывать об уиклоуских окороках.

– Помню, – сказал Линч. – Помню, как он рассказывал об этих проклятых жирных свиньях.

– Искусство, – сказал Стивен, – это способность человека к рациональному или чувственному восприятию предмета с эстетической целью. О свиньях помнишь, а про это забыл. Безнадежная вы пара – ты и Крэнли.

Глядя в серое суровое небо. Линч скорчил гримасу и сказал:

– Если я обречен слушать твою эстетическую философию, дай мне, по крайней мере, еще сигарету. Меня это совсем не интересует. Даже женщины меня не интересуют. Ну вас к черту! Пошли вы все! Мне нужна работа на пятьсот фунтов в год. Но ты ведь мне такой не достанешь.

Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч взял последнюю оставшуюся там сигарету и сказал:

– Продолжай.

– Фома Аквинский утверждает, – сказал Стивен, – что прекрасно то, восприятие чего нам приятно.

Линч кивнул.

– Помню, – сказал он. *Pulchra sunt quae visa placent.*

– Он употребляет слово *visa*, – продолжал Стивен, – подразумевая под ним всякое эстетическое восприятие: зрение, слух или какие-либо другие виды восприятия. Это слово, как бы оно ни было неопределенно, все же достаточно ясно, чтобы исключить понятия хорошего и дурного, которые вызывают в нас влечение и отвращение. Безусловно, это слово подразумевает стасис, а не кинесис. А что такое истина? Она тоже вызывает стасис сознания. Ты бы не написал карандашом свое имя на гипотенузе прямоугольного треугольника.

– Нет, – сказал Линч, – мне подавай гипотенузу Венеры.

– Итак, следовательно, истина статична. Кажется, Платон говорит, что прекрасное – сияние истины. Не думаю, что это имеет какой-нибудь иной смысл, кроме того, что истина и прекрасное тождественны. Истина познается разумом, приведенным в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере умопостигаемого; прекрасное воспринимается

воображением, приведенным в покой наиболее благоприятными отношениями в сфере чувственно постигаемого. Первый шаг на пути к истине – постичь пределы и возможности разума, понять самый акт познания. Вся философская система Аристотеля опирается на его сочинение о психологии, которое в свою очередь опирается на его утверждение, что один и тот же атрибут не может одновременно и в одной и той же связи принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту. Первый шаг на пути к красоте – постичь пределы и возможности воображения, понять самый акт эстетического восприятия. Ясно?

– Но что же такое красота? – нетерпеливо спросил Линч. – Дай какое-нибудь другое определение. То, на что приятно смотреть? Неужели это все, на что способен ты со своим Фомой Аквинским?

– Возьмем женщину, – сказал Стивен.

– Возьмем, – с жаром подхватил Линч.

– Греки, турки, китайцы, копты, готтентоты^[210] – у каждого свой идеал женской красоты, – сказал Стивен. – Это похоже на лабиринт, из которого нельзя выбраться. Однако я вижу из него два выхода. Первая гипотеза: всякое физическое качество женщины, вызывающее восхищение мужчины, находится в прямой связи с ее многообразными функциями продолжения рода. Возможно, это так. Жизнь гораздо скучнее, чем даже ты ее себе представляешь, Линч. Но мне этот выход не нравится. Он ведет скорее к евгенике, чем к эстетике. Он ведет тебя прямо из лабиринта в новенькую веселенькую аудиторию, где Макканн, держа одну руку на «Происхождении видов», а другую на Новом Завете, объясняет тебе, что ты любишься пышными бедрами Венеры, так как знаешь, что она принесет тебе здоровое потомство, любишься ее пышными грудями, так как знаешь, что она будет давать хорошее молоко твоим и своим детям.

– Архи-вонюче-мерзопакостный враль этот Макканн! – убежденно сказал Линч.

– Остается другой выход, – смеясь сказал Стивен.

– А именно? – спросил Линч.

– Еще одна гипотеза... – начал Стивен.

Длинная подвода, груженная железным ломом, выехала из-за угла больницы сэра Патрика Дана, заглушив конец фразы Стивена гулким грохотом дребезжащего, громыхающего металла. Линч заткнул уши и чертыхался до тех пор, пока подвода не проехала. Потом резко повернул назад. Стивен тоже повернулся и, выждав несколько секунд, пока раздражение его спутника не улеглось, продолжал:

– Эта гипотеза предлагает обратное. Хотя один и тот же объект

кажется прекрасным далеко не всем, однако всякий любующийся прекрасным объектом находит в нем известное благоприятное соотношение, соответствующее тем или иным стадиям эстетического восприятия. Это соотношение чувственно постигаемого, видимое тебе в одной форме, а мне в другой, является, таким образом, необходимым качеством прекрасного. Теперь мы можем снова обратиться к нашему старому другу Фоме и выжать из него еще на полпенни мудрости.

Линч расхохотался.

– Забавно, – сказал он, – что ты его поминаешь на каждом шагу, точно какой-нибудь веселый пузатый монах. Ты это серьезно?

– Макалистер, – ответил Стивен, – назвал бы мою эстетическую теорию прикладным Фомой Аквинским. В том, что в философии касается эстетики, я безоговорочно следую за Аквинским. Но, когда мы подойдем к феномену художественного замысла, к тому, как он вынашивается и воплощается, мне потребуется новая терминология и новый личный опыт.

– Конечно, – сказал Линч, – ведь Аквинский, несмотря на весь свой ум, в сущности, только благодушный пузатый монах. Но о новом личном опыте и о новой терминологии ты расскажешь мне как-нибудь в другой раз. Кончай-ка поскорей первую часть.

– Кто знает, – сказал Стивен, улыбаясь, – возможно, Аквинский понял бы меня лучше, чем ты. Он был поэт. Это он сочинил гимн, который поют в страстной четверг. Гимн начинается словами: *Pange, lingua, gloriosi*^[211], и недаром его считают лучшим из славословий. Это сложный, приносящий глубокое утешение гимн. Я люблю его. Но все же никакой гимн не может сравниться со скорбным, величественным песнопением крестного хода Венанция Фортуната^[212].

Линч запел тихо и торжественно глубоким, низким басом:

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine
Dicendo nationibus
Regnavit a ligno Deus.^[213]

– Здорово, – с восторгом заключил он. – Вот это музыка!

Они свернули на Нижнюю Маунт-стрит. И едва прошли несколько шагов от угла, как с ними поздоровался толстый молодой человек в шелковом кашне.

– Слышали о результатах экзаменов? – спросил он. – Гриффин

провалился, Хэлпин и О'Флинн выдержали по отделению гражданского ведомства. Мунен по индийскому ведомству прошел пятым. О'Шоннеси – четырнадцатым. Ирландцы, работающие у Кларка^[214], устроили им пирушку, и все ели кэрри.

Его бледное, отекавшее лицо выражало добродушное злорадство, и, по мере того как он выкладывал новости, маленькие заплывшие жиром глазки как будто совсем исчезали, а тонкий свистящий голос становился еле слышен.

В ответ на вопрос Стивена глаза и голос его снова вынырнули из своих тайников.

– Да, Маккаллох и я, – сказал он. – Маккаллох выбрал чистую математику, а я – естественную историю. Там двадцать предметов в программе. Еще я выбрал ботанику. Вы ведь знаете – я теперь член полевого клуба.

Он величественно отступил на шаг, положил пухлую в шерстяной перчатке руку на грудь, откуда тотчас же вырвался сдавленный свистящий смех.

– В следующий раз, когда поедешь на поле, привези нам репы и лука, – мрачно сказал Стивен, – мы приготовим тушеное мясо.

Толстый студент снисходительно засмеялся и сказал:

– У нас очень почтенная публика в полевом клубе. Прошлую субботу мы, всемером, ездили в Гленмалюр.

– С женщинами, Донован?^[215] – спросил Линч.

Донован опять положил руку на грудь и сказал:

– Наша цель – приобретать знания.

И тут же быстро добавил:

– Я слышал, ты пишешь доклад по эстетике?

Стивен ответил неопределенно-отрицательным жестом.

– Гете и Лессинг много писали на эту тему, – сказал Донован. – Классическая школа и романтическая школа и все прочее. Меня очень заинтересовал «Лаокоон». Конечно, это идеалистично, чисто по-немецки и слишком уж глубоко...^[216]

Никто ему не ответил. Донован вежливо простился с ними.

– Ну, я удаляюсь, – сказал он мягко и благодушно. – У меня сильное подозрение, почти граничащее с уверенностью, что сестрица готовит сегодня блинчики к семейному обеду Донованов.

– До свидания, – сказал Стивен ему вдогонку, – не забудь про репу и лук.

Глядя ему вслед, Линч медленно, презрительно скривил губы, и лицо его стало похоже на дьявольскую маску.

– Подумать только, что это мерзопакостное, блинчиковое дерьмо может хорошо устроиться, – наконец сказал он, – а я должен курить грошковые сигареты.

Они повернули к Меррион-сквер и некоторое время шли молча.

– Чтобы закончить то, что я говорил о красоте, – продолжал Стивен, – скажу, что наиболее благоприятные отношения чувственно постигаемого должны, таким образом, соответствовать необходимым фазам художественного восприятия. Найди их, и ты найдешь свойства абсолютной красоты. Фома Аквинский говорит: «Ad pulchritudinem tria requiruntur integritas, consonantia, claritas»^[217]. Я перевожу это так: «Три условия требуются для красоты: целостность, гармония, сияние». Соответствует ли это фазам восприятия? Тебе понятно?

– Конечно, – сказал Линч. – Если ты думаешь, что у меня мозги из дерьма, поди догони Донована, попроси его тебя послушать.

Стивен показал на корзинку, которую разносчик из мясной лавки, перевернув ее вверх дном, надел на голову.

– Посмотри на эту корзинку, – сказал он.

– Ну, вижу, – ответил Линч.

– Для того, чтобы увидеть эту корзинку, – сказал Стивен, – твое сознание прежде всего отделяет ее от остальной видимой вселенной, которая не есть корзина. Первая фаза восприятия – это линия, ограничивающая воспринимаемый объект. Эстетический образ дается нам в пространстве или во времени. То, что воспринимается слухом, дается во времени, то, что воспринимается зрением, – в пространстве. Но – временной или пространственный – эстетический образ прежде всего воспринимается отчетливо как самоограниченный и самодовлеющий на необъятном фоне пространства или времени, которые не суть он. Ты воспринимаешь его как *единую* вещь. Видишь как одно целое. Воспринимаешь его как *целостность*. Это и есть *integritas*.

– В самое яблочко, – смеясь сказал Линч. – Валяй дальше.

– Затем, – продолжал Стивен, – ты переходишь от одной точки к другой, следуя за очертаниями формы, и постигаешь предмет в равновесии частей, заключенных внутри его пределов. Ты чувствуешь ритм его строения. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения. Почувствовав вначале, что это нечто *целостное*, ты чувствуешь теперь, что это *нечто*. Ты воспринимаешь его как согласованное единство, сложное, делимое, отделяемое, состоящее из

частей, как результат этих частей, их сумму, как нечто гармоничное. Это будет consonantia.

– В самое яблочко, – смеясь сказал Линч. – Объясни мне теперь про claritas, и за мной сигара.

– Значение этого слова не совсем ясно, – сказал Стивен. – Фома Аквинский употребляет термин, который мне кажется неточным. Долгое время он сбивал меня с толку. По его определению получалось, что он говорит об идеализме и символизме и что высшее свойство красоты – свет, исходящий из какого-то иного мира, в то время как реальность – всего лишь его тень, материя – всего лишь его символ. Я думал, что он разумеет под словом claritas художественное раскрытие и воплощение божественного замысла во всем, что claritas – это сила обобщения, придающая эстетическому образу всеобщее значение и заставляющая его сиять изнутри вовне. Но все это литературщина. Теперь я понимаю это так: сначала ты воспринял корзинку как нечто целостное, а затем, рассмотрев ее с точки зрения формы, познал как нечто – только таков допустимый с логической и эстетической точки зрения синтез. Ты видишь, что перед тобой именно этот предмет, а не какой-то другой. Сияние, о котором говорит Аквинский, в схоластике – quidditas – самость вещь. Это высшее качество ощущается художником, когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивал его с тлеющим углем: это миг, когда высшее качество красоты, светлое сияние эстетического образа, отчетливо познается сознанием, остановленным его целостностью и очарованным его гармонией; это сияющий немой стасис эстетического наслаждения, духовный момент, очень похожий на сердечное состояние, для которого итальянский физиолог Луиджи Гальвани^[218] нашел выражение не менее прекрасное, чем Шелли, – замороженность сердца.

Стивен умолк, и, хотя его спутник ничего не говорил, он чувствовал, что его слова как бы создали вокруг них тишину замороженной мысли.

– То, что я сказал, – продолжал он, – относится к красоте в более широком смысле этого слова, в том смысле, которым оно обладает в литературной традиции. В обиходе это понятие имеет другое значение. Когда мы говорим о красоте во втором значении этого слова, наше суждение прежде всего определяется самим искусством и видом искусства. Образ, само собой разумеется, связывает сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если не забывать об этом, то неизбежно придешь к выводу, что искусство делится на три последовательно восходящих рода: лирику, где художник создает образ в

непосредственном отношении к самому себе; эпос, где образ дается в опосредствованном отношении к себе или другим; и драму, где образ дается в непосредственном отношении к другим.

– Ты мне это объяснял несколько дней тому назад, – сказал Линч, – и у нас еще разгорелся спор.

– У меня дома есть тетрадка, – сказал Стивен, – в которой записаны вопросы позабавнее тех, что ты предлагал мне тогда. Размышляя над ними, я додумался до эстетической теории, которую сейчас стараюсь тебе изложить. Вот какие вопросы я придумал. *Трагичен или комичен изящно сделанный стул? Можно ли сказать: портрет Моны Лизы красив только потому, что мне приятно на него смотреть? Лиричен, эпичен или драматичен бюст Филипа Крэмптона? Может ли быть произведением искусства испражнение, или дитя, или вошь? Если нет, то почему?*

– А правда, почему? – смеясь сказал Линч.

– *Если человек, в ярости ударяя топором по бревну, вырубит изображение коровы, – продолжал Стивен, – будет ли это изображение произведением искусства? Если нет, то почему?*

– Вот здорово, – сказал Линч, снова засмеявшись. – От этого воняет настоящей схоластикой.

– Лессингу, – сказал Стивен, – не следовало писать о скульптурной группе. Это менее высокое искусство, и потому оно недостаточно четко представляет те роды, о которых я говорил. Даже в литературе, в этом высшем и наиболее духовном искусстве, роды искусств часто бывают смешаны. Лирический род – это, в сущности, простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет тому назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как на центре эпического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равно удаленным от самого художника и от других. Тогда повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живоносное море. Именно такое развитие мы наблюдаем в старинной английской балладе «Терпин-герой»^[219]; повествование в ней в начале ведется от первого лица, а в конце – от третьего. Драматическая форма возникает тогда, когда это живоносное море разливается и кружит вокруг каждого

действующего лица и наполняет их всех такой жизненной силой, что они приобретают свое собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника – сначала вскрик, ритмический возглас или тональность, затем текучее, мерцающее повествование; в конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме – это жизнь, очищенная и претворенная воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено. Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти.

– Стараясь их тоже утончить до небытия, – добавил Линч.

Мелкий дождь заморосил с высокого, затянутого тучами неба, и они свернули на газон, чтобы успеть дойти до Национальной библиотеки, прежде чем хлынет ливень.

– Что это на тебя нашло, – брюзгливо сказал Линч, – разглагольствовать о красоте и воображении на этом несчастном, Богом покинутом острове. Неудивительно, что художник убрался то ли внутрь, то ли поверх своего создания, после того как сотворил эту страну.

Дождь усилился. Когда они дошли до ворот ирландской Королевской академии, то увидели кучку студентов, укрывшихся от дождя под аркой библиотеки. Прислонясь к колонне, Крэнли ковырял спичкой в зубах, слушая товарищей. Несколько девушек стояли около входной двери. Линч шепнул Стивену:

– Твоя милая здесь.

Не обращая внимания на дождь, который все усиливался, Стивен молча занял место ступенькой ниже группы и время от времени бросал взгляды в ее сторону. Она тоже стояла молча среди своих подруг. Нет священника – не с кем пофлиртовать, – с горечью подумал он, вспомнив, как видел ее в последний раз. Линч был прав. Его сознание обретало силу только в теоретических рассуждениях, вне их оно погружалось в безучастный покой.

Он прислушался к разговору студентов. Они говорили о двух товарищах с медицинского факультета, которые только что сдали выпускные экзамены, о возможности устроиться на океанском пароходе, о доходной и недоходной практике.

– Все это ерунда. Практика в ирландской деревне гораздо выгоднее.

– Хайнс пробыл два года в Ливерпуле, и он тоже так считает. Ужасная, говорит, дыра. Ничего, кроме акушерства. За визит по полкроны.

– Что ж, по-твоему, лучше работать в деревне, чем в таком богатом городе? У меня есть приятель...

– У Хайнса просто мозгов не хватает. Он всегда брал зубрежкой, одной зубрежкой.

– Да ну его... Конечно, в большом торговом городе отлично можно заработать.

– Все зависит от практики.

– Ego credo ut vita pauperum est simpliciter atrox, simpliciter sanguinarius atrox, in Liverpoolio^[220].

Их голоса долетали до его слуха как бы издалека, то и дело прерываясь. Она собралась уходить с подругами.

Короткий, легкий ливень прошел, повиснув алмазными гроздьями на кустах во дворике, от почерневшей земли уже поднимался пар. Девушки постукивали каблучками; они стояли на ступеньках колоннады, весело и спокойно переговаривались, поглядывая на облака, ловко подставляли зонтики под последние редкие капли, снова закрывали их и кокетливо приподнимали подолы юбок.

Не слишком ли строго он судил ее? А что, если она нанизывает часы своей жизни, как четки, и живет жизнью простой, чуждой нам, как жизнь птицы, – веселая утром, неугомонная днем, усталая на закате? И сердце у нее такое же простое и своенравное, как у птицы?

*

На рассвете он проснулся. О, какая сладостная музыка! Душа его была росновлажная. Бледные, прохладные волны света скользили по его спящему телу. Он лежал тихо, а душа его словно покоилась на прохладных волнах, внимая негромкой, сладостной музыке. Рассудок медленно пробуждался, готовясь вобрать в себя трепетное утреннее знание, утреннее вдохновение. Его наполнял дух чистый, как чистойшая вода, сладостный, как роса, стремительный, как музыка. Этот дух так нежен, так сладостен, словно серафимы дохнули на него. Душа пробуждалась медленно, боясь проснуться совсем. Это был тот безветренный, рассветный час, когда просыпается безумие, и странные растения раскрываются навстречу свету, и беззвучно вылетают мотыльки.

Завороженность сердца! Ночь была замороженной. Во сне или наяву познал экстаз серафической жизни^[221]. Как долго длилась эта

завороженность: только один колдовской миг или долгие часы, годы, века?

Мир вдохновения, казалось, теперь отражался сразу со всех сторон от множества облачных случайностей, от того, что было или могло быть. Миг сверкнул, как вспышка света, и вот от облака к облаку случайная, неясная форма мягко окутывает его сияющий след. О, в девственном лоне воображения Слово обретает плоть. Архангел Гавриил сошел в обитель Девы. Сияющий след наливался в его душе, откуда, наливаясь розовым знойным светом, вырывалось белое пламя. Розовый знойный свет – это ее своенравное, непостижимое сердце: его никогда не знали прежде и не узнают потом, непостижимое и своевольное от века. И мнимые этим знойным сиянием, розоподобным, сонмы серафимов низвергались с небес^[222].

Ты не устала в знойных лучах
Падшего духа манить за собой?
Память, усни в замороженных днях.

Из глубины сознания стихи устремились к губам, и, бормоча их, он чувствовал, как возникает ритм вилланеллы^[223]. Розоподобное сияние излучало вспышки рифм: лучах, очах, днях, небесах. Лучась, вспышки воспламеняли мир, сжигали сердца людей и ангелов; лучи розы, которая была ее своенравным сердцем.

Сердце сторает в твоих очах,
Властвуешь ты над его судьбой.
Ты не устала в знойных лучах?

А дальше? Ритм замер, замолк, снова начал расти и биться. А дальше?
Дым, фимиам, возносящийся с алтаря мира.

Дым фимиама плывет в небесах,
Всходит от шири бескрайней морской.
Память, усни в замороженных днях...

Дым курений поднимается со всей земли, от окутанных испарениями океанов – фимиам во славу Ей! Земля – как мерно раскачивающееся

кадило, шар с фимиамом, эллипсоидальный шар. Ритм внезапно замер. Вопль сердца оборвался. И снова и снова губы его бормотали первую строфу. Потом, путаясь, прошептали еще несколько строк, загнулись и смолкли. Вопль сердца оборвался.

Туманный, безветренный час миновал, и за стеклом незанавешенного окна уже занимался утренний свет. Где-то вдали слабо ударил колокол. Чирикнула птица, вот еще, еще... Потом колокол – и птицы смолкли; тусклый, белесый свет разливался на востоке и западе, застилая весь мир, застилая розовое сияние в его сердце.

Боясь позабыть, он быстро приподнялся на локте, отыскивая бумагу и карандаш. На столе ничего не было, кроме глубокой тарелки, на которой он ел за ужином рис, и подсвечника с оплывшим огарком и кружком бумаги, прихваченной пламенем напоследок. Он устало протянул руку к спинке кровати и стал шарить в карманах висевшей на ней куртки. Пальцы нащупали карандаш и пачку сигарет. Он снова лег, разорвал пачку, положил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать куплеты вилланеллы мелкими четкими буквами на жестком картоне.

Записав стихи, он откинулся на комковатую подушку и снова начал бормотать их. Комки сбившихся перьев в подушке у него под головой напомнили ему комки свалывшегося конского волоса в ее диване в гостиной, где он обычно сидел – то улыбаясь, то задумавшись, и спрашивал себя, зачем он пришел сюда, недовольный и ею и собой, смущенный литографией Святого Сердца над пустым буфетом. Разговор смолкает, она подходит к нему и просит спеть какую-нибудь из его интересных песенок. Он садится за старое пианино, перебирает пожелтевшие клавиши и на фоне вновь возобновившейся болтовни поет ей – а она стоит у камина – изящную песенку елизаветинских времен, грустную и нежную жалобу разлуки, песнь победы при Азенкуре, радостную мелодию «Зеленые рукава»^[224]. Пока он поет, а она слушает или делает вид, что слушает, сердце его спокойно, но когда изящные старинные песенки кончаются и он снова слышит разговор в комнате, ему вспоминается собственное ехидное замечание про дом, где молодых людей чересчур скоро начинают называть запросто, по имени.

В какие-то минуты ее глаза, казалось, вот-вот доверятся ему, но он ждал напрасно. Теперь в его воспоминаниях она проносилась в легком танце, как в тот вечер, когда он увидел ее на маскараде, в развевающемся белом платье, с веткой белых цветов в волосах. Танцуя, она приближалась к нему. Она смотрела чуть-чуть в сторону, и легкий румянец алел на ее щеках. А когда цепь хоровода сомкнулась, ее рука на мгновение мягким

нежным подарком легла ему на руку.

- Вас давно нигде не видно.
- Да, я от природы монах.
- Боюсь, что вы еретик.
- Вас это очень пугает?

Вместо ответа она, танцуя, удалялась от него вдоль цепи рук, легко, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка кивала в такт ее движениям. А когда она попадала в полосу тени, румянец на ее щеках вспыхивал еще ярче.

Монах! Его собственный образ предстал перед ним: осквернитель монашеского звания, еретик-францисканец, то желающий, то зарекающийся служить, плетущий, подобно Герардино да Борго Сан-Доннино^[225], зыбкую паутину софизмов и нашептывающий их ей на ухо.

Нет, это не его образ. Это скорее образ молодого священника, с которым он видел ее последний раз и на которого она нежно смотрела, теребя страницы своего ирландского разговорника.

– Дамы ходят нас слушать. Да, да! Я убеждаюсь в этом каждодневно. Дамы с нами. Они самые надежные союзницы ирландского языка.

– А церковь, отец Морен?

– Церковь тоже. И церковь с нами. Там тоже идет работа, насчет церкви не беспокойтесь.

ТЬфу! Он правильно поступил тогда, с презрением покинув комнату. Правильно поступил, что не поклонился ей на лестнице в библиотеке, правильно, что предоставил ей кокетничать со священником, заигрывать с церковью, этой судомойкой христианства.

Вспыхнувший грубый гнев угнал от его души последний, еле теплящийся миг экстаза, разбил вдребезги ее светлый образ и расшвырял осколки по сторонам. Со всех сторон изуродованные отражения ее образа всплывали в его памяти: цветочница в оборванном платье со слипшимися жесткими волосами и лицом шлюхи, та, что назвала себя бедной девушкой и приставала к нему, упрашивая купить букетик; служанка из соседнего дома, которая, гремя посудой, пела, подвывая на деревенский лад первые куплеты «Среди гор и озер Килларни»; девушка, которая засмеялась над ним, когда он споткнулся, зацепившись рваной подметкой за железную решетку на тротуаре у Корк-хилла; девушка с маленьким пухлым ротиком, на которую он загляделся, когда она выходила из ворот кондитерской фабрики братьев Джекобс, и которая, обернувшись, крикнула ему через плечо:

– Эй, ты, патлатый, с мохнатыми бровями, нравлюсь я тебе?

И все же он чувствовал, что, как ни унижай ее образ, как ни издевайся над ним, сам гнев его был своего рода поклонением ей. Он тогда ушел из класса полный презрения, но оно было не совсем искренним, ибо он чувствовал, что за темными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна ее народа. Бродя тогда по улицам, он твердил с горечью, что она – прообраз женщин ее страны, душа, подобная летучей мыши, пробуждающаяся к сознанию себя самой в темноте, в тайне и в одиночестве, душа, которая пока еще медлит, бесстрастная и безгрешная, со своим робким возлюбленным и покидает его, чтобы прошептать свои невинные проступки в прикинутое к решетке ухо священника. Его гнев против нее разрядился в грубых насмешках над ее возлюбленным, чье имя, голос и лицо оскорбляли его униженную гордость: поп из мужиков, у которого один брат полисмен в Дублине, а другой – кухонный подручный в кабаке в Мойколлен^[226]. И этому человеку она откроет стыдливую наготу своей души, тому, кого только и выучили отправлять формальный обряд, а не ему, служителю бессмертного воображения, претворяющему насущный хлеб опыта в сияющую плоть вечно живой жизни?

Сияющий образ причастия мгновенно соединил его горькие, отчаянные мысли, и они слились в благодарственный гимн:

В столах прерывистых, в скорбных мольбах
Гимн претворенья плывет над землей.
Ты не устала в знойных лучах?

Вот моя жертва в простертых руках,
Чаша наполнена жизнью живой.
Память, усни в замороженных днях.

Он громко повторял стихи, с первых слов, пока их музыка и ритм не наполнили его сознание; потом он тщательно переписал их, чтобы лучше почувствовать, прочитав глазами, и снова откинулся на подушку.

Уже совсем рассвело. Кругом не было слышно ни звука, но он знал, что жизнь рядом вот-вот проснется привычным шумом, грубыми голосами, сонными молитвами. И, прячась от этой жизни, он повернулся лицом к стене, натянув, как капюшон, одеяло на голову, и принялся рассматривать большие поблекшие алые цветы на рваных обоях. Он старался оживить свою угасающую радость их алым сиянием, представляя себе, что это

розовый путь отсюда к небу, усыпанный алыми цветами. Как он устал! Как устал! И он тоже устал от их знойных лучей!

Ощущение тепла, томной усталости охватило его, спускаясь через позвонки по всему телу от плотно закутанной в одеяло головы. Он чувствовал, как оно разливается, и, отдавшись ему, улыбнулся. Сейчас он заснет.

Спустя десять лет он снова посвятил ей стихи. Десять лет тому назад шаль капюшоном окутывала ей голову, пар от ее теплого дыхания клубился в ночном воздухе, башмачки громко стучали по замерзшей дороге. То была последняя конка, гнедые облезлые лошади чувствовали это и предупреждающе потряхивали своими бубенчиками в светлой ночи. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба покачивали головами в зеленом свете фонаря. Они стояли на ступеньках конки: он на верхней, она на нижней ступеньке. Разговаривая, она несколько раз заносила, ногу на его ступеньку и снова опускалась на свою, а раз или два осталась около него, забыв опуститься, но потом все же опустилась. Ну и пусть. Ну и пусть.

Десять лет прошло с мудрой поры детства до теперешнего безумия. А что, если послать ей стихи? Их будут читать вслух за утренним чаем, под стук чайных ложек об яичную скорлупу. Вот уж поистине безумие! Ее братья, хихикая, будут вырывать листок друг у друга грубыми, жесткими пальцами. Сладкоречивый священник, ее дядя, сидя в кресле и держа перед собой листок на вытянутой руке, прочтет их, улыбаясь, и одобрит литературную форму.

Нет, нет: это безумие. Даже если он пошлет ей стихи, она не покажет их другим. Нет, нет: она не способна на это.

Ему начало казаться, что он несправедлив к ней. Ощущение ее невинности увлекло его почти до жалости к ней; невинности, о которой он не имел представления до тех пор, пока не познал ее через грех, невинности, о которой и она не имела представления, пока была невинной или пока странная унижительная немочь женской природы не открылась ей в первый раз. Только тогда, впервые, пробудилась к жизни ее душа, как и его душа пробудилась к жизни, когда он согрешил в первый раз. Его сердце переполнилось нежным состраданием, когда он вспомнил ее хрупкую бледность, ее глаза, огорченные, униженные темным стыдом пола.

Где была она в то время, как его душа переходила от экстаза к томлению? Может быть, неисповедимыми путями духовной жизни в те самые минуты ее душа чувствовала его преклонение. Может быть.

Жар желания снова запылал в нем, зажег и охватил все тело. Чувствуя его желание, она – искусительница в его вилланелле – пробуждалась от

благоуханного сна. Ее черные, томные глаза открывались навстречу его глазам. Она отдавалась ему, нагая, лучезарная, теплая, благоуханная, щедротелая, обволакивая его, как сияющее облако, обволакивая, как живая вода; и словно туманное облако или воды, кругоомывающие пространство, текущие буквы речи, знаки стихии тайны, устремились, изливаемые его мозгом.

Ты не устала в знойных лучах
Падшего духа манить за собой?
Память, усни в замороженных днях.

Сердце сгорает в твоих очах,
Властвуешь ты над его судьбой.
Память, усни в замороженных днях.

Дым фимиама плывет в небесах
Всходит от шири бескрайней морской.
Память, усни в замороженных днях.

В столах прерывистых, в скорбных мольбах
Гимн претворенья плывет над землей.
Ты не устала в знойных лучах?

Вот моя жертва в простертых руках,
Чаша наполнена жизнью живой.
Память, усни в замороженных днях.

Но все ты стоишь в истомленных очах,
И томный твой взор манит за собой.
Ты не устала в знойных лучах?
Память, усни в замороженных днях.

*

Что это за птицы? Устало опираясь на ясеневую трость, он остановился на ступеньках библиотеки поглядеть на них. Они кружили, кружили над выступающим углом дома на Моулсворт-стрит. В воздухе

позднего мартовского вечера четко выделялся их полет, их темные, стремительные, трепещущие тельца проносились, четко выступая на небе, как на зыбкой ткани дымчатого, блекло-синего цвета.

Он следил за полетом: птица за птицей, темный взмах, взлет, снова взмах, стрелой вбок, по кривой плавно, трепетание крыльев. Попробовал считать, пока не пронеслись их стремительные, трепещущие тельца: шесть, десять, одиннадцать... И загадал про себя – чет или нечет. Двенадцать, тринадцать... а вот еще две, описывая круги, спустились ближе к земле. Они летели то высоко, то низко, но все кругами, кругами, то спрямляя, то закругляя линию полета и все время слева направо облетая воздушный храм.

Он прислушался к их крику: словно писк мыши за обшивкой стены – пронзительная, надломленная нота. Но по сравнению с мышинным писком ноты эти куда протяжнее и пронзительнее; они жужжат, понижаются то на терцию, то на кварту и вибрируют, когда летящие клювы рассекают воздух. Их пронзительный, четкий и тонкий крик падал, как нити шелкового света, разматывающиеся с жужжащего веретена.

Этот нечеловеческий гомон был отраден для его ушей, в которых неотступно звучали материнские рыдания и упреки, а темные, хрупкие, трепещущие тельца, кружащие, порхающие над землей, облетающие воздушный храм блеклого неба, радовали его глаза, перед которыми все еще стояло лицо матери.

Зачем он смотрит вверх со ступеней лестницы и слушает их пронзительные, надломленные крики, следя за их полетом? Какого оракула он ждет: доброго или злого? Фраза из Корнелия Агриппы промелькнула в его сознании, а за ней понеслись обрывки мыслей из Сведенборга о связи между птицами и явлениями духовной жизни и о том, что эти воздушные создания обладают своей собственной мудростью и знают свои сроки и времена года, потому что в отличие от людей они следуют порядку своей жизни, а не извращают этот порядок разумом^[227].

Веками, как вот он сейчас, глядели люди вверх на летающих птиц. Колоннада над ним смутно напоминала ему древний храм, а ясеневая палка, на которую он устало опирался, – изогнутый жезл авгура. Чувство страха перед неизвестным шевельнулось в глубине его усталости – страха перед символами, и предвестиями, и перед ястребоподобным человеком, имя которого он носил, – человеком, вырвавшимся из своего плена на сплетенных из ивы крыльях; перед Тотом – богом писцов, что писал на табличке тростниковой палочкой и носил на своей узкой голове ибиса

двурогий серп^[228].

Он улыбнулся, представив себе этого бога, потому что бог этот напомнил ему носатого судью в парике, который расставляет запятые в судебном акте, держа его в вытянутой руке, и подумал, что не вспомнил бы имени этого бога, не будь оно похоже по звучанию на слово «мот». Вот оно – сумасшествие. Но не из-за этого ли сумасшествия он готов навсегда покинуть дом молитвы и благоразумия, в котором родился, и уклад жизни, из которого вышел.

Они снова пролетели с резкими криками над выступающим углом дома, темные на фоне бледнеющего неба. Что это за птицы? Вероятно, ласточки вернулись с юга. Значит, и ему пора уезжать, ведь они, птицы, прилетают и улетают, свивают недолговечные гнезда под крышами людских жилищ и покидают свои гнезда для новых странствий.

Склоните лица ваши, Уна и Алиль.

Гляжу на них, как ласточка глядит

Из гнездышка под кровлей, с ним прощаясь

Пред дальним странствием над зыбью шумных вод.^[229]

Тихая текучая радость, подобно шуму набегających волн, разлилась в его памяти, и он почувствовал в сердце тихий покой безмолвных блекнувших просторов неба над водной ширью, безмолвие океана и покой ласточек, летающих в сумерках над струящимися водами.

Тихая текучая радость разлилась в этих словах, где мягкие и долгие гласные беззвучно сталкивались, распадались, набегали одна на другую и струились, раскачивая белые колокольчики волн в немом переливе, в немом перезвоне, в тихом замирающем крике; и он почувствовал, что то предсказание, которого он искал в круговом полете птиц и в бледном просторе неба над собой, спорхнуло с его сердца, как птица с башни – стремительно и спокойно.

Что это – символ расставания или одиночества? Стихи, тихо журчащие на слуху его памяти, медленно воссоздали перед его воспоминающим взором сцену в зрительном зале в вечер открытия Национального театра^[230]. Он сидел один в последнем ряду балкона, разглядывая утомленными глазами цвет дублинского общества в партере, безвкусные декорации и актеров,двигающихся, точно куклы в ярких огнях рампы. У него за спиной стоял, обливаясь потом, дюжий полисмен, готовый в любой момент навести порядок в зале. Среди сидевших тут и там студентов то и

дело поднимался неистовый свист, насмешливые возгласы, улюлюканье.

- Клевета на Ирландию!
- Немецкое производство!
- Кощунство!
- Мы нашей веры не продавали!
- Ни одна ирландка этого не делала!
- Долой доморощенных атеистов!
- Долой выкормышей буддизма![\[231\]](#)

Из окна сверху вдруг послышалось короткое шипенье, значит, в читальне зажгли свет. Он вошел в мягко освещенную колоннаду холла и, пройдя через щелкнувший турникет, поднялся по лестнице наверх.

Крэнли сидел у полки со словарями. Перед ним на деревянной подставке лежала толстая книга, открытая на титульном листе. Он сидел, откинувшись на спинку стула и приблизив ухо, как выслушивающий покаяние исповедник, к лицу студента-медика, который читал ему задачу из шахматной странички газеты. Стивен сел рядом с ним справа, священник по другую сторону стола сердито захлопнул свой номер «Тэблета»[\[232\]](#) и встал.

Крэнли рассеянно посмотрел ему вслед. Студент-медик продолжал, понизив голос:

- Пешка на е4.
- Давай лучше выйдем, Диксон[\[233\]](#), – сказал Стивен предостерегающе. – Он пошел жаловаться.

Диксон отложил газету и, с достоинством поднявшись, сказал:

- Наши отступают в полном порядке.
- Захватив оружие и скот, – прибавил Стивен, указывая на титульный лист лежавшей перед Крэнли книги, где было напечатано: «Болезни рогатого скота».

Когда они проходили между рядами столов, Стивен сказал:

- Крэнли, мне нужно с тобой поговорить.

Крэнли ничего не ответил и даже не обернулся. Он сдал книгу и пошел к выходу; его щеголеватые ботинки глухо стучали по полу. На лестнице он остановился и, глядя каким-то отсутствующим взглядом на Диксона, повторил:

- Пешка на чертово е4.
- Ну, если хочешь, можно и так, – ответил Диксон.

У него был спокойный, ровный голос, вежливые манеры, а на одном пальце пухлой чистой руки поблескивал перстень с печаткой.

В холле к ним подошел человек карликового роста. Под грибом крошечной шляпы его небритое лицо расплылось в любезной улыбке, и он заговорил шепотом. Глаза же были грустные, как у обезьяны.

– Добрый вечер, капитан, – сказал Крэнли, останавливаясь.

– Добрый вечер, джентльмены, – сказала волосатая обезьянья мордочка.

– Здорово тепло для марта, – сказал Крэнли, – наверху окна открыли.

Диксон улыбнулся и повертел перстень. Чернявая сморщенная обезьянья мордочка сложила человеческий ротик в приветливую улыбку, и голос промурлыкал:

– Чудесная погода для марта. Просто чудесная.

– Там наверху две юные прелестницы совсем заждались вас, капитан, – сказал Диксон.

Крэнли улыбнулся и приветливо сказал:

– У капитана только одна привязанность: сэра Вальтера Скотта. Не правда ли, капитан?

– Что вы теперь читаете, капитан? – спросил Диксон. – «Ламмермурскую невесту»?

– Люблю старика Скотта, – сказали податливые губы. – Слог у него – что-то замечательное. Ни один писатель не сравнится с сэром Вальтером Скоттом.

Он медленно помахивал в такт похвалам тонкой сморщенной коричневой ручкой. Его тонкие подвижные веки замигали, прикрывая грустные глазки.

Но еще грустнее было Стивену слышать его речь: жеманную, еле внятную, всю какую-то липкую, искаженную ошибками. Слушая, он спрашивал себя, правда ли то, что рассказывали о нем? Что его скудельная кровь благородна, а эта ссохшаяся оболочка – плод кровосмесительной любви?

Деревья в парке набухли от дождя, дождь шел медленно, не переставая, над серым, как щит, прудом. Здесь пронеслась стая лебедей, вода и берег были загажены белесовато-зеленой жижей. Они нежно обнимались, возбужденные серым дождливым светом, мокрыми неподвижными деревьями, похожим на щит соглядатаем-озером, лебедями. Они обнимались безрадостно, бесстрастно. Его рука обнимала сестру за шею, серая шерстяная шаль, перекинута через плечо, окутала ее до талии, ее светлая головка поникла в стыдливой податливости. У него взлохмаченные медно-рыжие волосы и нежные, гибкие, сильные, веснушчатые руки. А лицо? Лица не видно. Лицо брата склонялось над ее

светлыми, пахнувшими дождем волосами, рука – веснушчатая, сильная, гибкая и ласковая, рука Давина.

Он нахмурился, сердясь на свои мысли и на сморщенного человечка, вызвавшего их. В его памяти мелькнули отцовские остроты о шайке из Бантри. Он отмахнулся от них и снова с тягостным чувством предался своим мыслям. Почему не руки Крэнли? Или простота и невинность Давина более потаенно уязвляли его?

Он пошел с Диксоном через холл, предоставив Крэнли церемонно прощаться с карликом.

У колоннады в небольшой кучке студентов стоял Темпл. Один студент крикнул:

– Диксон, иди-ка сюда и послушай. Темпл в ударе.

Темпл поглядел на него своими темными цыганскими глазами.

– Ты, О'Кифф, лицемер, – сказал он. – А Диксон – улыбальщик. А ведь это, черт возьми, хорошее литературное выражение.

Он лукаво засмеялся, заглядывая в лицо Стивену, и повторил:

– А правда, черт возьми, отличное прозвище – улыбальщик.

Толстый студент, стоявший на лестнице ниже ступенькой, сказал:

– Ты про любовницу доскажи, Темпл. Вот что нам интересно.

– Была у него любовница, честное слово, – сказал Темпл. – При этом он был женат. И все попы ходили туда обедать. Да я думаю, все они, черт возьми, ее попробовали.

– Это, как говорится, трястись на кляче, чтобы сберечь рысака, – сказал Диксон.

– Признайся, Темпл, – сказал О'Кифф, – сколько кружек пива ты сегодня в себя влил?

– Вся твоя интеллигентская душонка в этой фразе, О'Кифф, – сказал Темпл с нескрываемым презрением.

Шаркающей походкой он обошел столпившихся студентов и обратился к Стивену:

– Ты знал, что Форстеры – короли Бельгии? – спросил он.

Вошел Крэнли в сдвинутой на затылок кепке, усердно ковыряя в зубах.

– А вот и наш кладезь премудрости, – заявил Темпл. – Скажи-ка, ты знал это про Форстера?

Он помолчал, дожидаясь ответа. Крэнли вытащил самодельной зубочисткой фиговое зернышко из зубов и уставился на него.

– Род Форстеров, – продолжал Темпл, – происходит от Болдуина Первого, короля Фландрии. Его звали Форестер. Форестер и Форстер – это одно и то же. Потомок Болдуина Первого, капитан Фрэнсис Форстер,

обосновался в Ирландии, женился на дочери последнего вождя клана Брэссила. Есть еще черные Форстеры, но это другая ветвь.

– От Обалдуя, короля Фландрии, – сказал Крэнли, снова задумчиво ковыряя в ослепительно белых зубах.

– Откуда ты все это выкопал? – спросил О'Кифф.

– Я знаю также историю вашего рода, – сказал Темпл, обращаясь к Стивену. – Знаешь ли ты, что говорит Гиральд Камбрийский про ваш род? [\[234\]](#)

– Он что, тоже от Болдуина произошел? – спросил высокий чахоточного вида студент с темными глазами.

– От Обалдуя, – повторил Крэнли, высасывая что-то из щели между зубами.

– *Pernobilis et pervetusta familia* [\[235\]](#), – сказал Темпл Стивену.

Дюжий студент на нижней ступеньке коротко пукнул. Диксон повернулся к нему и тихо спросил:

– Ангел заговорил?

Крэнли тоже повернулся и внушительно, но без злости сказал:

– Знаешь, Гоггинс, ты самая что ни на есть грязная скотина во всем мире.

– Я выразил то, что хотел сказать, – решительно ответил Гоггинс, – никому от этого вреда нет.

– Будем надеяться, – сказал Диксон сладким голосом, – что это не того же рода, что научно определяется как *paulo post futurum* [\[236\]](#).

– Ну, разве я вам не говорил, что он улыбальщик, – сказал Темпл, поворачиваясь то направо, то налево, – разве я не придумал ему это прозвище?

– Слышали, не глухие, – сказал высокий чахоточный.

Крэнли, все еще хмурясь, грозно смотрел на дюжего студента, стоявшего на ступеньку ниже. Потом с отвращением фыркнул и пихнул его.

– Пошел вон, – крикнул он грубо, – проваливай, вонючая посудина. Вонючий горшок.

Гоггинс соскочил на дорожку, но сейчас же, смеясь, вернулся на прежнее место. Темпл, оглянувшись на Стивена, спросил:

– Ты веришь в закон наследственности?

– Ты пьян или что вообще с тобой, что ты хочешь сказать? – спросил Крэнли, в недоумении уставившись на него.

– Самое глубокое изречение, – с жаром продолжал Темпл, – написано в конце учебника зоологии: воспроизведение есть начало смерти.

Он робко коснулся локтя Стивена и восторженно сказал:

– Ты ведь поэт, ты должен чувствовать, как это глубоко!

Крэнли ткнул в его сторону длинным указательным пальцем.

– Вот, посмотрите, – сказал он с презрением. – Полюбуйтесь – надежда Ирландии!

Его слова и жест вызвали общий смех. Но Темпл храбро повернулся к нему и сказал:

– Ты, Крэнли, всегда издеваешься надо мной. Я это прекрасно вижу. Но я ничуть не хуже тебя. Знаешь, что я думаю, когда сравниваю тебя с собой?

– Дорогой мой, – вежливо сказал Крэнли, – но ведь ты неспособен, абсолютно неспособен думать.

– Так вот, хочешь знать, что я думаю о тебе, когда сравниваю нас? – продолжал Темпл.

– Выкладывай, Темпл, – крикнул толстый со ступеньки, – да поживей!

Жестикулируя, Темпл поворачивался то налево, то направо.

– Я мудила, – сказал он, безнадежно мотая головой. – Я знаю это. И признаю.

Диксон легонько похлопал его по плечу и ласково сказал:

– Это делает тебе честь, Темпл.

– Но он, – продолжал Темпл, показывая на Крэнли, – он такой же мудила, как и я. Только он этого не знает, вот и вся разница.

Взрыв хохота заглушил его слова, но он опять повернулся к Стивену и с внезапной горячностью сказал:

– Это очень любопытное слово, его происхождение тоже очень любопытно.

– Да? – рассеянно сказал Стивен.

Он смотрел на мужественное, страдальческое лицо Крэнли, который сейчас принужденно улыбался. Грубое слово, казалось, стекло с его лица, как стекает грязная вода, выплеснутая на свыкшееся с унижениями старинное изваяние. Наблюдая за ним, он увидел, как Крэнли поздоровался с кем-то, приподнял кепку, обнажив голову с черными жесткими волосами, торчащими надо лбом, как железный венец.

Она вышла из библиотеки и, не взглянув на Стивена, ответила на поклон Крэнли. Как? И он тоже? Или ему показалось, будто щеки Крэнли слегка вспыхнули? Или это от слов Темпла? Уже совсем смеркалось. Он не мог разглядеть.

Может быть, этим и объяснялось безучастное молчание его друга, грубые замечания, неожиданные выпады, которыми он так часто обрывал

пылкие, сумасбродные признания Стивена? Стивен легко прощал ему, обнаружив, что в нем самом тоже была эта грубость к самому себе. Вспомнилось, как однажды вечером в лесу, около Малахайда, он сошел со скрипучего, одолженного им у кого-то велосипеда, чтобы помолиться Богу. Он воздел руки и молился в экстазе, устремляя взор к темному храму деревьев, зная, что он стоит на священной земле, в священный час. А когда два полисмена показались из-за поворота темной дороги, он прервал молитву и громко засвистел какой-то мотивчик из модного представления.

Он начал постукивать стертым концом ясеновой трости по цоколю колонны. Может быть, Крэнли не слышал его? Что ж, он подождет. Разговор на мгновение смолк, и тихое шипение опять донеслось из окна сверху. Но больше в воздухе не слышалось ни звука, а ласточки, за полетом которых он праздно следил, уже спали.

Она ушла в сумерки. И потому все стихло кругом, если не считать короткого шипения, доносившегося сверху. И потому смолкла рядом болтовня. Тьма ниспадала на землю.

Тьма ниспадает с небес...^[237]

Трепетная, мерцающая, как слабый свет, радость закружилась вокруг него волшебным роем эльфов. Но отчего? Оттого ли, что она прошла в сумеречном воздухе, или это строка стиха с его черными гласными и полным открытым звуком, который льется, как звук лютни?

Он медленно пошел вдоль колоннады, углубляясь в ее сгущающийся мрак, тихонько постукивая тростью по каменным плитам, чтобы скрыть от оставшихся позади студентов свое мечтательное забытие и, дав волю воображению, представил себе век Дауланда, Берда и Нэша.

Глаза, раскрывающиеся из тьмы желания, глаза, затмевающие утреннюю зарю. Что такое их томная прелесть, как не разнеженность похоти? А их мерцающий блеск – не блеск ли это нечистот в сточной канаве двора слюнтя Стюарта?^[238] Языком памяти он отведывал ароматные вина, ловил замирающие обрывки нежных мелодий горделивой паваны, а глазами памяти видел уступчивых знатных дам в Ковент-Гардене, призывно манящих алчными устами с балконов, видел рябых девок из таверн и молодых жен, радостно отдающихся своим соблазнителям, переходящих из объятий в объятия.

Образы, вызванные им, не доставили ему удовольствия. В них было что-то тайное, разжигающее, но ее образ был далек от всего этого. Так о

ней нельзя думать. Да он так и не думал. Значит, мысль его не может довериться самой себе? Старые фразы, зловонно-сладостные, как фиговые зернышки, которые Крэнли выковыривает из щелей между своими ослепительно белыми зубами.

То была не мысль и не видение, хотя он смутно знал, что сейчас она идет по городу домой. Сначала смутно, а потом сильнее он ощутил запах ее тела. Знакомое волнение закипало в крови. Да, это запах ее тела: волнующий, томительный запах; теплое тело, овеянное музыкой его стихов, и скрытое от взора мягкое белье, насыщенное благоуханием и росой ее плоти.

Он почувствовал, как у него по затылку ползет вошь: ловко просунув большой и указательный палец за отложной воротник, он поймал ее, покатав секунду ее мягкое, но ломкое, как зернышко риса, тельце и отшвырнул от себя, подумав, останется ли она жива. Ему вспомнилась забавная фраза из Корнелия а Лапиде^[239], в которой говорится, что вши, рожденные человеческим потом, не были созданы Богом вместе со всеми зверями на шестой день. Зуд кожи на шее раздражил и озлобил его. Жизнь тела, плохо одетого, плохо кормленного, изъеденного вшами, заставила его зажмуриться, поддавшись внезапному приступу отчаяния, и в темноте он увидел, как хрупкие, светлые тельца вшей крутятся и падают в воздухе. Но ведь это вовсе не тьма ниспадает с неба. А свет.

Свет ниспадает с небес...

Он даже не мог правильно вспомнить строчку из Нэша. Все образы, вызванные ею, были ложными. В воображении его завелись гниды. Его мысли – это вши, рожденные потом неряшливости.

Он быстро зашагал обратно вдоль колоннады к группе студентов. Ну и хорошо! И черт с ней! Пусть себе любит какого-нибудь чистоплотного атлета с волосатой грудью, который моется каждое утро до пояса. На здоровье!

Крэнли вытащил еще одну сушеную фигу из кармана и стал медленно, звучно жевать ее. Темпл сидел, прислонясь к колонне, надвинув фуражку на осоловелые глаза. Из здания вышел коренастый молодой человек с кожаным портфелем под мышкой. Он зашагал к компании студентов, громко стуча по каменным плитам каблуками и железным наконечником большого зонта. Подняв зонт в знак приветствия, он сказал, обращаясь ко всем:

– Добрый вечер, джентльмены.

Потом опять стукнул зонтом о плиты и захихикал, а голова его затряслась мелкой нервической дрожью. Высокий чахоточный студент, Диксон и О'Кифф увлеченно разговаривали по-ирландски и не ответили ему. Тогда, повернувшись к Крэнли, он сказал:

– Добрый вечер, особенно тебе!

Ткнул зонтом в его сторону и опять захихикал. Крэнли, который все еще жевал фигу, ответил, громко чавкая:

– Добрый? Да, вечер недурной.

Коренастый студент внимательно посмотрел на него и тихонько и укоризненно помахал зонтом.

– Мне кажется, – сказал он, – ты изволил заметить нечто самоочевидное.

– Угу! – ответил Крэнли и протянул наполовину изжеванную фигу к самому рту коренастого студента, как бы предлагая ему доесть.

Коренастый есть не стал, но, довольный собственным остроумием, важно спросил, не переставая хихикать и указуя зонтом в такт речи:

– Следует ли понимать это?..

Он остановился, показывая на изжеванный огрызок фиги, и громко добавил:

– Я имею в виду это.

– Угу! – снова промычал Крэнли.

– Следует ли разуместь под этим, – сказал коренастый, – ipso factum^[240] или нечто иносказательное?

Диксон, отходя от своих собеседников, сказал:

– Глинн, тебя тут Гоггинс ждал. Он пошел в «Адельфи»^[241] искать вас с Мойниханом. Что это у тебя здесь? – спросил он, хлопнув по портфелю, который Глинн держал под мышкой.

– Экзаменационные работы, – ответил Глинн. – Я их каждый месяц экзаменую, чтобы видеть результаты своего преподавания.

Он тоже похлопал по портфелю, тихонько кашлянул и улыбнулся.

– Преподавание! – грубо вмешался Крэнли. – Несчастные босоногие ребяташки, которых обучает такая мерзкая обезьяна, как ты. Помилуй их, Господи!

Он откусил еще кусок фиги и отшвырнул огрызок прочь.

– Пустите детей приходите ко мне и не возбраняйте им^[242], – сказал Глинн сладким голосом.

– Мерзкая обезьяна! – еще резче сказал Крэнли. – Да еще

богохульствующая мерзкая обезьяна!

Темпл встал и, оттолкнув Крэнли, подошел к Глинну.

– Эти слова, которые вы сейчас произнесли, – сказал он, – из Евангелия: не возбраняйте детям приходить ко мне.

– Ты бы поспал еще, Темпл, – сказал О'Кифф.

– Так вот, я хочу сказать, – продолжал Темпл, обращаясь к Глинну, – Иисус не возбранял детям приходить к нему. Почему же церковь отправляет их всех в ад, если они умирают некрещеными? Почему, а?

– А сам-то ты крещеный, Темпл? – спросил чахоточный студент.

– Нет, почему же все-таки их отправляют в ад, когда Иисус говорил, чтобы они приходили к нему? – повторил Темпл, буравя Глинна глазами.

Глинн кашлянул и тихо проговорил, с трудом удерживая нервное хихиканье и взмахивая зонтом при каждом слове:

– Ну а если это так, как ты говоришь, я позволяю себе столь же внушительно спросить, откуда взялась сия «такость»?

– Потому что церковь жестока, как все старые грешницы, – сказал Темпл.

– Ты придерживаешься ортодоксальных взглядов на этот счет, Темпл? – вкрадчиво спросил Диксон.

– Святой Августин говорит, что некрещенные дети попадут в ад, – отвечал Темпл, – потому что он сам тоже был старый жестокий грешник.

– Ты, конечно, дока, – сказал Диксон, – но я все-таки всегда считал, что для такого рода случаев существует лимб.

– Не спорь ты с ним, Диксон, – с негодованием вмешался Крэнли. – Не говори с ним, не смотри на него, а лучше всего уведи его домой на веревке, как блеющего козла.

– Лимб! – воскликнул Темпл. – Вот еще тоже замечательное изобретение! Как и ад!

– Но без его неприятностей, – заметил Диксон.

Улыбаясь, он повернулся к остальным и сказал:

– Надеюсь, что я выражаю мнение всех присутствующих.

– Разумеется, – сказал Глинн решительно. – Ирландия на этот счет единодушна.

Он стукнул наконечником своего зонта по каменному полу колоннады.

– Ад, – сказал Темпл. – Эту выдумку серолицей супружницы сатаны^[243] я могу уважать. – Ад – это нечто римское, нечто мощное и уродливое, как римские стены. Но вот что такое лимб?

– Уложи его обратно в колыбельку, Крэнли! – крикнул О'Кифф.

Крэнли быстро шагнул к Темплу, остановился и, топнув ногой,

шикнул, как на курицу:

– Кш!..

Темпл проворно отскочил в сторону.

– А вы знаете, что такое лимб? – закричал он. – Знаете, как называются у нас в Роскоммоне такие вещи?

– Кш!.. Пошел вон! – закричал Крэнли, хлопая в ладоши.

– Ни задница, ни локоть, – презрительно крикнул Темпл, – вот что такое ваше чистилище.

– Дай-ка мне сюда палку, – сказал Крэнли.

Он вырвал ясеневую трость из рук Стивена и ринулся вниз по лестнице, но Темпл, услышав, что за ним гонятся, помчался в сумерках, как ловкий и быстроногий зверь. Тяжелые сапоги Крэнли загромыхали по площадке и потом грузно простучали обратно, на каждом шагу разбрасывая щебень.

Шаги были злобные, и злобным, резким движением он сунул палку обратно в руки Стивена. Стивен почувствовал, что за этой злобой скрывается какая-то особая причина, но с притворной терпимостью он чуть тронул Крэнли за руку и спокойно сказал:

– Крэнли, я же тебе говорил, что мне надо с тобой посоветоваться. Идем.

Крэнли молча смотрел на него несколько секунд, потом спросил:

– Сейчас?

– Да, сейчас, – сказал Стивен. – Здесь не место для разговора. Ну идем же.

Они пересекли дворик. Мотив птичьего свиста из «Зигфрида» мягко прозвучал им вдогонку со ступенек колоннады. Крэнли обернулся, и Диксон, перестав свистеть, крикнул:

– Куда это вы, друзья? А как насчет нашей партии, Крэнли?

Они стали уговариваться, переключаясь в тихом воздухе, насчет партии в бильярд в гостинице «Адельфи». Стивен пошел вперед один и, очутившись в тишине Килдер-стрит против гостиницы «Под кленом», остановился и снова стал терпеливо ждать. Название гостиницы, бесцветность полированного дерева, бесцветный фасад здания кольнули его, как учтиво-презрительный взгляд. Он сердито смотрел на мягко освещенный холл гостиницы, представляя себе, как там, в мирном покое, гладко течет жизнь ирландских аристократов. Они думают о повышениях по службе и армии, об управляющих поместьями; крестьяне низко кланяются им на деревенских дорогах; они знают названия разных французских блюд и отдают приказания слугам писклявым, крикливым

голосом, но в их высокомерном тоне сквозит провинциальность.

Как растормошить их, как завладеть воображением их дочерей до того, как они понесут своих дворянчиков и вырастят потомство не менее жалкое, чем они сами. И в сгущающемся сумраке он чувствовал, как помыслы и надежды народа, к которому он принадлежал, мечутся, словно летучие мыши на темных деревенских проселках, под купами деревьев, над водой, над трясиными болот. Женщина ждала в дверях, когда Давин шел ночью по дороге. Она предложила ему кружку молока и позвала разделить с ней ложе, потому что у Давина кроткие глаза человека, умеющего хранить тайну. А вот его никогда не звали женские глаза.

Кто-то крепко схватил его под руку, и голос Крэнли сказал:

– Изыдем.

Они зашагали молча к югу. Потом Крэнли сказал:

– Этот проклятый идиот Темпл! Клянусь Богом, я когда-нибудь убью его.

Но в голосе его уже не было злобы. И Стивен спрашивал себя: не вспоминает ли он, как она поздоровалась с ним под колоннадой?

Они повернули налево и пошли дальше. Некоторое время оба шли все так же молча, потом Стивен сказал:

– Крэнли, у меня сегодня произошла неприятная ссора.

– С домашними? – спросил Крэнли.

– С матерью.

– Из-за религии?

– Да, – ответил Стивен.

– Сколько лет твоей матери? – помолчав, спросил Крэнли.

– Не старая еще, – ответил Стивен. – Она хочет, чтоб я причастился на пасху.

– А ты?

– Не стану.

– А собственно, почему?

– Не буду служить^[244], – ответил Стивен.

– Это уже было кем-то сказано раньше, – спокойно заметил Крэнли.

– Ну, а вот теперь я говорю, – вспылил Стивен.

– Полегче, голубчик. До чего же ты, черт возьми, возбудимый, – сказал Крэнли, прижимая локтем руку Стивена.

Он сказал это с нервным смешком и, дружелюбно заглядывая Стивену в лицо, повторил:

– Ты знаешь, что ты очень возбудимый?

– Конечно, знаю, – тоже смеясь, сказал Стивен.

Отчужденность, возникшая между ними, исчезла, и они вдруг снова почувствовали себя близкими друг другу.

– Ты веришь в пресуществление хлеба и вина в тело и кровь Христовы? – спросил Крэнли.

– Нет, – сказал Стивен.

– Не веришь, значит?

– И да и нет.

– Даже у многих верующих людей бывают сомнения, однако они или преодолевают их, или просто не считаются с ними, – сказал Крэнли. – Может, твои сомнения слишком сильны?

– Я не хочу их преодолевать, – возразил Стивен.

Крэнли, на минуту смутившись, вынул из кармана фигу и собирался уже сунуть ее в рот, но Стивен остановил его:

– Послушай, ты не сможешь продолжать со мной этот разговор с набитым ртом.

Крэнли осмотрел фигу при свете фонаря, под которым они остановились, понюхал, приложив к каждой ноздре по отдельности, откусил маленький кусочек, выплюнул его и наконец швырнул фигу в канаву.

– Иди от меня, проклятая, в огонь вечный, – провозгласил он ей вслед.

Он снова взял Стивена под руку.

– Ты не боишься услышать эти слова в день Страшного суда? – спросил он.

– А что предлагается мне взамен? – спросил Стивен. – Вечное блаженство в компании нашего декана?

– Не забудь, он попадет в рай.

– Еще бы, – сказал Стивен с горечью, – такой разумный, деловитый, невозмутимый, а главное, пронизательный.

– Любопытно, – спокойно заметил Крэнли, – до чего ты насквозь пропитан религией, которую ты, по твоим словам, отрицаешь. Ну, а в колледже ты верил? Пари держу, что да.

– Да, – ответил Стивен.

– И был счастлив тогда? – мягко спросил Крэнли. – Счастливее, чем теперь?

– Иногда был счастлив, иногда – нет. Но тогда я был кем-то другим.

– Как это кем-то другим? Что это значит?

– Я хочу сказать, что я был не тот, какой я теперь, не тот, каким должен был стать.

– Не тот, какой теперь? Не тот, каким должен был стать? – повторил

Крэнли. – Позволь задать тебе один вопрос. Ты любишь свою мать?

Стивен медленно покачал головой.

– Я не понимаю, что означают твои слова, – просто сказал он.

– Ты что, никогда никого не любил? – спросил Крэнли.

– Ты хочешь сказать – женщин?

– Я не об этом говорю, – несколько более холодным тоном возразил

Крэнли. – Я спрашиваю тебя: чувствовал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?

Стивен шел рядом со своим другом, угрюмо глядя себе под ноги.

– Я пытался любить Бога, – выговорил он наконец. – Кажется, мне это не удалось. Это очень трудно. Я старался ежеминутно слить мою волю с волей Божьей. Иногда это мне удавалось. Пожалуй, я и сейчас мог бы.

Крэнли внезапно прервал его:

– Твоя мать прожила счастливую жизнь?

– Откуда я знаю? – сказал Стивен.

– Сколько у нее детей?

– Девять или десять, – отвечал Стивен. – Несколько умерло.

– А твой отец... – Крэнли на секунду замялся, потом, помолчав, сказал: – Я не хочу вмешиваться в твои семейные дела. Но твой отец, он был, что называется, состоятельным человеком? Я имею в виду то время, когда ты еще был ребенком.

– Да, – сказал Стивен.

– А кем он был? – спросил Крэнли, помолчав.

Стивен начал скороговоркой перечислять специальности своего отца.

– Студент-медик, гребец, тенор, любитель-актер, горлопан-политик, мелкий помещик, мелкий вкладчик, пьяница, хороший малый, говорун, чей-то секретарь, кто-то на винном заводе, сборщик налогов, банкрот, а теперь певец собственного прошлого.

Крэнли засмеялся и, еще крепче прижав руку Стивена, сказал:

– Винный завод – отличная штука, черт возьми!

– Ну что еще ты хочешь знать? – спросил Стивен.

– А теперь вы хорошо живете? Обеспеченно?

– А по мне разве не видно? – резко спросил Стивен.

– Итак, – протянул Крэнли задумчиво, – ты, значит, родился в роскоши.

Он произнес эту фразу громко, отдельно, как часто произносил какие-нибудь технические термины, словно желая дать понять своему слушателю, что произносит их не совсем уверенно.

– Твоей матери, должно быть, немало пришлось натерпеться, –

продолжал Крэнли. – Почему бы тебе не избавиться ее от лишних огорчений, даже если...

– Если бы я решился избавиться, – сказал Стивен, – это не стоило бы мне ни малейшего труда.

– Вот и сделай так, – сказал Крэнли. – Сделай, как ей хочется. Что тебе стоит? Если ты не веришь, это будет просто формальность, не больше. А ее ты успокоишь.

Он замолчал, а так как Стивен не ответил, не прервал молчания. Затем, как бы продолжая вслух ход своих мыслей, сказал:

– Все зыбко в этой помойной яме, которую мы называем миром, но только не материнская любовь. Мать производит тебя на свет, вынашивает в своем теле. Что мы знаем о ее чувствах? Но какие бы чувства она ни испытывала, они, во всяком случае, должны быть настоящими. Должны быть настоящими. Что все наши идеи и чаяния? Игра! Идеи! У этого блеющего козла Темпла тоже идеи. И у Макканна – идеи. Любой осел на дороге думает, что у него есть идеи.

Стивен, пытаюсь понять, что таится за этими словами, нарочито небрежно сказал:

– Паскаль, насколько я помню, не позволял матери целовать себя, так как он боялся прикосновения женщины^[245].

– Значит, Паскаль – свинья, – сказал Крэнли.

– Алоизий Гонзага, кажется, поступал так же.

– В таком случае и он свинья, – сказал Крэнли.

– А церковь считает его святым, – возразил Стивен.

– Плевать я хотел на то, кто кем его считает, – решительно и грубо отрезал Крэнли. – Я считаю его свиньей.

Стивен, обдумывая каждое слово, продолжал:

– Иисус тоже не был на людях особенно учтив со своей матерью^[246], однако Суарес, иезуитский теолог и испанский дворянин, оправдывает его^[247].

– Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, – спросил Крэнли, – что Иисус был не тем, за кого он себя выдавал?

– Первый, кому пришла в голову эта мысль, – ответил Стивен, – был сам Иисус.

– Я хочу сказать, – резко повысив тон, продолжал Крэнли, – приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что он был сознательный лицемер, гроб повапленный, как он сам назвал иудеев, или, попросту говоря, подлец?

– Признаюсь, мне это никогда не приходило в голову, – ответил

Стивен, – но интересно, ты что, стараешься обратить меня в веру или совратить самого себя?

Он заглянул ему в лицо и увидел кривую усмешку, которой Крэнли силился придать тонкую многозначительность.

Неожиданно Крэнли спросил просто и деловито:

– Скажи по совести, тебя не шокировали мои слова?

– До некоторой степени, – сказал Стивен.

– А собственно, почему? – продолжал Крэнли тем же тоном. – Ты же сам уверен, что наша религия – обман и что Иисус не был сыном Божьим.

– А я в этом совсем не уверен, – сказал Стивен. – Он, пожалуй, скорее сын Бога, нежели сын Марии.

– Вот потому-то ты и не хочешь причащаться? – спросил Крэнли. – Ты что, и в этом не совсем уверен? Ты чувствуешь, что причастие действительно может быть телом и кровью сына Божия, а не простой облаткой? Боишься, что, может, это и вправду так?

– Да, – спокойно ответил Стивен. – Я чувствую это, и потому мне вчуже страшно.

– Понятно, – сказал Крэнли.

Стивен, удивленный его тоном, как бы закрывающим разговор, поспешил сам продолжить.

– Я многого боюсь, – сказал он, – собак, лошадей, оружия, моря, грозы, машин, проселочных дорог ночью.

– Но почему ты боишься кусочка хлеба?

– Мне кажется, – сказал Стивен, – за всем тем, чего я боюсь, кроется какая-то зловещая реальность.

– Значит, ты боишься, – спросил Крэнли, – что Бог римско-католической церкви покарает тебя проклятием и смертью, если ты кощунственно примешь причастие?

– Бог римско-католической церкви мог бы это сделать и сейчас, – сказал Стивен. – Но еще больше я боюсь того химического процесса, который начнется в моей душе от лживого поклонения символу, за которым стоят двадцать столетий и могущества и благоговения.

– А мог бы ты, – спросил Крэнли, – совершить это святотатство, если бы тебе грозила опасность? Ну, скажем, если бы ты жил в те времена, когда преследовали католическую веру?

– Я не берусь отвечать за прошлое, – ответил Стивен. – Возможно, что и не мог бы.

– Значит, ты не собираешься стать протестантом?

– Я потерял веру, – ответил Стивен. – Но я не потерял уважения к себе.

Какое же это освобождение: отказаться от одной нелепости, логичной и последовательной, и принять другую, нелогичную и непоследовательную?
[248]

Они дошли до района Пембрук^[249] и теперь, шагая медленно вдоль его обсаженных улиц, почувствовали, что деревья и огни, кое-где горящие на виллах, успокоили их. Атмосфера достатка и тишины, казалось, смягчила даже их нужду. В кухонном окне за лавровой изгородью мерцал свет, оттуда доносилось пение служанки, точившей ножи. Она пела, чеканя строки «Рози О'Грейди».

Крэнли остановился послушать и сказал:

– Mulier cantat^[250].

Мягкая красота латинских слов завораживающе коснулась вечерней тьмы прикосновением более легким и убеждающим, чем прикосновение музыки или женской руки. Смятение в их умах улеглось. Женская фигура, какую она появляется в церкви во время литургии, тихо возникла в темноте: фигура, облаченная во все белое, маленькая и мальчишески-стройная, с ниспадающими концами пояса. Ее голос, по-мальчишески высокий и ломкий, доносит из далекого хора первые слова женщины, прорывающие мрак и вопли первого плача Страстей Господних:

– Et tu cum lesu Galilaeo eras^[251].

И, дрогнув, все сердца устремляются к этому голосу, сверкающему, как юная звезда, которая разгорается на первом слове и гаснет на последнем.

Пение кончилось. Они пошли дальше. Крэнли, акцентируя ритм, повторил конец припева:

Заживем с моею милой,
Счастлив с нею буду я.
Я люблю малютку Розы.
Розы любит меня.

– Вот тебе истинная поэзия, – сказал он. – Истинная любовь.

Он покосился на Стивена и как-то странно улыбнулся.

– А по-твоему, это поэзия? Тебе что-нибудь говорят эти слова?

– Я бы хотел сначала поглядеть на Розы, – сказал Стивен.

– Ее нетрудно найти, – сказал Крэнли.

Его кепка нахлобучилась на лоб. Он сдвинул ее назад, и в тени деревьев Стивен увидел его бледное, обрамленное тьмой лицо и большие темные глаза. Да, у него красивое лицо и сильное крепкое тело. Он говорил

о материнской любви. Значит, он понимает страдания женщин, их слабости – душевные и телесные; он будет защищать их сильной, твердой рукой, склонит перед ними свой разум.

Итак, в путь! Пора уходить. Чей-то голос тихо зазвучал в одиноком сердце Стивена, повелевая ему уйти, внушая, что их дружбе пришел конец. Да, он уйдет, он не может ни с кем бороться, он знает свой удел.

– Возможно, я уеду, – сказал он.

– Куда? – спросил Крэнли.

– Куда удастся, – ответил Стивен.

– Да, – сказал Крэнли. – Пожалуй, тебе здесь придется трудновато. Но разве ты из-за этого уезжаешь?

– Я должен уехать, – сказал Стивен.

– Только не думай, что тебя вынудили к изгнанию, если ты сам не хочешь, – продолжал Крэнли. – Не считай себя каким-то еретиком или отщепенцем. Многие верующие так думают. Тебя это удивляет? Но ведь церковь – это не каменное здание и даже не духовенство с его догматами. Это все вместе люди, рожденные в ней. Я не знаю, чего ты хочешь от жизни. Того, о чем ты мне говорил в тот вечер, когда мы стояли с тобой на остановке у Харкорт-стрит?

– Да, – сказал Стивен, невольно улыбнувшись. Его забавляла привычка Крэнли запоминать мысли в связи с местом. – В тот вечер ты полчаса потратил на спор с Догерти о том, как ближе пройти от Селлигепа в Лэррес^[252].

– Дубина! – сказал Крэнли с невозмутимым презрением. – Что он знает о дорогах от Селлигепа в Лэррес? Что он вообще может знать, когда у него вместо головы дырявая лохань!

Он громко расхохотался.

– Ну, а остальное, – сказал Стивен, – остальное ты помнишь?

– То есть, то, о чем ты говорил? – спросил Крэнли. – Да, помню. Найти такую форму жизни или искусства, в которой твой дух мог бы выразить себя раскованно, свободно.

Стивен приподнял кепку, как бы подтверждая это.

– Свобода! – повторил Крэнли. – Где там! Ты даже боишься совершить святотатство. А мог бы ты украсть?

– Нет, лучше просить милостыню, – сказал Стивен.

– Ну, а если тебе ничего не подадут, тогда как?

– Ты хочешь, чтобы я сказал, – ответил Стивен, – что право собственности условно и что при известных обстоятельствах воровство не преступление. Тогда бы все воровали. Поэтому я воздержусь от такого

ответа. Обратись лучше к иезуитскому богослову Хуану Мариане де Талавера, он объяснит тебе, при каких обстоятельствах позволительно убить короля и как это сделать – подсыпав ему яду в кубок или же пропитав отравой его одежду или седельную луку^[253]. Спроси меня лучше: разрешил бы я себя ограбить? Не предал ли бы я грабителей, как говорится, карающей деснице правосудия?

– Ну, а как бы ты это сделал?

– По-моему, – сказал Стивен, – это было бы для меня не менее тяжело, чем быть ограбленным.

– Понимаю, – сказал Крэнли.

Он вынул спичку из кармана и стал ковырять в зубах. Потом небрежно спросил:

– Скажи, а ты мог бы, например, лишить девушку невинности?

– Прошу прощения, – вежливо сказал Стивен. – Разве это не мечта большинства молодых людей?

– Ну, а ты как на это смотришь? – спросил Крэнли.

Его последняя фраза, едкая, как запах гари, и коварная, разбередила сознание Стивена, осев на нем тяжелыми испарениями.

– Послушай, Крэнли, – сказал он. – Ты спрашиваешь меня, что я хотел бы сделать и чего бы я не стал делать. Я тебе скажу, что я делать буду и чего не буду. Я не буду служить тому, во что я больше не верю, даже если это называется моим домом, родиной или церковью. Но я буду стараться выразить себя в той или иной форме жизни или искусства так полно и свободно, как могу, защищаясь лишь тем оружием, которое считаю для себя возможным, – молчанием, изгнанием и хитроумием^[254].

Крэнли схватил Стивена за руку и повернул его обратно по направлению к Лисон-парку. Он лукаво засмеялся и прижал к себе руку Стивена с дружелюбной нежностью старшего.

– Хитроумием?! – сказал он. – Это ты-то? Бедняга поэт!

– Ты заставил меня признаться тебе в этом, – сказал Стивен, взволнованный его пожатием, – так же, как я признавался во многом другом.

– Да, дитя мое^[255], – сказал Крэнли все еще шутливо.

– Ты заставил меня признаться в том, чего я боюсь. Но я скажу тебе также, чего я не боюсь. Я не боюсь остаться один или быть отвергнутым ради кого-то другого, не боюсь покинуть все то, что мне суждено оставить. И я не боюсь совершить ошибку, даже великую ошибку, ошибку всей жизни, а может быть, даже всей вечности.

Крэнли замедлил шаг и сказал теперь уже серьезно:

– Один, совсем один. Ты не боишься этого. А понимаешь ли ты, что значит это слово? Не только быть в стороне ото всех, но даже не иметь друга.

– Я готов и на это, – сказал Стивен.

– Не иметь никого, кто был бы больше чем друг, больше чем самый благородный, преданный друг.

Эти слова, казалось, задели какую-то сокровенную струну в нем самом. Говорил ли он о себе, о том, каким он был или хотел бы стать? Стивен несколько секунд молча вглядывался в его лицо, на котором застыла скорбь. Он говорил о себе, о собственном одиночестве, которого страшился.

– О ком ты говоришь? – спросил наконец Стивен.

Крэнли не ответил.

*

20 марта. Длинный разговор с Крэнли о моем бунте.

Он важно вещал. Я поддельвался и юлил. Донимал меня разговорами о любви к матери. Пытался представить себе его мать. Не смог. Как-то однажды он невзначай обмолвился, что родился, когда отцу был шестьдесят один год. Могу себе представить. Здоровяк фермер. Добротный костюм. Огромные ножищи. Нечесаная борода с проседью. Наверное, ходит на собачьи бега. Платит церковный сбор отцу Двайеру из Лэрреса исправно, но не очень щедро. Не прочь поболтать вечером с девушками. А мать? Очень молодая или очень старая? Вряд ли молодая, Крэнли бы тогда говорил по-другому. Значит, старая. Может быть, заброшенная. Отсюда и отчаяние души: Крэнли – плод истощенных чресл.

21 марта, утро. Думал об этом вчера ночью в постели, но я теперь слишком ленив и свободен и потому записывать не стал. Да, свободен. Истощенные чресла – это чресла Елизаветы и Захарии. Значит, он – Предтеча^[256]. И так, питается преимущественно копченой грудинкой и сушеными фидами. Понимай: акридами и диким медом. Еще – когда думаю о нем, всегда вижу суровую отсеченную голову, или мертвую маску, словно выступающую на сером занавесе или на плащанице. Усекновение главы – так это у них называется. Не доумеваю по поводу святого Иоанна у Латинских ворот. Что я вижу? Обезглавленного Предтечу, пытающегося

взломать замок^[257].

21 марта, вечер. Свободен. Свободна душа и свободно воображение. Пусть мертвые погребают своих мертвецов^[258]. Да. И пусть мертвецы женятся на своих мертвых.

22 марта. Шел вместе с Линчем за толстой больничной сиделкой. Выдумка Линча. Не нравится. Две тощих голодных борзых в погоне за телкой.

23 марта. Не видел ее с того вечера. Нездорова? Верно, сидит у камина, закутавшись в мамину шаль. Но не дуется. Съешь тарелочку каши! Не скушаешь?

24 марта. Началось со спора с матерью. Тема – пресвятая дева Мария. Был в невыгодном положении из-за своего возраста и пола. Чтобы отвертеться, противопоставил отношения Иисуса с его Папашей и Марии с ее сыном. Сказал ей, что религия – это не родовспомогательное заведение. Мать снисходительна. Сказала, что у меня извращенный ум и что я слишком много читаю. Неправда. Читаю мало, понимаю еще меньше. Потом она сказала, что я еще вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это что же: покинуть церковь черным ходом греха и вернуться через слуховое окно раскаяния? Каяться не могу. Так ей и сказал. И попросил шесть пенсов. Получил три.

Потом пошел в университет. Вторая стычка с круглоголовым Гецци^[259], у которого жуликоватые глазки. На этот раз повод – Бруно из Нолы^[260]. Начал по-итальянски, кончил на ломаном английском. Он сказал, что Бруно был чудовищный еретик. Я ответил, что он был чудовищно сожжен. Он не без огорчения согласился со мной. Потом дал рецепт того, что называется risotto alia bergamasca^[261]. Когда он произносит мягкое «о», то выпячивает свои пухлые, плотоядные губы. Как будто целует гласную. Может, и впрямь целует? А мог бы он покаяться? Да, конечно, и пустить две крупные плутовские слезищи, по одной из каждого глаза.

Пересекая Стивенс-Грин-парк, мой парк, вспомнил: ведь это его, Гецци, а не мои соотечественники выдумали то, что Крэнли в тот вечер назвал нашей религией. Солдаты девяносто седьмого пехотного полка вчетвером сидели у подножия креста и играли в кости, разыгрывая пальто распятого^[262].

Пошел в библиотеку, пытался прочесть три журнала. Бесплезно. Она все еще не показывается. Волнует ли это меня? А собственно, что именно? То, что она больше никогда не покажется.

Блейк писал:

Я боюсь, что Уильям Бонд скончался,
Потому что он давно и тяжело болен.^[263]

Увы, бедный Уильям.

Как-то был в диораме в Ротонде^[264]. В конце показывали высокопоставленных особ. Среди них Уильяма Юарта Гладстона, который тогда только что умер. Оркестр заиграл «О, Вилли, нам тебя недостает!»^[265].

Поистине нация болванов!

25 марта, утро. Всю ночь какие-то сны. Хочется сбросить их с себя.

Длинная изогнутая галерея. С пола столбами поднимаются темные испарения. Бесчисленное множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Руки их устало сложены на коленях, глаза затуманены слезами, потому что людские заблуждения непрестанно проносятся перед ними темными испарениями^[266].

Странные фигуры появляются из пещеры. Ростом они меньше, чем люди. Кажется, будто они соединены одна с другой. Их фосфоресцирующие лица изборождены темными полосами. Они всматриваются в меня, а их глаза будто вопрошают о чем-то. Они молчат.

30 марта. Сегодня вечером у входа в библиотеку Крэнли загадал Диксону и ее брату загадку. Мать уронила ребенка в Нил^[267]. Все еще помешан на материнстве. Ребенка схватил крокодил. Мать просит отдать его. Крокодил соглашается: ладно, только если она угадает, что он хочет сделать с ним – сожрать его или нет.

Такой образ мышления, сказал бы Лепид, поистине может возникнуть только из вашей грязи, под действием вашего солнца^[268].

А мой? Чем он лучше? Так в Нилогрязь его!

1 апреля. Не нравится последняя фраза.

2 апреля. Видел, как она пила чай с пирожными в кафе Джонстона, Муни и О'Брайена. Верней, линксоглазый Линч^[269] увидел ее, когда мы проходили мимо. Он сказал мне, что ее брат пригласил к ним Крэнли. А крокодила своего он не забыл захватить? Так, значит, он теперь свет мира? А ведь это я его открыл. Уверяю вас, я! Он тихо сиял из-за мешка с уиклоускими отрубями.

3 апреля. Встретил Давина в табачной лавке против финдлейтерской церкви. Он был в черном свитере и с клюшкой в руках. Спросил меня, правда ли, что я уезжаю, и почему. Сказал ему, что кратчайший путь в Тару

– via Холихед. Тут подошел отец. Познакомил их. Отец учтив и внимателен. Предложил Давину пойти перекусить. Давин не мог – торопился на митинг. Когда мы отошли, отец сказал, что у него хорошее открытое лицо. Спросил меня, почему я не записываюсь в клуб гребли. Я пообещал подумать. Потом рассказал мне, как он когда-то огорчил Пеннифезера. Хочет, чтобы я шел в юристы. Говорит, что это мое призвание. Опять нильский ил с крокодилами.

5 апреля. Буйная весна. Несущиеся облака. О, жизнь! Темный поток бурлящих болотных вод, над которыми яблони роняют свои нежные лепестки. Девичьи глаза из-за листьев. Девушки – скромные и озорные. Все блондинки или русые. Брюнеток не надо. У блондинок румянец ярче. Гопля!

6 апреля. Конечно, она помнит прошлое. Линч говорит, все женщины помнят. Значит, она помнит и свое и мое детство, если я только когда-нибудь был ребенком. Прошлое поглощается настоящим, а настоящее живет только потому, что родит будущее. Если Линч прав, статуи женщин всегда должны быть полностью задрапированы и одной рукой женщина должна стыдливо прикрывать свой зад.

6 апреля, позже. Майкл Робартес вспоминает утраченную красоту^[270], и, когда его руки обнимают ее, ему кажется, он сжимает в объятиях красоту, давно исчезнувшую из мира. Не то. Совсем не то. Я хочу сжимать в объятиях красоту, которая еще не пришла в мир.

10 апреля. Глухо, под тяжким ночным мраком, сквозь тишину города, забывшего свои сны ради забытья без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают ласки, стук копыт по дороге. Теперь уже не так глухо. Вот уже ближе к мосту: миг – мчатся мимо темных окон, тревогой, как стрелой, прорезая тишину. А вот уже они где-то далеко; копыта, сверкнувшие алмазами в темной ночи, умчавшиеся за спящие поля – куда? – к кому? – с какой вестью?^[271]

11 апреля. Перечел то, что записал вчера ночью. Туманные слова о каком-то туманном переживании. Понравилось бы это ей? По-моему, да. Тогда, значит, и мне должно нравиться.

13 апреля. Эта цедилка долго не выходила у меня из головы. Я заглянул в словарь. Нашел. Хорошее старое слово. К черту декана с его воронкой! Зачем он явился сюда – учить нас своему языку или учиться ему у нас? Но как бы то ни было – пошел он к черту!

14 апреля. Джон Альфонс Малреннен только что вернулся с запада Ирландии. (Прошу европейские и азиатские газеты перепечатать это

сообщение.) Рассказывает, что встретил там в горной хижине старика. У старика красные глаза и короткая трубка во рту. Старик говорил по-ирландски. И Малреннен говорил по-ирландски. Потом старик и Малреннен говорили по-английски. Малреннен рассказал ему о вселенной, о звездах. Старик сидел, слушал, курил, поплеывал. Потом сказал:

– Вот уж верно, чудные твари живут на том конце света.

Я боюсь его. Боюсь его остекленевших глаз с красными ободками. Это с ним суждено мне бороться всю ночь, до рассвета, пока ему или мне не наступит конец, душить его жилистую шею, пока... Пока что? Пока он не уступит мне? Нет, я не желаю ему зла^[272].

15 апреля. Встретился с ней сегодня лицом к лицу на Грэфтон-стрит. Нас столкнула толпа. Мы остановились. Она спросила меня, почему я совсем не показываюсь. Сказала, что слышала обо мне всякие небылицы. Все это говорилось, только чтобы протянуть время. Спросила, пишу ли я стихи. О ком? – спросил я. Тогда она еще больше смутилась, а мне стало ее жаль, и я почувствовал себя мелким. Тотчас же закрыл этот кран и пустил в ход духовно-героический охладительный аппарат, изобретенный и запатентованный во всех странах Данте Алигьери: быстро заговорил о себе и своих планах. К несчастью, среди разговора у меня нечаянно вырвался бунтарский жест. Наверное, я был похож на человека, бросившего в воздух пригоршню гороха. На нас начали глазеть. Она сейчас же пожала мне руку и, уходя, выразила надежду, что я осуществлю все, о чем говорил.

Мило, не правда ли?

Да, сегодня мне было с ней хорошо. Очень или не очень? Не знаю. Мне было хорошо с ней, а для меня это какое-то новое чувство. Значит, все, что я думал, что думаю, все, что я чувствовал, что чувствую, одним словом, все, что было до этого, теперь в сущности... А, брось, старина! Утро вечера мудренее.

16 апреля. В путь, в путь!

Зов рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, застывших неподвижно под луной, их рассказ о далеких странах. Их руки тянутся ко мне, чтобы сказать: мы одни – иди к нам. И голоса вторят им: ты наш брат. Ими полон воздух, они взывают ко мне, своему брату, готовые в путь, потрясают крыльями своей грозной, ликующей юности.

26 апреля. Мать укладывает мои новые, купленные у старьевщика вещи. Она говорит: молюсь, чтобы вдали от родного дома и друзей ты понял на собственном примере, что такое сердце и что оно чувствует. Аминь! Да будет так. Приветствую тебя, жизнь! Я ухожу, чтобы в

миллионный раз познать неподдельность опыта и выковать в кузнице моей души несотворенное сознание моего народа [\[273\]](#).

27 апреля. Древний отче, древний искусник, будь мне отныне и навсегда доброй опорой.

Дублин, 1904

Триест, 1914

С. Хоружий

Комментарии

Под текстом своего первого законченного романа Джойс выставил вехи его создания: Дублин 1904 – Триест 1914. Можно добавить, что вторая дата здесь не совсем точна: последние страницы автор еще дописывал и переписывал летом 1915 г. Итак, вещь писалась дольше, чем знаменитый «Улисс» – на добрых три года, если не на четыре. Наш современник открывает роман – и, в отличие от «Улисса», не обнаруживает «ничего особенного». Текст хорошо знакомого рода: психологическая проза, роман воспитания... – во всех европейских литературах XIX столетия это один из самых распространенных жанров; и стиль, язык, исполнение также не поражают чем-либо уникальным. Чего же он так трудился? Над чем корпел? – Как видно, текст все же несет загадку. У Джойса не бывает без этого.

Разгадка романа – в особых отношениях текста и автора, литературы и жизни. В годы «Портрета» Джойс стремился уже создавать новую прозу, писать так, как до него не писали раньше; но он не знал еще, как это делается. Вдобавок, что столь же существенно, – кроме собственно литературного дела, писательства как такового (которое в эпоху «Улисса» твердо станет единственной его задачей и заботой), для него были тогда не менее важны и некоторые другие задачи. Нетрудно согласиться, что они и впрямь имели кое-какую важность: Джойс желал выяснить, что такое Религия, что такое Искусство, а также – или точнее, в первую очередь, – что такое его собственная личность и жизнь.

То были насущные, жгучие вопросы его внутреннего развития; и «Портрет» представляет найденные им решения (во многом еще не окончательные, как потом показало будущее).

Но дело не обстояло одинаково со всеми этими вопросами. С двумя первыми Джойс разобрался относительно быстро, и решения его не несли каких-либо особенных и крупных новаций. Пройденный в юности духовный кризис, довольно типичный для его времени и его среды, усердное чтение и сильный ум, прошедший хорошую школу отцов-иезуитов, – взятые вместе, все эти обстоятельства сложили у него определенные религиозные и эстетические позиции, которые и развернуты на страницах романа в достаточно прямом, а порой и прямолинейном,

описательном стиле. Последний вопрос оказался, однако, намного каверзней; и именно на его почве разыгрывались все трудные перипетии долгого пути «Портрета». Собственно, общее решение и тут было ясно автору уже в начале выставленного им срока работы, в «Дублине 1904 года»: он бесколебательно видел себя – Художником. Но это не был еще полный ответ, тут сразу поднимались следующие вопросы: а что же есть – жизнь Художника? и как описать – или написать – ее? На эти вопросы немедленного ответа он не имел и иметь не мог: художественным материалом и предметом служила ему собственная жизнь, что не только не была еще прожита, но лишь начинала проживаться и постигаться им. И так – роман рос вместе со своим автором.

То был стадийный рост. Десятилетие вынашивания романа – органическая метафора, важная для Джойса, является тут сама собой – делится на три очень различных стадии, что длились: один день – три года – и семь лет.

7 января 1904 г. Джойс набросал с дюжину страниц – этюд? опыт самоанализа? манифест? – взяв тему из числа нескольких, заданных ему по его просьбе братом Станни. Тема была – «Портрет художника». Надо быть благодарным Станиславу: эта тема стала не просто важной для Джойса, но определила собою целую эпоху в его творчестве. Обыденный этюд – отличный, мускулистый текст, хотя не лишенный юношеской рисовки, щегольства эрудицией и нарочитых темнот – содержит уже в зачатке две крупные идеи, собственные идеи Джойса, на которых, в конце концов, и окажется построенным будущий роман. Одна – это идея портрета, несущая в себе джойсовское решение темы личности – как темы о корнях и природе самоидентичности, уникальной индивидуальности каждого. Портрет художника должен быть – внутренний портрет, имеющий уловить и передать его «изгиб эмоции», индивидуальный и индивидулирующий ритм, пульсацию жизни его души и ума. Другая идея – метафора творчества, творческого развития как беременность собою, направленного, телеологического вызревания внутреннего мира, рождающего как плод – мир художества и плод художества, форму.

Идеи, не из самых простых, ставили юному художнику высокую планку – и она не была взята с одного раза. Поняв сразу свой манифест как задание себе, Джойс принялся немедленно за большой роман. «Герой Стивен» – таково было его название – двигался гладко, быстро, однако же оказался фальстартом. Художник впал в пространное излагательство собственных трудов и дней; он говорил как будто бы все, что было и что имел сказать – но речь, утерявшая энергию и напор наброска, бессильна

была дать искомый «портрет». Так протекли три года: при нарастающем разочаровании. Разрешение кризиса пришло в середине 1907 г. в Триесте, и может показаться совсем простым – но только на первый взгляд. Джойс решил изменить композицию романа, одновременно его сократив и перекрестив. Вместо 63 глав «Героя Стивена», «Портрет художника в юности» должен был иметь 5 – и за этим количественным изменением есть качественное. Как можно видеть сейчас, пятиглавая композиция «Портрета» есть именно та форма, что выражает контуры «портрета художника», ритм внутренней жизни, вынашивающей форму: главы 1, 3, 5 – как три стадии вызревания плода, фазы: Истоков – Религии – Искусства; главы 2, 4 – фазы, переходные между этими главными этапами.

«Портрет-2» сумел-таки стать исполнением задания, что задал «Портрет-1». Однако рождение пятиглавой схемы было, разумеется, лишь ключом и зачином; само же исполнение заняло семь долгих лет. Вновь были трудности и недовольства; если глава 1 была уже завершена к 29 сентября 1907 г., а главы 2-3 – в апреле 1908 г., то главу 4 художник закончил лишь в 1911 г. Трудности эти и иные (отсутствие читателя, страдная участь «Дублинцев» – см. «Зеркало») в ту пору делали его душевное состояние весьма скверным, и однажды в порыве ярости он швырнул рукопись в горящий камин. Жена Нора, выхватив, спасла часть ее; в рукописи финальной, хранящейся ныне в Национальной библиотеке в Дублине, глава 4 и первые 13 страниц главы 5 носят следы огня. Эта последняя глава давалась автору труднее всего, и в конце 1913 г. он еще усиленно корпел над нею – когда письмо американского поэта Эзры Паунда принесло крупный поворот в его творческой судьбе – а, для начала, в судьбе романа.

Написав Джойсу по наущению Йейтса, прочтя вскоре «Дублинцев» и начало «Портрета», Паунд стал ярим поклонником его таланта и неутомимым устройтеlem его литературных дел. Уже в январе 1914 г. он связал его с редакцией лондонского журнала «Эгоист» (только что так переименованного из «Новой Свободной женщины»), и в день рождения художника, 2 февраля 1914 г., «Портрет художника в юности» начал публиковаться на страницах журнала. Шедшая небольшими частями – между тем как художник срочно дотягивал упрямую пятую главу – публикация завершилась в выпуске 1 сентября 1915 г. В конце 1916 г. – скорей, уже в 1917-м, но суеверный классик, считая год шестнадцатый для себя счастливым, настоял на выставлении этой даты – роман вышел в свет отдельным изданием в США и сразу вслед за тем в Англии. По обе стороны океана он встретил вполне одобрителный прием, получив умеренно

высокую оценку у критиков и очень высокую у многих крупных писателей – Йейтса, Уэллса, Элиота. Но эта реакция мало трогала и занимала художника, который уже был весь поглощен «Улиссом».

Перевод романа, помещенный в настоящем издании, был выполнен во второй половине 30-х годов М. П. Богословской-Бобровой и опубликован в 1976 г. в журнале «Иностранная литература». (Другой перевод, сделанный В. С. Франком в зарубежье, был опубликован в Италии (Неаполь) в 1968 г.). Он обладал высоким литературным уровнем; и, конечно, уже само обращение переводчицы к тексту столь хулимого автора в разгар идеологического и физического террора было актом несомненного мужества. Но выполненный более полувека назад, до становления науки о Джойсе и в обстановке культурной изоляции, этот перевод не мог сегодня не требовать тщательной ревизии. При ее проведении я максимально сохранял исходный текст: как правило, изменения вносились лишь в случаях явного отступления от стиля и лексики оригинала, а также прямых погрешностей и ошибок (которые изобиловали в ирландской и особенно католической тематике). Сверка и редакция перевода осуществлялись по каноническому современному изданию оригинала: *A Portrait of the Artist as a Young Man. The definitive text, corrected from the Dublin holograph by Chester G. Anderson and reviewed by Richard Ellmann. Viking Press 1964.*

notes

Примечания

1

И к ремеслу незнакомому дух устремил (*лат.*)
Овидий. Метаморфозы, VIII, 18

Папа рассказывал ему эту сказку – ср. в письме Джона Джойса автору, 31 января 1931 г.: «Помнишь ли ты старые времена на Брайтон-сквер, когда ты был мальчик бу-бу, а я тебя водил в скверик и рассказывал про му-му, которая приходит с гор и забирает малышей».

Бетси Берн – Берн – фамилия университетского друга Джойса, послужившего прототипом Крэнли (гл. 5).

О, цветы дикой розы... – старинная ирл. сентиментальная песня «Лили Дэйл».

Дядя Чарльз и Дэнти – прототип дяди Чарльза – Уильям О'Коннелл из Корка, двоюродный дед автора, живший в семье Джойсов в 1887-1893 гг.

Эйлин – дочка соседей Джойсов, живших в доме 4 (а не 7) на Мартелло-террас в 1887-1891 гг.; именно она написала Джойсу, когда он был в Клонгоузе, письмо со стихком, который варьирует Леопольд Блум в «Калипсо».

Он топтался в самом хвосте... чувствовал себя маленьким и слабым – явный уход от автобиографичности. Джойс мальчиком был весел и боек, хорошо физически развит и не раз завоевывал призы в спорте, хотя и не терпел грубых видов его – бокс, борьбу, регби.

Роди, Кикем, Роуч, Кэнтюэлл, Сесил Сандер... – из 22 упоминаемых в романе соучеников Стивена в Клонгоузе, почти все носят имена и фамилии реальных соучеников автора.

В приемной замка – главным зданием колледжа Клонгоуз был замок, купленный орденом иезуитов в 1813 г.

Гамильтон Роуэн (1751-1834) – сподвижник Вулфа Тона, скрывавшийся после поражения восстания 1798 г. в замке Клонгоуз; бросив свою шляпу из окна на ограду замка, он заставил преследователей решить, что он покинул замок.

11

Столкнуть его в очко уборной – злоключение, постигшее классика весной 1891 г.

Отец Арнолл – о. Уильям Пауэр, инспектор младших классов.

Из младших и средних классов – в Клонгоузе младшие классы (три, из которых два были подготовительными) включали детей до 13 лет, средние – с 13 до 15, старшие – с 15 до 18 лет.

Таллабег – местечко, где находился иезуитский колледж св. Станислава, объединившийся с колледжем Клонгоуз Вуд в 1885 г.

В третьем классе – в Клонгоузе – старший из младших классов и низший из трех «классов грамматики».

Правильно это или неправильно – целовать маму? – при строгом католическом воспитании, вопрос вовсе не абсурдный. Св. Алоизий Гонзага (1568-1591), один из трех «святых отроков», почитаемых католиками, был, по житию его, «слишком чист» и не целовал свою мать; ниже в романе (гл. 5) этот же вопрос возникает в связи с Паскалем.

Мистер Кейси – Джон Келли, друг семьи Джойсов, не раз подолгу гостивший у них.

Клейн – деревушка между Клонгоузом и Сэллинзом, жители которой, не имея своей приходской церкви, посещали службы в колледже.

Голос в дортуаре – Стивен не был, стало быть, в дортуаре – как и Джойс, который, будучи много младше соучеников, два первых года спал не в дортуаре, а в комнате по соседству, за ширмами.

Кто-то поднимался по лестнице – замок Клонгоуз принадлежал до 1813 г. роду Браунов, и по легендам, в нем появлялся призрак Максимилиана фон Брауна (1705-1757), одного из «диких гусей», фельдмаршала австрийской армии, погибшего в битве под Прагой.

Боденстаун – кладбище, где похоронен Вулф Тон.

Плюц и остролист – традиционные рождественские украшения, их сочетание фигурирует во множестве песен и стихов.

Брат Майкл – брат Джон Хэнли, О. И.

Ею дедушка подносил здесь адрес Освободителю – истинное событие, «дедушка» – прадед Джойса Джон О'Кеннелл, отец Уильяма, «дяди Чарльза» в романе.

Он увидел море... – Стивен воображает сцену в дублинском порту Кингстаун 11 октября 1891 г., когда в гавань входил корабль с телом Парнелла, скончавшегося 6 октября на дальнем западе страны, в Голуэе.

Делал подарок для королевы Виктории – Джон Келли, прототип мистера Кейси, сидел несколько раз в тюрьме за участие в «аграрных беспорядках», и от щипанья пакли на тюремных работах три пальца его остались скрюченными.

«Я заплачу церковный сбор...» – реплика намекает на агитацию ирл. священников против Парнелла. Тема дальнейших споров за столом – позиция католической церкви в антипарнелловской кампании в 1890 г.

Лк 17, 1-2.

Билли – архиепископ Дублинский, Уильям Дж. Уолш (1841-1921);
обжора из Арма – кардинал Майкл Лог, архиепископ Армаский, примас
Ирландии.

Конюх лорда Лейтрима – поспешил на помощь своему хозяину, богатому, жестокому и распутному помещику, когда совершалось его убийство молодым крестьянином, мстившим за честь сестры.

В графстве Уиклоу, где мы... находимся – семья Джойсов жила тогда в местечке Брэй под Дублином, на границе графств Дублин и Уиклоу.

Аркоу – прибрежный городок, около 40 км от Дублина.

Парижская биржа – в 1890 г. Парнелла ложно обвиняли в присвоении размещенных в Париже средств Национальной Ирландской Лиги.

Однажды к ним пришел сержант... – реальный случай: офицер полиции, придя к Джойсам, предупредил, что им получен приказ об аресте мистера Келли; *ударил одного господина зонтиком...* – также реальный случай.

Белые Ребята – группы крестьян-повстанцев в 60-х годах XVIII в., члены которых надевали, как опознавательные знаки, белые рубахи поверх одежды.

Парафраз ветхозаветного стиха Зах 2, 8, ошибочно приписываемый здесь Христу.

Чарльз Корнуоллис (1738-1805) – в июне 1798 г. был назначен лордом-наместником Ирландии и начальником войск, подавлявших восстание.

Иерархия Католической церкви, более страшась Французской Революции, чем господства Англии, и тогда, и позднее проявляла полную покорность последней. Пол Коллен (1803-1878), первый ирл. кардинал (с 1866 г.), резко выступал против освободительного движения и, в частности, против фениев; в 1861 г. он воспретил заупокойную службу в дублинском соборе, когда в Дублин было доставлено тело одного из фенианских вождей Терема Белью МакМануса (1823?-1860), скончавшегося в Сан-Франциско.

Лайонс-Хилл – на полпути между Клонгоузом и Дублином.

Мальчик, который держал кадило... – кадилоносцем в Клонгоузе был сам Джойс.

Балбес... Юлий Цезарь... – школьные коверканья латинских учебных фраз; *Балбес* – от Луция Корнелия Бальбуса, сподвижника Цезаря, *Белая Галка* – от *Bello Gallico*, Галльская война.

Море (*лат.*).

Генерал – глава иезуитского ордена, *провинциал* – глава иезуитов определенного региона (провинции).

Отец Долан – о. Джеймс Дэли; дальнейший эпизод произошел с Джойсом в 1888 г. и многократно упоминается в «Улиссе».

Завтра, и завтра, и еще завтра – «Макбет», V, 5.

В рассказах *Питера Парли* – под псевдонимом Питер Парли амер. автор Сэмюэл Гудрич (1793-1860) выпустил, в числе прочих книг для детей, «Рассказы о Древней и Новой Греции» (1831) и «Рассказы о Древнем Риме» (1833), компилятивные и написанные в осовременивающем стиле.

К вящей славе Божьей (*лат.*) – девиз иезуитского ордена.

Лоренцо Риччи (1703-1775) – генерал ордена иезуитов в 1758-1775 гг., в критические годы запрета ордена. *Св. Станислав Костка* (1550-1568), канонизован в 1726 г., *блаженный Иоанн Берхманс* (1599-1621), канонизован в 1888 г.; *Питер Кенни, О. И.*, приобрел замок Клонгоуз для Ордена и основал в нем колледж.

В Блэкроке – события гл. 2 отвечают периоду 1892-93 гг., когда семья Джойсов, постепенно беднея, перебралась ближе в Дублину, в Блэкрок.

Промотал в Корке большое состояние не Уильям, прототип дяди Чарльза, а брат его, родной дед автора.

В крепости замка – замок Фраскати в Блэкроке.

Однажды утром... – описывается переезд семейства в Дублин, на Фицгиббон-стрит в 1893 г.

У своей тети – прототип ее – Джозефина Мерри, жена Уильяма Мерри (Ричи Гулдинга в «Улиссе»). Из всех родственников, она была наиболее близка Джойсу, и он долго переписывался с нею.

Кудрявая девочка – Кэтси Мерри, дочь Уильяма и Джозефины.

В узкой тесной столовой... и тихонько смеется. – Эпизод близко использует эпифанию V (где вместо имени Стивен еще стоит «Джим») [«эпифании» – короткие прозаические зарисовки, написанные Джойсом между 1900-1903 годами]. Место действия, лица – те же, что в новелле «Мертвые»: двоюродные бабки Джойса и их дом, 15 Ашер Айленд.

В передней одеваются... – эпизод использует, с изменениями, эпифанию III.

К Э– К—... – Эмма Клери, лирическая героиня романа, прототипом которой была Мэри Шихи (см. «Зеркало»). Подобные заголовки имеются в первом сборнике стихов Байрона, «Часы праздности».

Стихи о Парнелле – первое творение классика, стих «Et tu, Nealy» на смерть Парнелла (осень 1891 г.). Отец, а за ним и биографы автора, утверждают, что Джон Джойс напечатал стих и послал его, в частности, Папе римскому; однако, по наводившимся специально справкам, в библиотеке Ватикана он отсутствует; *налоговые извещения* Джон Джойс рассылал по своей должности сборщика местных налогов.

Laus Deo Semper – вечно Бога хвалит (*лат.*); формула, обычно ставившаяся в конце сочинений в иезуитских школах.

Я чуть было не налетел на него... – уличная встреча Джона Джойса с о. Конми привела к принятию Джима и его брата Станни (в романе – Морис) на казенный счет в дублинский иезуитский колледж Бельведер, весной 1893 г. Конми был тогда инспектором этого колледжа, но не был еще провинциалом ордена.

Кому... отдадут это место... – Джон Джойс, потеряв должность (отчего Джиму и пришлось покинуть Клонгоуз), был в безуспешных поисках новой.

Перед школьным спектаклем – в мае 1898 г.

Унтер-офицер – в Британской империи (как и в советской) учителями физкультуры бывали обычно отставные военные малых чинов.

Курон (в оригинале – Heron, цапля) – собирательный образ с двумя прототипами, братьями Винсентом и Альбрехтом Коннолли, соучениками автора в Бельведере.

Изобразил ректора – именно это с большим успехом сделал в спектакле Джойс, хотя «Портрет» этого не говорит.

Каюсь (*лат.*); католическая покаянная молитва.

Писателей-бунтарей – в те годы Джойс прочел Ницше, Маркса, Бакунина, Джордано Бруно, Лео Таксиля, Иоганна Моста.

Фредерик Мэрриэт (1792-1848) – посредственный, но популярный прозаик, почти исключительно с морской тематикой.

Он не поэт – суждение Курона довольно невежественно, ибо поэзия Ньюмена, особенно же «Сон Геронтия», была знаменита.

Тайсон въезжал в Иерусалим... – вариация шуточной песенки, с аллюзией на въезд Христа во Иерусалим на осле; дальнейшая стычка – реальный случай, в котором Джойсу изрядно порвали проволокой одежду.

Почему он не чувствует вражды... какая-то сила снимает с него гнев... – детальный, тонкий психоаналитический разбор этого пассажа дал Жак Лакан в семинаре 11 мая 1976 г. (анализу «Портрета» был посвящен год работы знаменитого Лакановского семинара в Париже).

Вехи борьбы за национальное возрождение, а также зачатки Ирландского литературного возрождения тогда набирали силу; в частности, в 1893 г. была основана Гэльская лига.

Обездоленность – один из существенных мотивов самосознания Стивена (и Джойса).

По юности и глупости... – одна из любимых песен Джойса, как и его отца.

Придите все... – традиционный зачин ирл. народных песен, в старину часто исполнявшихся уличными певцами.

Плод, зародыш (*лат.*)

Бакалея часто служила в Ирландии и распивочной.

Самый красивый мужчина в Корке – и это, и прочие сведения, излагаемые мистером Дедалом, точно передают семейные предания Джойсов.

Dilectus – выбор (*лат.*); название сборников латинских изречений.

«Времена меняются, и мы меняемся с ними» (*лат.*); первый вариант – неправильный.

Керри – одно из южных графств.

Ты не устала ли?.. – первые строки незаконченного стихотворения Шелли «К луне» (1824).

В здании старого Ирландского парламента, ликвидированного Унией 1800 г., с 1802 г. размещался Ирландский Банк.

Джон Хили-Хатчинсон (1724-1794) – ирл. политик и экономист, либеральной и патриотической ориентации.

Недожаренный – прозвище, данное Джойсом вполне фешенебельному дублинскому ресторану Томаса Корлесса, который описан в «Дублинцах» («Облачко») и в который Джойс пригласил своих родителей, получив наградные деньги в 1894 г.

«Ингомар» – немецкая мелодрама Ф. Хана (1851); «Дама из Лиона, или Любовь и гордость» (1838) – историко-романтическая драма Э. Дж. Бульвер-Литтона (1803-1873).

Клод Мельнот – романтический герой «Дамы из Лиона», носивший прозвище Принц.

Как-то он забрел в лабиринт... – первое описание квартала публичных домов, где в «Улиссе» происходит действие эп. 15.

Согласно дефинициям католической теологии, *благодать освящающая*, или собственно благодать, – «дар, вселяемый в душу и там пребывающий, по образу постоянного качества»; *благодать действующая* – «временная помощь, посредством коей Бог дает человеку дозреть до спасительной перемены».

Староста братства – Джойс получил это звание 25 сентября 1896 г. и был вновь переизбран в нем (редкое исключение) 17 декабря 1897 г., за полгода до окончания колледжа.

Пророчествующие псалмы – псалмы, где принято усматривать пророчества о Деве Марии; католическое богословие выделяет их 9.

«Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание», (*лат.*); Сир 24, 14-17; в латинском тексте у Джойса ряд мелких орфографических ошибок.

«Ясная, мелодичная...» – из заключительной части «Славословий Марии» Дж. Ньюмена (1849).

Мой друг, прекрасный Бомбадос – строка из точно не установленного дублинского представления.

Изречение святого Иакова – Иак 2, 10.

Мф 5, 3,4.

Фамилия, означающая «Беззаконный» (*англ.*).

«Во всех делах твоих...» – цитата не из Экклезиаста, но из Книги Премудрости Иисуса сына Сирахова, Сир 7, 39. Следующая далее проповедь имеет в своей основе реально произнесенную в Бельведере о. Джеймсом Колленом; она являет собой классический образец иезуитской риторики и имеет близкое сходство с текстом итал. иезуита Дж. Пинамонти (1632-1703) «Ад, открытый христианам» (англ. пер. 1715). Эпизод, ставший важной вехой в сознании и жизни Стивена, имеет целый ряд реминисценций в «Улиссе».

Мф 8, 36.

Звезды небесные падут... Небо скроется... – парафраз Откр 6, 12-14.

Души... ринутся в Иосафатову долину – «Я (Иегова) соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд» (Иоил 3, 2).

Девять чинов ангельских – включенная в католическую доктрину «небесная иерархия» псевдо-Дионисия Ареопагита; она объемлет три иерархии, подразделяемые каждая на три лика: серафимы, херувимы, престолы – господства, силы, власти – начала, архангелы, ангелы. В перечислении проповедника престолы и господства переставлены местами.

Мф 25, 41.

Темные врата... трепещущая душа. – Парафраз финальной фразы фр. романа М. Тинэйра «Дом греха» (1902, англ. пер. 1903), уже и ранее перефразированной Джойсом в газетной рецензии на этот роман («французский религиозный роман», 1903).

Аддисон... послал за... графом Уорвиком – событие, не вполне удостоверенное, но излагаемое в «Жизнеописаниях английских поэтов» Сэмюэла Джонсона.

Кор 15, 55; дословная цитата из Книги пророка Осии (13, 14).

Чья красота... мелодична – расширение цитаты Дж. Ньюмена.

Бог сотворил их, дабы они заняли место... – излагаемое здесь учение, что падение ангелов свершилось до сотворения человека, преобладает в католичестве, но не является обязательным. С вилланеллой Стивена в гл. 5 соединяется иной мотив, также распространенный (и подкрепляемый некоторыми местами Писания): падение ангелов – следствие их похотения к дочерям человеческим.

Быт 3, 1.

Как говорит... Ансельм в книге о подобиях – приводимого утверждения не найдено у св. Ансельма Кентерберийского (1033-1109), однако оно содержится в вышеупомянутом тексте Пинамонти.

Мф 8, 12.

Огонь печи Вавилонской потерял свой жар – при сожигании Навуходоносором трех отроков иудейских, Дан 3.

Святой Джованни Фиданца Бонавентура (1321-1373) – кардинал, крупнейший францисканский богослов-мистик.

Жало совести – сквозной мотив в сознании Стивена в «Улиссе».

Пустырь... Спасите! – расширенный вариант эпифании VI.

Однажды Он... убежище наше! – третье и наидлиннейшее цитирование того же места из «Славословий Марии» Ньюмена.

Он падет на колени и исповедуется – эпизод исповеди и следующего за ней причастия также соответствует биографии Джойса.

Παραφраз Μφ 11, 30.

Тело Господа нашего (*лат.*).

В жизнь вечную. Аминь (*лат.*).

Воскресенье было посвящено... – здесь и далее описывается один из типовых распорядков благочестивой жизни католика в добрые старые времена.

Принималось, что «сверхдолжные» (не входящие в обязательное правило) молитвы и иные дела благочестия сокращают душам прежде усопших их пребывание в чистилище на определенные сроки, точно исчисляемые Церковью в днях, сороках (сорокадневных интервалах) и годах (к примеру, 200 дней – за чтение литании Богоматери Лоретской, и т.п.).

Семь даров Святого Духа – премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Господень (Ис 11, 2-3).

Утешитель (греч.).

Скорбя над великой тайной любви – парафраз строки одного из любимейших стихотворений Джойса, «Песни Фергуса» Йейтса.

Св. Альфонс Лигурийский (1696-1789) – миссионер, основатель ордена редемптористов (братьев-искупителей) со строгим уставом. Имеется в виду его книга «Как приступать к Святым Тайнам, с прибавлением благочестивого метода слушать мессу» (англ. пер. 1840).

«У груди́ей моих пребывает» (*лат.*). Песн. 1,12.

Неслышный голос... commorabitur – из эпифании XXIV.

Ректор стоял... – последующая сцена, как и предложение о вступлении в орден – реальные события.

Св. Фома принадлежал к доминиканскому ордену, святой Бонаventura – к францисканскому.

Юбки (франц.).

Παραφраз Μφ 16, 19.

«Идите! Месса окончена» (*лат.*) – последние слова мессы.

Грех Симона Волхва – покушение приобрести дар апостольский за деньги (Деян 8, 9-24).

Kop 11, 28-29.

EB. 5, 6-10.

Societas Jesu (*лат.*) – общество Иисуса (иезуитский орден).

Фаллон – соученик Джойса в Бельведере (единственный, перешедший в роман со своим именем, в отличие от двух десятков соучеников в Клонгоузе).

«*Часто ночью тихой*» – песня на слова Т. Мура.

«Выражавшую... во все времена» – из «Грамматики согласия» Дж. Ньюмена. Начало фразы: «Возможно, поэтому Средневековье видело в Вергилии поэта и волхва; его слог и отдельные слова, его проникновенные полустигии, выражавшие...»

От таверны Байрона... – Патрик Байрон, дублинский торговец и трактирщик.

К Булю – Норс-Булл Айленд, островок в устье Лиффи, соединенный с берегом дамбой.

«Чьи ноги... под ними» – из «Идеи университета» Дж. Ньюмена (1873).

Из своих сокровищ – в «Герое Стивене» Джойс описывает, как он всюду постоянно собирал словесное «сокровище» – красивые или колоритные слова, обороты, фразы.

«*День... облаков*» – из романа Х. Миллера «Свидетельство скал» (1869), пытавшегося примирить библейскую и научную картины появления Земли и человека на ней.

Седьмого града христианского мира – средневековый титул Дублина.

Тингмот – совет, правивший Ирландией, когда она была покорена датскими викингами.

Он посмотрел на север... – последующая сцена имеет многочисленные переключки с эп. 3 «Улисса».

Мерцающая и дрожащая... ярче другой – в этих образах заметны отголоски финала «Божественной Комедии» («Рай», Песнь XXXIII).

Матери приходится его мыть – некоторую свою нелюбовь к мытью в молодости Джойс передает, утрируя, Стивену и в «Портрете», и в «Улиссе».

Герхард Гауптман (1862-1945) – нем. драматург, творчеством которого Джойс увлекался с 1901 г.

«Я отдохнуть прилег...» – из эпилога пьесы Бена Джонсона «Видение восторга».

Елизаветинцы – деятели культурного возрождения в эпоху королевы Елизаветы I (1558-1603).

«Свод схоластической философии по учению святого Фомы» (лат.).

Макканн – Скеффингтона, бывшего его прототипом, Джойс считал самым умным студентом в своем университете – конечно, после себя.

Слоновая кость (*англ., франц., итал., лат.*).

Индия поставляет слоновую кость (*лат.*).

Оратор краток, певцы в стихах многообразны (*лат.*); из книги иезуита Мануэла Алвариша (1526-1583), автора латинской грамматики, включавшей также правила латинского стихосложения.

В таком бедствии (*лат.*).

К... памятнику национальному поэту Ирландии – памятник Тому Муру, стоящий перед колледжем Тринити, где он учился.

Фирболги и милезийцы – полулегендарные народы, населявшие Ирландию ок. IV и ок. I в. до н.э., соответственно, и во всем противоположные: первые – невежественные карлики, вторые – высокорослые и ценители просвещения; Мур на памятнике облачен в милезийскую тогу.

Давин – речь его в оригинале насыщена ирландизмами и диалектизмами.

Комендантский час вводился англичанами в сельских местностях Ирландии в период восстания 1798 г., а также в годы голода 1845-48 гг.

Атлета Мэта Давина – в те годы в Дублине были весьма известны братья-спортсмены Пэт и Морис Давины.

Линия прекрасного – понятие классической английской эстетики У. Хогарта и Э. Берка.

Называл ручным гуськом – в противоположность «диким гусям».

Баттевент – городок в южном графстве Корк.

Плита в память Вулфа Тона была открыта 15 августа 1898 г., в столетнюю годовщину восстания.

«Да здравствует Ирландия!» (франц.).

Повеса Иган – Джон Иган (ок.1750-1820), политик и юрист, прославившийся грубым и буйным нравом (Джойс путает его прозвище: им было не Повеса (Buck), а Драчун (Bully); *Поджигатель Церквей Уэйли* – крупный помещик, протестант, получивший свое прозвище за многочисленные поджоги католических храмов в период восстания 1798 г.

Повеса Уэйли – Томас Уэйли (1766-1800), сын «Поджигателя Церквей», продажный политик, игрок и эксцентрик, живший в особняке на Стивенс Грин 86, где позднее разместился Католический Университет, alma mater Стивена и его автора.

Прекрасно то, что приятно для зрения (*лат.*). *Pulchra sunt...* – точная формулировка Фомы слегка иная: *Pulchra enim dicuntur ea quae visa placent* (Сумма теологии I, q 5, а 4). Тезис томистской эстетики, важный для раннего Джойса и обширно им обсуждаемый ниже, а также в «Герое Стивене» и в Записных книжках.

Благо то, к чему устремляется желание (*лат.*). *Bonum est...* – Сумма против язычников, гл. 3. *Similiter...* – выражение из «Конституций» ордена иезуитов.

174

Подобно посоху старца (*лат.*).

Душа подобна сосуду с водой – Эпиктет. Беседы. Кн. III, 3, 20-22;
случай с украденной лампой – там же, кн. I, 18,15.

Одну фразу у Ньюмена... – «Я укоренена была в достопочтенном народе и введена была в сонм святых». Дж. Ньюмен. Славословия Марии.

Последователь когда-то нашумевших обращений – о. Дарлингтон, прототип декана о. Батта, обратился в католичество, будучи прежде священником в англиканской церкви; волна обращений англичан в католичество, связанная с так наз. Оксфордским движением (что стремилось приблизить учение и практику англиканства к католичеству) и с обращением Ньюмена (1845), проходила в 40-е – 50-е годы XIX в.

Неявная вера – по католическому богословию, вера, не соединяемая с познанием и с понятиями, но просто приемлющая то, что Церковь утверждает как истину.

Последователи шести принципов, или же «баптисты шести принципов» – амер. баптистская секта («принципы» – из Евр 6, 1-3)

Собственный народ (Втор 14, 2) – секта, возникшая в Англии в 1839 г.

Баптисты семени и баптисты змеи – возможно, последователи Джона Чепмена по прозвищу «Джонни Яблочное Семя» (1775-1847), амер. харизматика, соединявшего проповедь Библии, Сведенборга и целительных растений

Супралапсарианские догматики – крайние кальвинисты, учащие о предвечном двойном предопределении, праведников – к блаженству, грешников – к вечным мукам

Господь призвал ученика – Мф 9, 9.

Через тернии к звездам (*лат.*).

Залпы кентской пальбы – выражение, означающее громкий топот и возникшее в связи с митингами против равноправия католиков в 1828-29 гг. в графстве Кент.

Лепардстаун – местечко под Дублином, где происходили скачки.

При необходимости... на это – формула катехизиса, относящаяся к совершению таинства крещения.

У. Ш. Гилберт (1838-1911) – англ. драматург и либреттист; совместно с композитором А. Салливаном ему принадлежит большое число популярных опер и оперетт. Нижеприводимые строки – из акта III оперы «Микадо» (1885).

Ф. У. Мартино – вероятно, Ф. Мартин (1863-?), автор работ по химии платины.

Урвать свой фунт мяса – «Венецианский купец», I, 3.

Подписал (*лат.*).

Что (*лат.*).

За всеобщий мир (*лат.*).

Фотографию царя – российского императора Николая II, инициатора конференции за всеобщий мир в Гааге в 1899 г.

Думаю, что вы отъявленный лжец: по вашему лицу видно, что вы в чертовски отвратительном настроении (*лат.*).

Кто в плохом настроении – я или вы? (*лат.*).

Уильям Томас Стэд (1849-1912) – англ. журналист и политик, активный деятель пацифистского движения.

Социализм был основан ирландцем – патриотическая гипербола типа «Россия – родина слонов», свойственная ирландцам не менее, чем русским.

Энтони (не Джон Энтони) *Коллинз* (1676-1729) – философ-вольнодумец, критик религии.

Лотти Коллинз – кафешантанная певица, знаменитая в 1890-х годах, приводимые строки – из распространенной в Дублине переделки ее популярнейшего шлягера.

201

Мир во всем кровожадном мире (*лат.*).

Давайте сыграем в мяч (*лат.*).

Феликс Хэкетт – один из соучеников Джойса по университету.

На месте (*школьная латынь*).

Фианна – боевая дружина фениев; цитаты Стивена – из военного пособия, составленного для ее членов.

Классы лиги – классы ирл. (гэльского) языка, организованные Гэльской лигой.

Аристотель не дает определений сострадания и страха – неверное утверждение: страх определяется в «Риторике», кн. II, гл. 5, сострадание – там же, в гл. 8.

Гоггинс – в «Герое Стивене» этот персонаж явно имеет прототипом Гогарти, в «Портрете» Джойс убавил их сходство.

Ощущения как тюремные врата души – мотивы Платона, ср. «Кратил» 400 с., «Федон» 62 в.

Греки, турки... – излагаемые тут идеи – из «Эстетики» Гегеля.

Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium... – Славь, мой язык, тайну преславного тела... (лат.).

Венанций Фортунат (530-603) – церковный деятель, епископ Пуатье, поэт. Приводится одна из строф его гимна *Vexilla Regis prodeunt* (Се грядут царские хоругви), поемого в Страстную Пятницу, за литургией Преждеосвященных Даров.

Исполнились Давидовы пророчества,
В правдивых песнопениях
Возвещавшие народам:
Бог с древа правит (*лат.*).

Том Кларк – владелец табачного и газетного магазина, активный участник фенианского движения и Пасхального восстания 1916 г., казненный англичанами.

Донован – его прототипом был Константин Каррэн, соученик Джойса по университету, упоминаемый в «Улиссе» (эп. 2) и оставивший воспоминания о Джойсе.

«Лаокоон» Стивен обсуждает в «Герое Стивене», указывая ряд своих расхождений с Лессингом.

Ad pulchritudinem... claritas – не вполне точная цитата из «Суммы теологии», I, q 39, a 8.

Луиджи Гальвани (1737-1798) – итал. физиолог и физик, один из основоположников учения об электричестве.

Старинная англ. баллада «*Терпин-герой*» о легендарном разбойнике, повешенном в 1739 г., была любима Джойсом и исполнялась им.

Я думаю, беднякам в Ливерпуле живется просто ужасно, чертовски скверно (*лат.*).

Экстаз серафической жизни – имеется в виду францисканская мистика и религиозность, оказавшая заметное влияние на Джойса (см., в частности, ниже); св. Франциск имел прозвание «серафического отца», от бывшего ему видения серафима.

Соблазненные... сонмы серафимов падают с небес – абзац, завершаемый этой фразой, – поэтико-богословская фантазия, вольно сливающая мотивы Благовещенья и падения ангелов. Принадлежность Люцифера к чину серафимов – католический теологумен.

Вилланелла, «деревенская песнь», – одна из форм фр. и итал. средневековой народной поэзии, характеризуемая трехстрочной строфой и повторами; употреблялась иногда в модернистской поэзии конца XIX – начала XX века, в частности, Э. Доусоном (1867-1900).

Песнь победы при Азенкуре – ода Майкла Дрэйтона (1563-1631), сочиненная в память победы Генриха V в 1415 г.; «*Зеленые рукава*» – одна из самых известных старинных англ. мелодий.

Герардино да Борго Сан-Доннино (?-1276) – монах-францисканец с бурной биографией, вождь подвергавшегося гонениям движения иоахимитов, которое возникло во францисканской среде и проповедовало учение Иоахима Флорского; Герардино был первым систематизатором этого учения.

Мойколен – городишко на крайнем западе Ирландии.

Какого оракула он ждет... – тема оракулов и гаданий, пришла, вероятно, к Джойсу от Йейтса; *Корнелий Агриппа Неттесгеймский* (1486-1535) – натурфилософ и оккультист, трактующий об оракулах и гаданиях (в частности, по полету птиц) в своем главном труде «*De occulta philosophia*» (1531), гл. LIV-LVI; какую фразу его Джойс имеет в виду, едва ли точно установимо. Текст же из Э. *Сведенборга* (1688-1772) определяется точнее: это – «Небо и Земля», разд. 108, где ряд терминов и выражений совпадает с пассажем Джойса.

Образ *Тота* – бога писцов восходит к «Федру» Платона (ср.: «один из древних богов... которому посвящена птица, называемая ибисом... Тот... первый изобрел письмена», etc. – 274 cd.).

Склоните лица ваши... – начало финального монолога героини в пьесе Йейтса «Графиня Кетлин» (1892).

Сцена в зрительном зале – скандал, устроенный ультрапатриотами на премьерe пьесы «Графиня Кетлин» в Ирландском Литературном Театре 8 мая 1899 г. Предметом протестов было решение героини продать душу нечистому, дабы спасти свой народ, причем обвинители игнорировали благочестивую концовку, где Кетлин получала оправдание Богоматери. Джойс после премьеры отказался подписать письмо протеста, организованное его другом Skeffingtonом (Макканном «Портрета»).

Долой выкормышей буддизма! – намек на увлечения Йейтса восточной мудростью.

«Тэблет» (Скрижаль) – англ. ультракатолический журнал.

Диксон – в «Улиссе» – медик, знакомый Блума (эп. 6, 14).

Гиральд Камбрийский – в трудах его не упоминаются ни фамилия Джойс, ни фамилия Дедал, нет в них и приводимой ниже лат. формулы.

235

Благороднейший древний род (*лат.*).

Будущее непосредственное (*лат.*), термин грамматики.

«Тьма ниспадает с небес» – измененная (верный вариант будет ниже) строка из стихотворения поэта-елизаветинца Томаса Нэша (1567-1601) «Молитва во время чумы».

Слунтяй Стюарт – Яков I Стюарт (1566-1625, правил в 1603-1625), согласно источникам, производил подобное впечатление – как своею личностью, так и правлением; Ковент-Гарден – рыночная площадь в Лондоне, а также театр, выстроенный на этой площади в 1732 г.

Корнелиус а Лапиде, О. И. (1567-1637) – именитый католический богослов, автор монументального Комментария к Священному Писанию, где и содержится указанное Стивенем утверждение.

Буквально это самое (*лат.*).

«Адельфи» – дублинская гостиница.

242

Мф 19, 14.

Серолицей супружницы *сатаны* – Греховности, согласно «Потерянному раю» Мильтона.

Не буду служить – один из лейтмотивов образа Стивена.

Паскаль... не позволял матери целовать себя – Стивен (и Джойс?)
несколько путает: у Паскаля в детстве отмечена была иная странность, он не переносил, когда его отец и мать близко приближались друг к другу.

Иисус тоже не был... – «Неучтивость» Иисуса с матерью, обсуждаемая Стивенем – и католической теологией – заключена в стихе Ин 2, 4, который в рус. и славянском текстах (калькирующих сжато-неопределенный греч. оригинал) не содержит никакой «неучтивости» («Что Мне и Тебе, Жено?»), однако в Вульгате, фр. и англ. текстах приобретает ее: «Женщина, что (общего) между мной и тобой?».

Франсиско Суарес (1548-1617), крупный теологиезуит, разъясняет эти слова, говоря, что Мария (речь тут о чуде в Кане Галилейской) из человеческого тщеславия просила Сына о чуде, и потому Он должен был отвечать с отчужденностью.

От одной нелепости... непоследовательную? – Джойс много раз повторял это сопоставление католичества и протестантства, явно нравившееся ему.

Пембрук – один из богатых кварталов Дублина.

250

Женщина поет (*лат.*).

251

И ты был с Иисусом Галилеянином (*лат.*). Мф 26, 69.

Селлиген, Лэррес – деревушки в графстве Уиклоу, к югу от Дублина.

Хуан Мариана де Талавера, О. И. (1537-1623) в трактате «О короле и королевской власти» (1599), действительно, разбирает темы убийства и отравления короля («тирана»), и рассуждения его Стивен передает верно. В них выражена позиция так наз. «монархомахов», иезуитских теоретиков примата папской власти над королевской.

Молчание, изгнание и хитроумие – эту трехчленную формулу высказывает (по латыни – Fuge, late, tace) Люсьен де Рюбампре в «Блеске и нищете куртизанок».

Да, дитя мое – Крэнли копирует исповедующего священника.

Истощенные чресла... Предтеча... – см. Лк 1 и Мф 3.

Недоумеваю... взломать замок. – Шутка по поводу того, что церковь святого Иоанна у Латинских Ворот (Сан Джованни а Порта Латина) в Риме была посвящена первоначально Христу Спасителю, а затем Иоанну Крестителю и Иоанну Евангелисту (совместно).

Παραφраз Μφ 8, 22.

Геци – профессор, у которого Джойс учился итал. языку.

Бруно из Нолы – Джордано Бруно.

Ризотто по-бергамаски (*итал.*) – национальное итальянское блюдо.

Солдаты... играли в кости... – вариация на тему Ин 19, 23 (только у Иоанна говорится, что воинов у распятия было четверо).

Я боюсь... тяжело болен. – Из стихотворения У. Блейка «Уильям Бонд».

Ротонда – театр и концертный зал в центре Дублина.

О, Вилли, нам тебя недостает! – амер. песенка.

Длинная изогнутая галерея... – данный абзац есть почти в точности эпифания ХХІХ.

Мать уронила ребенка в Нил... – апория, разбираемая в философии СТОИКОВ.

Лепид, Марк Эмилий Младший (I в. до н.э.) – сподвижник Цезаря; фраза Стивена – вариация реплики Лепида у Шекспира в драме «Антоний и Клеопатра»: «Ваши египетские гады заводятся в вашей египетской земле от вашего египетского солнца. Вот, например, крокодил.» (II, 7; пер. М. Донского).

Линксоглазый – рысьеглазый (лунх – рысь, лат.); созвучие линкс – Линч устойчиво связывается с последним – в частности, и в «Улиссе».

Майкл Робартес вспоминает утраченную красоту – контаминация двух вещей Йейтса: стихотворения «Он вспоминает утраченную красоту» (образы этого стихотворения следуют далее) и рассказа «Rosa Alchemica» (герой которого – Майкл Робартес).

Глухо, под тяжким ночным мраком... – эпифания XXVI.

Бороться всю ночь, до рассвета – вероятно аллюзия на борьбу Иакова в Божом, Быт 32, 24-31.

Выковать в кузнице моей души – первое появление мотива.